НЁМАН

7/2015
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Таргонская*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 13.07.2015. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,92. Тираж 2120. Заказ .

Цена номера в розницу 23 500 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



ЕЛЕНА ПОПОВА

Песня блистающей химеры

Повесть

1

Шумят под окнами домов старые деревья. Знакомые трещины в камнях, знакомые камни... В детстве Маша Александрова молилась камням и деревьям. Так молилось юное человечество.

Юное человечество — древние люди. Странное сочетание.

— Не узнаешь? Я же Люда... Люда Попова...

Удивительно! Когда-то Маша так любила эту Люду Попову! И когда Люде исполнилось семнадцать, даже подарила ей свою фотографию, ту, на которой нравилась себе больше всего. Люда подумала и всем говорила, что это Маша такая самовлюбленная. На самом же деле Маша любила Люду Попову, и когда дарила ей эту фотографию, с фетешизмом дикарей думала, что отдает какую-то часть себя.

Люда Попова занимала в той ее жизни так много места! Они любили допоздна засиживаться друг у друга, долго друг о друге говорить, что не скучно никогда, а в выходные или по праздникам оставаться ночевать, утром долго валяться в постели и натощак есть конфеты. Их матери этого не одобряли и боялись каких-то тайных пороков. Которых не было.

Что такое для камня тридцать лет?

Пухлое, большое тело, тяжелое лицо потекло вниз, повисло складками. Усталый взгляд, глухой голос, тихий укор:

— Я же Люда... Люда Попова...

Нет бани, в которую ходили когда-то, совсем в детстве, в нудные банные дни по бесконечной нудной улице. Бани, полной мокрого пара и розовой, светящейся, обнаженной, плещущейся человеческой плоти. Нет тех дворов, подворотен, улиц. Того города уже нет и тех людей...

Права была Маша, когда молилась камням и деревьям. Они сопротивляются дольше.

Пятнадцать лет от большой войны

Мир, в котором такое место занимала Люда Попова, был неподвижен. Все стояло на своих местах, все было названо по имени, все знали, как надо жить и как жить нельзя.

На каждом этаже школы в настенном ящике за стеклом хранился огнетушитель, а на табличке на ящике было написано: «При пожаре разбейте стекло». Как же при пожаре разбить это стекло? — думала Маша Александрова. Каким образом? Портфелем, ручкой или каблуком туфли? Рядом с огнетушителем висел небольшой топорик, вот им-то вполне можно было разбить, если бы он сам не был за стеклом...

На уроках перезрелые, пухлогрудые девочки хмурились напряженно, вникая и не вникая, тайно грезя о запретных ласках и радостях материнства. Голос учительницы с плосковатым лицом и необремененным какой бы то ни было мыслью лобиком (впрочем, у них были разные голоса и лица, но мыслительным процессом они не были обременены все) звучал негромко. Негромко, но навязчиво, как бы вбивая в мозг невидимые гвозди — делай так, думай так, не думай иначе. И все не было звонка, не было. Не было так долго, что начинало мучительно чесаться все тело. Наконец звонил. И в его хилом дребезжании слышалось такое ликование, будто сквозь каменную стену прорвался ручей.

В один из таких вот дней... С негромким, но навязчивым голосом учительницы. Делай — так, делай — так, думай — так... Страница, параграф, правило. Делай — так, думай — так... С, кажется, бесконечным ожиданием звонка. И с самим звонком, который, о радость! о избавление! — все-таки прорвался и зазвонил! И еще один урок кончился. На перемене Маша Александрова встретила Люду Попову, девочку из параллельного класса, и позвала с собой. Она привела ее на темную лестничную клетку перед дверью на чердак, откуда так хорошо были слышны голоса и вопли школы, и достала из школьного передника спички и две сигареты. Она смело закурила первая, потому что уже покуривала в своей компании. Люда решила не отставать, но тут же закашлялась и задохнулась до того, что потекли слезы.

— Ничего, — сказала ей Маша безжалостно. — Ничего. Это только вначале. Потом привыкнешь.

За что так любила Маша Люду Попову? Этого Маша уже не помнила. Люда была рыхлой, ленивой, с сонными глазами. С припухшими, какими-то мятыми губами. Просто она слушала Машу... Или делала вид, что слушает. Понимала... Или делала вид, что понимает.

После уроков они ходили от дома Маши до дома Люды и все не могли расстаться, потому что говорили о важном. А что может быть важнее их жизни и их чувств? Но только месяца через два Маша привела Люду в «свою» жизнь.

Пять лет от большой войны

Сначала был Мишаня. Жизни без Мишани Маша Александрова уже не помнила. Это с ним она впервые увидела телевизор. Это было декабрьским вечером, не поздним, но темным, отчего казалось, что вокруг глубокая ночь. Маша бежала за санками, на которых сидел Мишаня (у него нашли какую-то детскую болезнь сердца), и то и дело добросовестно толкала его в спину.

— Не надо! — кричала ей раздраженно тетя Катя, тащившая санки. — Не надо! Ты только мешаешь!

И Маша опять бежала за быстро скользившими санками, и в какой-то момент, забывшись, снова толкала Мишаню в обмотанную платком спину.

— Не надо! — кричала тетя Катя. — Отойди!

Маша была счастлива! От того, что вокруг темно, поздно и падает снег. И ее взяли посмотреть этот таинственный телевизор, который она раньше никогда не видела даже на картинках.

Телецентр размещался в небольшом особнячке в самом центре города, за ним виднелась похожая на елку телебашня, скрытая наполовину падающим снегом.

Вокруг телевизора с маленьким голубым экраном, напоминающим чей-то вытаращенный глаз, собралось много людей. Все были в приподнятом

настроении, много смеялись и шутили. Чувствовалось, что им не скучно смотреть этот телевизор еще и еще, хотя все они здесь работали, а значит, могли его смотреть сколько хочешь. Маша сидела тихо, но ей все время мешали входящие и выходящие люди. Тогда она слезла со стула и стала пробираться вперед. И когда она была уже у самой цели и так хорошо, так ясно все видела, кто-то сказал:

— Уберите девочку! Девочка всем мешает!

Ее взяли за руку и увели. И посадили намного дальше, чем она сидела до того, в самом конце комнаты. Она уже почти ничего не видела больше, кроме этого вытаращенного голубого глаза.

Было обидно немного. Но ощущение счастья не проходило.

Это был совсем другой мир, чем тот в котором встретила Маша Люду Попову. Будто другое светило на небе солнце, другие горели по ночам звезды. И даже ветер был другой. Даже снег.

В первых снах еще были развалины. Маша долго помнила свои первые сны. Обглоданные огнем здания, черные провалы окон, растерзанное багровыми облаками тревожное закатное небо. Так и было, уже не во сне. Но рядом с развалинами уже построили кинотеатр и назвали его «Победа». И деревья посадили рядом.

Но развалин еще было много и пустых мест. Душа города поредела... А пустота взывает к заполнению. И на зов этой пустоты с разных концов и из разных мест потянулись новые люди, еще не ведающие своих судеб, создавая этот многоликий и многоголосый энергетический котел, имя которому — Город. Чтобы через время, отдав все, выплеснуться каплей в свою собственную жизнь и собственную смерть.

По широким отстроенным улицам пошли праздничные толпы, красные от флагов, а воздух задрожал от ликующих звуков духовых оркестров.

Вторая мировая закончилась, Третья мировая еще не началась.

Этот мир был молод, переживая свой короткий, упоительный триумф, миг торжества. Казалось, он прочен. Не отваливались краны на кухне, исправно работали батареи, и в магазинах можно было купить многое, что уже не продалось в другие годы. Праздники отмечали широко, песенно, с душой, в жилищах бывших воинов стояла трофейная мебель, их молодые жены делали перманент и щеголяли в немецких шубах, вызывая нехорошее, завистливое чувство у крестьянок, привозивших на рынок продукты из соседних деревень. «Ну, подождите... — наверное, думали те. — Мы свое возьмем». И они взяли свое. Если не они, то их дети, потому что изменчивость — главный закон жизни.

А пока...

За домом на пустыре, куда еще совсем недавно относили помойные ведра, быстро выросло суворовское училище, и по асфальтовым дорожкам браво зашагали совсем новенькие суворовцы.

Вторая мировая закончилась, Третья мировая еще не началась.

По субботам, если удавалось, замирая от страха, проскочить мимо вахтенного офицера, можно было посмотреть кино.

Корабли штурмовали бастионы. Скандербег был великим воином Албании. О! Албания! Албания, Албания... Суворов переходил через Альпы. Красивые люди защищали отечество, боролись и погибали за свободу, которая, как понимала Маша, и была именно в том, чтобы ходить стройными рядами, заполняя всю улицу, ходить с красными флагами под звуки духового оркестра, ходить, радоваться, петь песни и пожимать друг другу руки.

В том мире вместе с Машей появился Мишаня. Они вместе начинали жить в больших, гулких комнатах, полных громоздкой мебели, невесть

с каким трудом вывезенной из Гамбурга, Веймара и Берлина. От мебели пахло пылью и чужими веками. Маша на всю жизнь запомнила этот запах. Запомнила и старух, которые их нянчили.

— Ешь кашу, — говорила бабка Мишани и бесцеремонно совала ему в рот ложку с кашей.

— Не буду кашу! — отплевывался Мишаня.

— Ешь кашу! — с упорной монотонностью повторяла бабка Мишани.

— Не буду кашу!

— Ешь кашу!

Этот диалог все продолжался и продолжался, упорствовали обе стороны. Маша сочувствовала Мишане всем сердцем и даже готова была принять пару ложек на себя. Но не тут-то было, зоркая бабка Мишани не спускала с Маши глаз. Как-то Маша тихонько унесла домой обрывки цветной бумаги, креповой бумаги для елочных игрушек. Совсем маленькие обрывки, можно сказать, — крошечные. Но после этого бабушка Мишани, с простым крестьянским лицом и натруженными, узловатыми пальцами на руках, которая частенько не помнила самых простых вещей, при виде четырехлетней Маши всегда была начеку — чуть что, проверяя, не унесет ли чего из дома этот чужой ей ребенок. А тем более — каша. Каша — это еда.

Бабка Мишани пережила голод на Украине.

Вокруг них тогда было много бабушек. Они ютились за шкафами или за занавесками и старались быть незаметнее. Иногда собирались у какой-нибудь одной, тихо шептались, доверительно, понимая друг друга. И исчезали тихо, по одной, по какой-то своей странной очереди, сделав свое дело.

Одна бабушка, бабушка Овчинникова, жила дольше. Только все сохла и сохла, съежившись до размеров восьмилетней девочки. Маша помнила, как она шла по коридору в общий туалет, держась то за одну стеночку, то за другую. Помнила, как обдало ее ужасом, когда она подслушала разговор взрослых, что Овчинников свою бабушку бьет, чтобы поскорей и этой бабушки не стало.

И бабушки Овчинниковой не стало.

За окнами же — кирпич на кирпич — росло суворовское училище. Корабли штурмовали бастионы. Скандербег был великим воином Албании. О, Албания! Песня звукосочетаний. Непонятный поющий звук...

С суворовцами появился Димка. Он не был суворовцем, только хотел им стать. Просто его отец начал там работать. Они приехали из Кореи и мебели не привезли. Ведь Корея очень далеко, гораздо дальше Германии. Так что в квартире их было пусто, можно было играть и бегать, не боясь о что-нибудь удариться. Мама у Димки была красивая и веселая, и волосы у нее были веселые, светлые, пушистые, кудрявые. Отсутствие мебели ее ничуть не заботило, она все лежала на единственном диванчике и рассматривала модные журналы, а потом делилась прочитанным с соседками, чаще всего звучало слово «Париж». На детей она обращала мало внимания, и мама Маши частенько подсовывала Димке тарелку супа.

Чем больше росло суворовское училище, тем больше оно теснило их двор, и скоро от него остался лишь маленький пятачок, огороженный высоким забором. Втроем они часами сидели на крыше сарая и смотрели, как маршируют суворовцы. О, Скандербег, о, Албания! Пленительное слово... Впрочем, у каждого свои пленительные слова, которые повторяют, как молитву... Для матери Димы таким словом, наверное, было слово — «Париж».

В доме с ними жила еще одна девочка, они звали ее «метелкой» за всегда растрепанную копну непослушных, стриженых, обильных волос. Они сидели

на крыше, а «метелка» уныло брела мимо, чуть не по земле волоча огромную для нее папку с нотами. На них она посматривала с завистью. Во двор ее выпускали редко. Видимо, отец — дирижер военного оркестра — хотел сделать из нее что-то необыкновенное. Они вроде бы и жалели несчастную «метелку», но дразнить не переставали. А она обижалась до слез.

Когда пришло время проводить время на свободе, без надзора, не во дворе, когда через окна на них смотрели родители, и не в школьных кружках, которые были только продолжением уроков, время расширения пространства, перебрались во Дворец профсоюзов. Это было новое, величественное здание в классическом стиле греческого Парфенона. С массивными колоннами и мощным барельефом, венчающим крышу, где каменные статуи изображали людей разных профессий, но в отличие от статуй, венчающих суворовское училище, профессий мирных. Величественные здания их не смущали, они к ним привыкли, но для своего обитания во Дворце все-таки выбрали подвал, а чтобы их оттуда не выгнали, записались в фотостудию, которая в этом подвале и находилась. Вот там, в курилке, на жестком диване под лестницей, и была их «тусовка», как сказали бы мальчики и девочки из «новейшей истории».

Поколения сменяются гораздо быстрей, чем это принято считать. Поколение — это не двадцать и не тридцать лет, может, это всего лишь три или четыре года. Вот проходят они, эти три или четыре года, и вчерашние дети, младшие братья и сестры друзей и подруг, кого еще вчера и за людей-то не принимали, так, размазня, мелочь какая-то, — а вот же, уже тусуются по подъездам, по углам дворов, по свободным квартирам, шепчутся, рассуждают, обсуждают — себя, тебя и других... Время крутит свой волчок, поколения подпирают поколения, сливаясь, как набегающие друг на друга волны. И уже трудно определить, где между ними разница, где одно — где другое. Просто есть молодость, есть зрелость и есть старость. Но чтобы все-таки узнать, к какому поколению ты принадлежишь, надо поискать в памяти и вытащить оттуда уйму всякой дребедени — одежду, кино, музыку, все то, что окружало тебя в детстве и потом, когда выходил ты на свои первые тусовки.

Вещи

Мы обожали вас тайно. Мы презирали вас от любви! Но мы любили вас всегда. Бархатные лоскутки, пуговки от старых платьев, сломанные брошки...

Вихрь и буря, красная буря и черный вихрь пронеслись над Россией — Сибирью и Неманом, Ленинградом и Москвой, — сметая на своем пути все... Как они были к вам неблагосклонны! Как неблагосклонны к вам были железные кровати, покрытые колючими солдатскими одеялами, как неблагосклонны к вам были суровые лица, жестокие люди, кирзовые сапоги. Но упрямо везли в чемоданах, из-под обломков Европы, офицеры-освободители, солдаты-освободители, вас — прелестные безделушки, картины в золоченых рамах, хрупкий саксонский фарфор... И торопели, замирая, и трогая, и прикасаясь, и чуть дыша от восторга, их жены... Все эти жены из Калуги, из-под Липецка, из Костромы...

Серванты и буфеты, столы и стулья! Кресла и диваны! Орех и красное дерево! О, кресла! Кресла! И — бар! Где можно хранить вино! О, вино! Вино! Бар! Как мечтали о вас в Костроме и Туле, и даже не мечтали под Липецком, просто не зная, что вы есть.

Капроновые кофты, капроновые банты, первые колготки... Эхо далекой цивилизации...

Плащи-болонья... О, Болонья!...

Пятнадцать лет после войны

Капроновые кофты и плащи-болонья на долю Маши Александровой не выпали. Но при ней появились пальто из искусственной кожи, такой грубой, что со временем из нее стали делать дорожные сумки. Впрочем, Маша любила это пальто, оно было черным, блестящим и стояло колом, колоколом, хрустело. А еще можно было поднять большой, жесткий воротник, напоминающий забрало средневекового воина, и спрятаться в нем от ветра и от чьих-то глаз... От чьих-то упреков... От тайного недоброжелательства...

А еще в моде было начесывать волосы, а сверху немного расчесывать, чтобы скрыть. Это был такой скрытый начес, тайный начес, как призыв к тайной войне. Но когда возникал ветер, тайное становилось явным, и на головах появлялись совершенно дикие копны, лохмы, дыбящийся пожар.

В тот вечер Маша Александрова с Людой Поповой именно так нещадно начесали волосы, и когда пришли во Дворец под моросящим дождем, были, наверное, похожи на сумасшедших — волосы дыбом, пальто на Маше — колом... Так что вахтер, какой-то старый злой дядька, не захотел их пускать. Они долго стояли у колонн и думали, как пройти. Хорошо, что мимо проходил Васильев, студент, тоже из студии. Он узнал Машу, и их пропустили.

Весь вечер они сидели внизу под лестницей на жестком диване. Васильев, аккуратно стриженый, в очках, в отглаженном черном халате, косился на них с неодобрением. Но что было до него Маше, до этого зануды, хоть он был уже и студент! Конечно, плевать ей было на все их негативы и позитивы, лоточки и фонарики... Так что же? Ведь нигде больше нет такого теплого, темного угла, как здесь, во Дворце, под лестницей! Где можно громко смеяться, болтать о чем угодно и курить не воровато, не тайно, а вот так, открыто, почти с вызовом!

Мишаня что-то проявлял, возился с мокрыми пленками, но все равно то и дело подходил к ним, подсаживался на скрипучий диванчик, подносил к сигарете зажженную спичку. Дима тоже все время подходил, находя новый и новый повод. И все остальные из кружка, даже этот противный Васильев.

Мишаня вырос худым, длинным, с тонким, нервным лицом. Он как-то всегда по-особому повязывал шарф, по-особому заламывал ворот рубашки и совсем не походил на себя в детстве — упитанного, серьезного, всегда в валенках и пуховом платке.

Дима же, все детство так рвавшийся в суворовское, все-таки попал в это суворовское и отбабахал там два года, но больше не выдержал и сбежал домой, к мамочке на блины. Он был здоровый парень, добродушный, весь розовый, но делал вид, что все уже в жизни знает и вообще — жутко бывалый. Как будто провел два года не в суворовском училище, где работал его отец, а мать жила в доме через улицу, а где-то на краю света.

Вот так они и сидели весь вечер в темном, теплом углу. И смеялись. И поглядывали то на одного, то на другого мальчика, с каждым из которых еще пару лет назад с удовольствием подрались бы портфелями. А теперь — только поглядывали. И опять смеялись.

Больше ничего не произошло за этот вечер. Совершенно ничего.

А разве этого мало?

Впрочем, может, именно в один из таких вечеров и пришла мысль о Лодке.

Сама лодка была давно знакомая с детства. Огромная, военная резиновая лодка, на корой отец Мишани ловил рыбу. Но то была просто лодка, резиновая росомаха, с которой на даче можно было прыгать в воду, на которой

можно было загорать или просто покачиваться, сидя на мягких, упругих ее боках. Пришла же мысль о другом... О Лодке, возможно, родственной знаменитому кораблю аргонавтов Арго, на которой можно было бы уплыть... понятно куда — в прекрасное далёко, но еще более понятно, от чего — от серых этих дней, серой их скуки, учителей с отвисшими щеками усталых бульдогов, от навязчивых, беспомощных родителей.

Отец с волнением слушал радио — Карибский кризис.

Вторая мировая закончилась, Третья мировая еще не началась.

По городу протекала захудалая речка, убогость которой только подчеркивали мощные гранитные берега. В жаркое сухое лето обнажалось ее илистое дно, полное пустых бутылок, гниющей ветоши и скелетов животных. Но за городом речка становилась глубже и шире, километров через сорок впадала еще в одну речку, а та еще в одну, и так, если верить карте, можно было добраться до моря. С его пляжами, прозрачной соленой водой, соленым ветром, бескрайней далью. Уже одна мысль об этом была чудесна. Об этом говорили всю зиму, мусоля географическую карту. И чем тоскливее тянулись школьные дни, тем приятнее и спасительней было думать о Лодке, о странствиях, о свободе...

Иногда покупали вино. Покупал чаще Димка, поглубже надвинув шапку на розовое лицо. Устраивались во Дворце, в подвале, или в чужом подъезде под крышей старого дома, или в темном углу сквера. Впрочем, в сквере реже всего — там было слишком холодно. Несколько глотков дешевого сладкого вина кружили голову, и в темноте, в клубах дыма говорили все о том же — о Лодке, о странствиях, о свободе...

Зима и долгая, тусклая, расхлябанная весна, кажется, тянулись бесконечно. Но вот все это кончилось, и началось совсем другое. Все как-то разом зазеленело, стало яснее и четче от этой свежей светящейся зеленой краски. Еще на первое мая было холодно и ветрено, на праздничной демонстрации все жутко мерзли и бегали греться в подъезды, но уже ко Дню Победы, совсем за короткий срок, распустились листья на деревьях и зацвела вишня. К середине мая все было уже почти как летом — даже лучше, чем летом. Потому что только в это время воздух бывает так свеж.

Маша вскочила часов в восемь и быстро скользнула на кухню, запихивая в сумку все, что попадало под руку. На краю газеты написала записку — «Вернусь вечером» и, услышав за спиной шаги отца, выскочила на лестницу.

С Людой оказалось сложнее. Люда сидела на своей большой кухне — лохматая, в халате, — вяло что-то жевала и рассматривала на стакане золотой ободок. Ее мать возилась у плиты. Она была начальницей в каком-то учреждении. Но и за стенами этого учреждения она тоже была начальницей. Большая, величественная, с выступающим из отекшего лица птичьим, похожим на клюв, носом. И глаза у нее были птичьи — маленькие, острые, зоркие, — как будто вот-вот увидит зернышко и клюнет.

Уже переступая порог Людкиного дома, Маша почувствовала эту атмосферу скандала. Поэтому она вошла тихо, вежливо поздоровалась, очень вежливо и тихо, и села рядом с Людой. Люда посмотрела на нее уныло и безнадежно. Веки у нее опухли и покраснели — наверное, только что плакала. Несколько минут прошло в молчании. Только гремела посуда в раковине и урчали трубы. Первой, конечно, не выдержала мать:

— Мне бы хотелось знать, — сказала она еще не остывшим от недавнего крика голосом. — Да. Это мне интересно! Интересно! Какая у вас цель? У вас есть цель?

— Сегодня конкретно или вообще? — спросила Маша.

А вот это-то Людина мама в Маше не любила больше всего. Она вообще не любила эту Машу, вот это-то, это постоянное внутреннее сопротивление, и кому? — ей — красавице, королеве, она не любила больше всего. Это ее бесило! Нос ее стал все больше походить на клюв птицы, как-то особенно хищно загибаясь книзу, она закудахтала у плиты, распаляясь и исходя полубезумным криком. Она кричала, как она, красавица, комсомолка, королева, отправилась из своего отдаленного села учиться в Киев. Она говорила — «Кыев». Она кричала про свой фанерный чемоданчик, одно-единственное платье. Про то, как села в поезд, расталкивая других, более истощенных, понятно, ведь крепенькая была, и даже дала какому-то хилому мужичонке ногой по голове, вот так и поехала в «Кыев». И доехала до «Кыева» и вышла из поезда в «Кыеве». Она кричала и кричала.

А как же! У нее была цель! У нее была цель!

Люда помешивала в стакане мутный чай, сотрясая пляшущие чаинки, шепнула Маше одними губами:

— Ничего. Это у нее климакс.

Потом мама Люды набила хозяйственную сумку горшочками с рассадой, за ней заехала служебная машина, и она уехала на дачу. Только земля ее успокаивала. Там она была счастлива. Ее это было место. Мама Люды, зачем ты поехала когда-то в «Кыев»?

Какое-то время тяжелые клубы флюидов мамы Люды Поповой еще носились по кухне, но скоро стали рассеиваться.

— Ты куда? — кричал им вслед Людкин брат — толстый, красивый мальчик с материнским, похожим на клюв, носом. — Вот я маме все расскажу!

На вокзале, рядом с тюком со сдутой лодкой, их, изнемогая, ждали трое. Третьим был Ромка. Ромка как Ромка. Просто «прибившийся», из кружка. Сидел рядом, ходил рядом, курил рядом, к нему привыкли. Потом таких «прибившихся» было много в жизни Маши Александровой. Они откуда-то появлялись, эти люди, потом куда-то исчезали... Такой человеческий планктон... Один такой в другое время и в другой компании как-то проехал много километров на велосипеде только чтобы посидеть и покурить со «своими», точнее, с теми, кого он тогда своими считал. Прошло много времени, прежде чем Маша Александрова вдруг поняла, что в объединении людей, во всех их маленьких тусовках, главное не центр, а главное вот эти, тянущиеся к центру, те, которые звонят и приходят, и создают этот центр одним своим стремлением к нему. Те, без которых этот центр — пустое место, полый сосуд, безжизненное пространство... Так что же он? Зыбкая иллюзия, мерцающая химера, проекция собственных их желаний... И в момент одиночества, который порой настигает каждого, у бесконечно давно молчащего телефона, Маша Александрова почему-то вспомнила как раз того парня, который приехал когда-то на велосипеде. Она не могла вспомнить ни его фамилии, ни его имени. Помнила только, что ехал он долго, несколько часов, а потом поехал назад. И все этому удивлялись.

На место добрались к полудню. Это было даже не озеро, а огромное искусственное водохранилище, широко, бесформенно разлившееся и затопившее несколько деревень, на месте которых из воды теперь торчали верхушки садовых деревьев. Когда-то их троих вывозили сюда, в эти теперь затопленные деревеньки, на дачу, чтобы они, послевоенные дети, росли здоровыми и счастливыми. Так что все эти дороги в лесу, взгорки и рощицы, весь этот рельеф местности рядом с водохранилищем был так хорошо знаком.

Цель их, как бы выразилась мама Люды, была проста — переплыть через водохранилище и на том берегу сесть на автобус. Для Лодки же это была проба пера, генеральная репетиция. Пока добрались, дотянули тяжелый тюк с лодкой, пока лодку накачали насосом и пожевали бутерброды, времени прошло много. Небо, с утра такое солнечное, потихоньку забили тучи. Мишаня первый сказал, что может начаться дождь, но отказаться от плаванья никто не захотел.

Неповоротливая лодка тяжело плюхнулась в воду и медленно поплыла, задевая верхушки затопленных сосен. Они карябали дно и шелестели, как на ветру. Первым за весла сел Димка, как самый сильный. Он старался изо всех сил, но за час лодка далеко не продвинулась — все еще торчал позади хорошо видный сосновый лесок. Между тем небо совсем потемнело и подул холодный ветер. Тогда Ромка сказал, что надо возвращаться. На что Димка, уже усталый и злой, крикнул, что надо плыть, как решили, раз уж решили, а Ромка, если хочет, может добираться до берега вплавь — тут недалеко. Ромка обиделся и замолчал.

Лодка была рассчитана человек на шесть взрослых мужчин — их было пять подростков, но все равно управляться с ней было не так-то просто. Мальчишки стали грести по очереди, часто сменяя друг друга. Маша Александрова и Люда Попова сидели на корме, закрываясь от ветра старой штормовкой, и раскуривали для мальчишек сигареты.

Прошло еще около часа. Верхушки соснового леска совсем скрылись из вида, закрытые рябью волн. Лодка приближалась уже к середине озера, как налетел дикий шквал, хлынул ливень, лодку закружило, завертело на месте, весло вырвалось у Мишани из рук и понеслось в сторону. Мишаня быстро снял рубашку и брюки и прыгнул в бурлящую, пузырящуюся воду. Весло отнесло уже довольно далеко, но Мишаня догнал его и теперь плыл с ним назад, к лодке, захлебываясь в потоке воды. Ромка сидел бледный, сжав кулаки, и смотрел на Мишаню каким-то застывшим, стеклянным взглядом. Как выяснилось потом, он вообще не умел плавать. Димка же греб с таким напряжением, что лицо его стало багровым, но все равно их относило от Мишани все дальше, его бледное лицо и рука с веслом становились все меньше, то появляясь в волнах, за пеленой дождя, то исчезая.

И тогда Маша Александрова стала хохотать, потому что вдруг поняла, что Мишаня может запросто утонуть. Вот так. Утонуть и все. И уже тонет. Он тонет. У них на глазах. И они все не могут ему помочь. И никто не может ему помочь. На этом дурацком, вонючем водохранилище, которое высокопарно называли морем, над затопленной деревенькой, где в детстве они жили на даче, и тело его опустится на дно и ляжет на пороге затопленного дома, два месяца в году когда-то бывшего ему родным. Длинное, худое, белое тело. Маша смеялась долго, так что заныло в боку, из глаз потекли слезы, казалось, сердце вот-вот остановится. Но все были в таком ступоре, что не обращали на нее внимания. Мишаня совсем уже исчез в волнах. И время исчезло в какой-то нереальной, сумасшедшей бесконечности.

Но Мишаня не утонул.

(Хотя в тот день и в то ненастье на этом «море» утонуло пять человек. И тоже на лодке. Чуть-чуть постарше, но еще очень молодые. Возможно, как и они — пустившиеся в первое свое путешествие. Кто так распорядился? Почему? Но те погибли, а эти остались. Судьба.)

То ли ветер переменился, то ли лодка попала в какое-то скрытое подводное течение, то ли Дима, сидевший на веслах, сделал невероятное усилие, или это невероятное усилие сделал Мишаня, а может, сама скрытая под водой деревенька все с тем же невероятным усилием, последней сохранившейся

в ней энергией, оттолкнула от дна приемное свое дитя, — только вдруг Мишанина голова показалась совсем рядом с лодкой, он ухватился рукой за борт, и ребята втащили его наверх.

Мишаня лежал на дне лодки с закрытыми глазами и все не мог прийти в себя. Его сердце колотилось, как будто вот-вот взорвется. Потом он попросил закурить. Маша раскурила ему сигарету, но после первой же затяжки ему стало хуже. Его длинные белые ноги свисали с борта в воду, и за ними, как за веслами, тянулась водяная борозда.

Между тем на небе показались первые просветы, и дождь неожиданно кончился.

Они были мокрыми насквозь. Абсолютно. Со всеми своими вещами — рюкзаками и липкими, крошащимися бутербродами. Сухим осталось только то немногое, что лежало в резиновом кармане лодки. Подгребли к ближайшему берегу. Это был совсем не тот берег, к которому они плыли, а какая-то болотистая низина с чахлыми деревцами и вязкой землей, в которую ноги проваливались по щиколотку. Кое-как выбрались на пригорок, собрали хворост и уцелевшими сухим спичками разожгли костер. От сырых веток шел едкий, серый дым, и скоро они все пропитались этим запахом, как вяленые. Было холодно, голодно, от земли тянуло знобящей влагой, нет, все было совсем не так хорошо и весело, как казалось утром.

Потом сдули лодку, скатали в жесткий, мокрый, тяжелый тюк и пошли прямиком через кусты и бурелом к дороге. К станции подошли уже в полной темноте и в темноте, ночью, добрались до города. Страшно хотелось спать, и все разъехались по домам, по одному, на почти случайных, последних автобусах и трамваях. Только Мишаня, который жил не так далеко от вокзала, пошел пешком, волоча за собой тюк с лодкой.

На другой день в школу пришла мать Люды Поповой.

Она плыла по коридору к учительской, как большой корабль, рассекая мощной грудью поток застоявшегося школьного воздуха. На голове ее вызывающе покачивался хохолок — не то шиньон, не то накладная коса, под которой (Маша-то знала!) прятались жидкие, испорченные химией волосы. Мама Люды скользнула по Маше невидящим взглядом, и Машу так и обдало холодным ужасом.

На перемене ее подозвала классная.

Ее классная... С красноватым, будто только что вымытым лицом, с туго натянутой кожей в мелких морщинках у глаз, с перетянутым узкой одеждой рвущимся из нее телом, с ногами в форме бутылочек. И тоже из тех, кто не терпит возражений. Правда, Маша видела, как однажды она говорила с директором школы, угодливо извиваясь всей своей стянутостью, суетливо перебирая ногами-бутылочками... Наверное, вот так же вела себя со своим начальством и мама Люды Поповой, вот так же... уменьшаясь в росте и втягивая к угодливо сипящему горлу еще недавно величественную грудь.

— Ну? — спросила классная, сверля Машу своими невнятно-коричневыми, среднего размера глазами. — Ну? Отвечай! — и на лице у классной, обтянутом, как помидор, тонкой кожей, проступили и запульсировали опасные красные жилки.

— Я обязательно должна вам отвечать? — спросила Маша.

И тогда классная ударила ее по лицу. Это же была крепкая, коренастая, налитая женщина, с ногами-бутылочками, так что удар получился такой силы, что Маша не устояла на месте и на пару шагов сместилась в сторону, чуть не стукнувшись о стену. Кроме того, наманикюренной лапой классная оцарапала

ей щеку, поближе к уху. И несколько дней после Маша маскировала это место прядью волос.

Ударив Машу, классная развернулась всем корпусом и, поскрипывая всеми своими защелками и бретельками, резинками и крючками, впивающимися в разных местах, но с равной силой в ее стесненное одеждами, переполненное плотью тело, пошла в учительскую.

И это было только начало, потому что мама Люды на этом не остановилась и в тот же день отправилась в школу, в которой учились Мишаня с Димкой, а в соседнем классе Рома Бергман. В тот же день, уже к вечеру, неутомимая, она обошла всех родителей.

Отец Ромки Бергмана, главный бухгалтер в каком-то стройтресте, в старых, домашних, пузырящихся на коленях тренировочных штанах, с выпирающим из майки животом восьмого месяца беременности, бегал по квартире и кричал, какое это тяжкое преступление — делать что-то втайне от учителей и от родителей. И напор этого человека — в тренировочных штанах и майке, с голыми, женскими покатыми плечами — был так силен и по-отцовски безжалостен, что Ромка рассказал все. Абсолютно все. И поклялся самой страшной клятвой — здоровьем своей маленькой, болезненной матери — никогда больше не ходить во Дворец в фотокружок, где в подвале под лестницей какие-то подозрительные юные субъекты пьют вино, курят, говорят неизвестно о чем и даже собираются в какое-то путешествие... и, кроме того, вообще, раз и навсегда избегать каких-либо контактов с девочкой, которую зовут Маша Александрова. Которая, если не кончит плохо сейчас, кончит плохо потом... На другом конце города в стандартной школе пятидесятых годов постройки, с тяжелыми глухими стенами и лепниной, претендующей на роскошь — так строили тогда даже школы, бушевало родительское собрание, и некую Машу Александрову склоняли по всем семи падежам — Маша Александрова, Машу Александрову, о Маше Александровой... Еще бы — им указали врага. Так вот кто виноват в их жизненных неурядицах, семейных проблемах, скисшем борще, плохом настроении! Может быть, даже Карибском кризисе! Маша Александрова, Машу Александрову, о Маше Александровой!

В то время как сама Маша Александрова сидела на кухне у Люды Поповой и мучительно икала от того, что так много людей агрессивно думают о ней разом. Люда Попова слонялась по кухне, слепо натыкаясь на табуретки, и твердила одну и ту же фразу:

— Ну, Машка! У тебя будут неприятности!

Но Маша ее как бы не слышала.

С самого рождения, наверное, на Машу накатывало это чувство. Словом его было трудно определить.

Маша помнила одну из больниц детства, палату на полста человек, гигантскую палату с высокими серыми потолками, где она затерялась в большой постели — больная, маленькая и ненужная. Помнила, как, утопая и задыхаясь в халате не по росту, до головокружения пахнущем больницей, пробиралась в туалет и оттуда, из сиротского этого, голого, холодного туалета, смотрела, смотрела в окно на реку и берега, покрытые ранним, несвежим снегом, на застывшее, безветренное сиротское небо. И вот это чувство, почти звериное, а может, именно звериное, тупое и бессловесное, и безымянное, саднило где-то в боку близко от сердца или на месте сердца, сплетаясь с запахом туалета, больницы и хлорки. И в то же время, преломляясь через неистовую силу детства, было в этом что-то невыразимо возвышенное и прекрасное, как будто кто-то в ней, может быть, сам Бог, а может, и какой-то его ангел, пел песню об этой, вот такой, вот именно этой, такой вот жизни. И не

находя слов, не понимая себя, Маша плакала, прижимаясь лбом к грязному стеклу, и чувствовала облегчение.

Дед Маши погиб задолго до ее рождения, где-то далеко на Севере, в стране лагерей. Что-то плохое случилось с ним. Плохое. Конечно. Каким он был, Маша не знала. Это был для нее совсем мутный образ, собранный из бабушкиных осторожных рассказов и хрупких пожелтевших фотографий. От него остались сломанные золотые часы, картина в дорогой раме и скрипучая этажерка. Но от него осталось и это — почти звериное, бессловесное страдание. И то, что чувствовала Маша, глядя из окна больничного туалета, наверное, чувствовал он — потерянный и забытый, больной и беспомощный, заброшенный в снега под безжалостным низким, северным небом. Идущий на смерть. И он прислушивался к этой боли, уводящей в безмерные глубины, в недра времени, по его зыбким дорогам — туда, в глубь, и еще в глубь... в тайну рода... К лесам и степям, к кострам и пещерам...

Таинственная земля... Мал человек... Никто не отзовется из мрака. Только это... Огромно-темное, бессловесное, пронзительное... Около сердца или на месте сердца...

Старший брат отца привез Маше Александровой подарок — детскую мясорубку.

— Я не маленькая, это совсем для детей! — сказала Маша капризно.

Дядя расстроился:

— Я не знал, что ты уже так выросла... Как же так получилось!

Маша слышала разговоры, что он похож на деда, мифического деда, владельца картины и золотых часов, и даже отчасти разделил его судьбу. Он был довольно высокий, но какой-то жидкий и выцветший, и напоминал Маше негатив. Он гостил недолго и ненавязчиво, и все читал газеты, стараясь громко не шелестеть. Потом он исчез. Навсегда. Маша знала, что отец ездил на похороны, но не заострила на этом внимания.

— Мне плохо, — сказала Маша Александрова. — Мне совсем плохо.

— Да, — сказала Люда Попова. — Ты белая-белая!

Люда стала метаться по кухне в поисках какого-нибудь лекарства. Она вытащила из буфета бутылку темного стекла и плеснула из нее в стакан, сказав, что это отцовское лекарство, что иногда он пьет его и говорит, что это приводит его в себя.

Маша взяла стакан и залпом выпила. Жидкость была омерзительная. И Маша, конечно, еще не знала, что это просто водка, настоянная на каких-то почках. Маша выпила, давясь, в два больших глотка, всего, наверное, с полстакана. И тут все поплыло у нее перед глазами, и стул, на котором она сидела, поехал в сторону.

— Перестань! Ты меня пугаешь! — сказала Люда Попова.

А Маше вдруг стало страшно весело, она начала смеяться и заплетающимся языком объяснять Люде, что все действительно очень смешно.

— Не валяй дурака! — кричала Люда. — Ты сумасшедшая!

Ведь ее отец от этого «лекарства» всего лишь чуть веселел.

А Маша, Маша все смеялась. Вдруг к ее горлу подступил ком тошноты. Пошатываясь, она пошла в туалет, и там ее вырвало.

— Что с тобой? — колотилась в дверь Люда. — Что у тебя там?

Потом Маша опять сидела на кухне, но теперь ей было уже совсем плохо, ужасно плохо, ее всю трясло... А Люда Попова все приставала, теребила, не давала покоя:

— Пойдем, пойдем, пошли... Сейчас мать вернется. Тогда будет такое!..

Но Маше было до того плохо, что даже мысль о том, что вот сейчас она может увидеть Людкину мать, не была ей страшна. Одного хотелось — чтобы прошла эта тошнота, это мучительное головокружение, эта муть в глазах.

Люда Попова оделась, набросила на Машу плащ, ее знаменитый плащ из жесткой, немнущейся искусственной кожи, и, как маленькую, за руку вывела на улицу. На улице Маше стало немного лучше. Они подошли к Машиному дому и забрались в беседку, напротив ее подъезда. Тут Люда Попова заплакала и стала говорить, что не хочет возвращаться домой и видеть свою мать. Люда Попова всегда была сдержанной и плакала редко, но тут ее как прорвало. Маша смотрела на Люду, на ее опухшее, вздрагивающее лицо, и ей было так ее жалко! Так жалко! Просто невыносимо! Она так любила ее в эти минуты, как немногих любила потом в жизни! Так любила и так жалела! И может быть, в этот миг ее чувства к Люде Поповой и достигли своей вершины, наибольшего своего накала, и, истощившись в любви, она уже стала от нее отдаляться.

Ветрено и сыро было в беседке... Дождь, пролившийся два дня назад, дождь и буря, оставили после себя осенние холода.

А на другом конце города, в школе пятидесятых годов застройки все еще шло родительское собрание. Маша Александрова... Машу Александрову... О Маше Александровой... И тут поднялась тетя Катя, мать Мишани... Та самая тетя Катя, тащившая санки в темный декабрьский вечер, с которой впервые Маша увидела телевизор, и сказала:

— Чепуха! Они еще дураки! Пройдет! — и вышла покурить в коридор.

Она курила свой «Беломор» — в старом, но еще прочном габардиновом плаще — красивая, с немного орлиным носом, с отчаянными замашками двадцатилетней фронтовой жены, и смотрела на весь этот бушующий ор и хай без высокомерия, но и без страха.

Впрочем, лодку от сына спрятали.

А Люда Попова ушла тогда из беседки. Домой. К своей матери. Ушла навсегда. Куда же ей было идти? И со временем становилась все больше на нее похожа.

Но история с Людой Поповой на этом не закончилась. Она закончилась позже. Маша была уже знакома с Рерихом и все реже заходила во Дворец, в фотокружок. И стала старше. Вот тогда-то Люда Попова и ушла из ее жизни и из ее сердца навсегда, чтобы вернуться через тысячу лет после и напомнить о себе с укором:

— Я же Люда... Люда Попова...

К выпускному балу Маше сшили в ателье какое-то совершенно гнусное платье — розовое, с воланами. Конечно, нейлоновое. Платье отчаянно кололось. Конечно, можно было бы как-то иначе, но все так делали. Нейлоновые, с воланами... Так советовала подруга матери, и соседка, и матери других девочек из класса. Маша не сопротивлялась. Но стоя перед полутемным зеркалом в примерочной и с трудом натягивая зауженный лиф, Маша ненавидела это платье всей душой и знала, что никогда не будет его носить.

Потом был последний звонок — дребезжащий и хлипкий, робко и несовершенно заявивший о начале новой жизни. Были фальшивые улыбки классной, кажется, она Машу Александрову даже обняла, впившись своей наманикюренной кровавой клешней ей в плечо. Был выпускной бал и ночь после бала, когда, мертвая от усталости, на непривычных, высоких каблуках, Маша Александрова брела и брела по городу только потому, что в эту ночь им было

разрешено гулять до утра. Скучнее и фальшивее этой ночи было трудно себе представить. Ну а когда Сергей Закопенко, одноклассник, вдруг попытался ее обнять и даже скользнул по щеке возле уха своими мокрыми, жирноватыми губами, Маша оттолкнула его довольно грубо:

— Все. Хватит. С меня хватит, — и ушла домой спать.

Но это было уже после, а пока Маша Александрова и Люда Попова шили платья в одном ателье и в ожидании примерки опять сблизились и разговорились. Опять говорили долго и оживленно, как будто вернулось прошлое. Как раз в те дни у Димки был день рождения, Маша была приглашена и позвала Люду Попову с собой.

На квартире у Димки собралось много народу, наверное, был весь его класс. Спиртного было не так уж и много — всего несколько бутылок, но мальчишки делали вид, что очень, очень пьяны. Ревел вовсю новый Димкин магнитофон, танцевали в большой комнате, в кухне и в коридоре. Димка не пускал только в родительскую спальню.

Мама Димы так и не добралась до Парижа, но когда он учился еще в пятом классе, его отец, уже тогда полковник, два года отработал в Дюссельдорфе, и тут уже мама Димы своего не упустила — в их доме было много дорогих, хороших вещей. Люда Попова была здесь впервые, и Маша обратила внимание, как она ходит по комнатам и рассматривает эти вещи, как трогает руками балерин, собачек и вазочки и какое странное у нее при этом лицо. Ведь в доме Люды все было добротно, топорно и грубо.

А вообще Маша плохо запомнила этот шумный и бестолковый вечер. Димкин класс совсем одурел, девчонки визжали и брызгались водой. Маша танцевала как ненормальная, целовалась на лестнице с Белявским — туповатым, холодным и красивым. Мишаня ревновал, убегал куда-то, опять прибегал и убегал снова. Маша жарила картошку на кухне, и все там появлялись по одному и хватали эту картошку прямо со сковородки еще сырую. Люду Попову Маша потеряла из вида. Как-то мелькнуло ее раскрасневшееся лицо, и Маша с удивлением подумала — что она делает там, если она не с Машей. По-настоящему же Маша вспомнила о Люде Поповой только когда собралась уходить. Маша прошла по всей квартире — Люды нигде не было. Наконец Маша догадалась заглянуть в спальню Димкиных родителей. Там, в темноте, она скорее почувствовала, чем увидела...

— Я ухожу, — сказала Маша, твердо зная, что Люда Попова там, в глубине...

— Счастливо, — ответил за Люду Димка.

Все, что случилось после, через несколько месяцев, перед самыми экзаменами и последним звонком, весь этот жуткий скандал, — прошло мимо Маши. Лицо Людиной мамы, покрытое красными пятнами, ее истерические звонки Маше и Машиным родителям, бледное, несчастное лицо Люды Поповой, которая пропустила даже последний звонок и, может быть, даже зря шила платье для выпускного вечера... Все, все это прошло мимо Маши. И Люду ей почему-то не было жаль.

2

Больше двадцати лет после войны

От брата Маша Александрова была далека.

Вообще-то, в детстве, во дворе, ей было приятно, что у нее такой большой и сильный брат, но потом брат выходил во двор все реже и реже, пока не ушел совсем в свою взрослую жизнь. Стал уходить по вечерам и поздно

возвращаться, одевать цветастые галстуки-лопухи и тщательно наглаживать брюки. По выходным с утра он уже крутил проигрыватель, а однажды привел девушку, какую-то неказистую, белобрысую, с беленькими, похожими на щетину ресничками. Но он так прыгал вокруг нее, так извивался, что Маше было противно. Весь вечер она демонстративно просидела в своем углу — на диване в большой комнате и даже не выходила на кухню, где они пили чай. Потом брат завел проигрыватель, и они танцевали. А Маша ужасно злилась, не могла ничего делать, ни на чем сосредоточиться.

После брат стал приводить других девушек, гораздо симпатичнее первой, но уже перед ними так не юлил и был больше уверен в себе. И вот на одной из них, из этой череды девушек, с которыми он чинно пил чай на кухне и танцевал под проигрыватель при потушенном свете в бывшей просторной спальне родителей, которую передали теперь ему и чему Маша так завидовала, на одной, с кем шептался в темноте в этой теперь своей комнате и которую родители обходили стороной, он вдруг женился.

Ее звали Таня Седова. И если уж честно, Маша Александрова считала ее слишком обыкновенной для такой высокой должности, как жена брата. Она была невысокой, с хорошенькой фигуркой. Ласковая. Но глаза у нее были узко посажены и как-то глубоко спрятаны, и взгляд не прямой, а какой-то скользящий. И за одно это Маша Александрова ее невзлюбила.

Сначала брат с женой обосновались в своей комнате. Они жили тихо, и проигрыватель, который до того все время работал и создавал какую-то приподнятую атмосферу, почти не включался.

Таня Седова оказалась большой чистюлей, она все время или мылась, или что-то стирала в ванной, и Машу ужасно злило, что она не может, когда хочет, туда попасть. Там бесконечно лилась вода, и дверь была заперта изнутри.

Потом брат стал снимать комнату в коммуналке, и они переехали. Бывало, Машу тянуло к брату, и она, купив в магазине пакет с кексами или несколько пирожных, отправлялась к нему в гости. Ехать надо было долго, с двумя пересадками, но сила привычки и привязанность родства тянули Машу, и дорога не была ей в тягость. Однако, стоило ей только войти к ним в комнату, всегда с такими чисто вымытыми полами, в комнату, где все вещи лежали на своих местах в строгом порядке, и увидеть лицо Тани Седовой с ее скользящим, прячущимся взглядом, как все чувства к брату тут же притуплялись, и Маша начинала жалеть, что приехала.

В это время в ее жизни появились новые люди, и потеря брата и Люды Поповой дались ей легче, чем могло бы быть.

С Рерихом она познакомилась на свадьбе брата.

— Это Рерих! — сказал брат, глядя на Рериха влюбленно.

Тут же вспомнился Рерих-художник, но очень скоро о Рерихе-художнике было навсегда забыто, и имя это (таково свойство имен, ведь людей-то гораздо больше, и на одно имя их приходится бесчисленное множество) стало вызывать у Маши Александровой только один зрительный образ — всегда возбужденного, с красными от бессонных ночей глазами, скорее некрасивого. Но о некрасивости его тут же забывалось, как только он начинал говорить.

Маша сидела на свадьбе брата немая и окаменевшая, со своим немыслимым начесом, с разбитым сердцем. Давно не ходила она в фотокружок, не сидела в углу под лестницей. Целая жизнь прошла. Вечность. И на веселую студенческую гульбу она смотрела теперь со стариковской завистью.

— Это Рерих, — сказал Маше брат и добавил: — А это моя младшая сестра.

— Младшая? Вот новость! — удивился Рерих и спросил, обращаясь уже к Маше: — Почему ты такая старая?

Брат любил Рериха с оттенком того обожания, с каким блондины любят брюнеток, худые полных, грустные веселых, а у дурнушки всегда найдется красивая подруга. И когда Рерих совершал один из тех поступков, которые сам брат никогда бы не совершил, брат говорил восторженно:

— Ну, это же Рерих!

Родители его жили в другом городе, и он ни перед кем не отчитывался в своих поступках. Он был уже женат. Его жена тоже была на свадьбе брата, но Рерих вел себя так, словно она имела на него не больше прав, чем все остальные девушки. Он танцевал с другими, и она танцевала с другими.

Рерих был свободен.

По ночам он работал сторожем в историческом музее, поэтому-то у него и были всегда воспаленные глаза. Конечно, он мог спокойно себе спать в выделенном для этого уголке, но он, по его собственным словам, не спал, а бродил по темным молчаливым залам, от стоянки древнего человека до крестоносцев и партизанского шалаша, бродил и обдумывал самые разные идеи. Потом ему надо было эти идеи обговорить, обсосать со всех сторон, а для этого ему нужны были слушатели. Он прижимал своего очередного «слушателя» к стене и, уставив на него свои воспаленные, красно-розовые, как у кролика, глаза, начинал доказывать свою точку зрения. На втором или даже третьем часу «слушатель» обычно совсем изнемогал, и Рерих поддерживал его, сползающего по стенке, плечом или рукой и, обдавая жаром дыхания с примесью табака, все не переставал извергать потоки слов. Слова были его стихией.

Идеальным слушателем был брат. Сам сдержанный и молчаливый, он мог целыми вечерами с упоением слушать и слушать Рериха. И пока брат с Таней Седовой жили в своей комнате — бывшей спальне родителей, — Рерих приходил часто и за это время подружился и с Машей, и с ее матерью. Этот странный парень учил мать правильно варить кашу, а с Машей как-то залез на большую грушу в соседнем дворе, потому что поклялся, что на ней, на самом верху, должны быть груши. Каша по его рецепту оказалась несъедобной, груш на дереве не оказалось — Маша только исцарапала себе руки, но это его не обескуражило.

Какое-то время после того, как брат с Таней Седовой перебрались на квартиру, Маша не видела Рериха. Потом как-то встретила недалеко от исторического музея — он шел на работу, — и с тех пор стала к нему заходить. У Рериха всегда кто-то сидел, один или два человека, не больше, чтобы не раздражать музейное начальство. Слушатели. Они часто сменялись. Однажды, спросив у брата про Рериха, Маша впервые заметила на его лице какое-то раздражение.

Маша Александрова училась странному ремеслу — журналистике. Была такая песня — «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете...», — ее с энтузиазмом пели ее однокурсники на вечере посвящения в студенты. Еще в школе она, как многие, писала стихи и рассказики в школьную стенгазету, а потом неожиданно получила призовое место на конкурсе школьных стенгазет, и один ее маленький рассказик даже напечатали в газете. Когда же после школы надо было делать выбор, ей сказали: что тут долго думать, иди в журналистику. Люди живут в разных местах, бывает, совсем далеко, а ведь им всем надо знать друг о друге и о том, что происходит в стране и во всем мире, как же тут без журналистов? Главная мысль Маше

понравилась. Но о том, что это все-таки странная и даже какая-то хитроумная профессия, она узнала позже...

На одной из лекций им сказали, что неплохо было бы начинать сотрудничать с газетами, и Маша отправилась в одну из молодежных газет. Она думала, что в молодежной газете должны работать непременно молодые, но встретил ее совсем немолодой человек — седой, с морщинистым лицом, сидел уныло, как старушка, подперев щеку рукой. При виде Маши он чуть ли не подпрыгнул, оживился, засуетился, запричитал — проходи-проходи, давай-давай, располагайся, садись, — конечно, запанибрата, конечно на «ты». Вдруг резко помолодев, как будто вампир, напитался от Маши ее молодостью. Но при этом сказал, что таких, как она, приходило уже достаточно и все темы разобраны. Она же, если хочет, может попробовать предложить что-то сама.

— Что? — растерялась Маша.

— Посмотри по сторонам! Подумай! Главное — больше задора! — и опять поскучнел, как сдулся.

Маша Александрова вышла на улицу и посмотрела по сторонам. Улица как улица, дома как дома, в которых жили незнакомые ей люди. Мимо ехали машины, троллейбусы, автобусы... Над всем этим невысокое осеннее небо. Она зашла в кафетерий и выпила чашку кофе. Это ее взбодрило. Она опять вышла на улицу — мир стал чуть ярче и чуть интересней. И все равно, куда же ей было шагать трое суток и не спать, конечно же, трое суток, чтобы написать несколько строк неизвестно о чем.

Маша шла по улице, шла и шла, потом свернула на другую... и тут увидела на стене вывеску — «Вечерняя газета». Она существовала как-то отдельно, далеко от Дома печати, где недавно побывала Маша. «“Вечерняя газета”? Почему нет?» — подумала Маша и вошла в подъезд.

Уже в коридоре на втором этаже, куда выходили двери кабинетов, Маша услышала женский крик:

— Не могу! Он опять меня зарезал! Зарезал!

Тут из ближайшей двери, чуть не сбив Машу с ног, выскочила маленькая женщина и, прихрамывая, пронеслась мимо, куда-то по коридору... Дверь оставалась приоткрытой, Маша, оглушенная этим криком, вошла, но тут же вернулась, постучала в дверь и вошла опять.

В кабинете было два письменных стола, за одним из них сидел круглый, толстый человек с большим животом. Живот не помещался в пространстве между тумбами, так что он сидел к столу боком. Лицо у него тоже было большое, чуть обвисшее, но выражение добродушное.

— Я студентка... — сказала Маша Александрова.

— А... — сказал человек. — Студентка... Хорошо... Это хорошо... — и поерзал за столом, удобнее устраивая живот. Вроде он таки втиснул его между тумбами.

Вернулась женщина, чуть не сбившая Машу с ног. Она была маленькая, щуплая и походила на растрепанную птичку, тем более, что только что, приводя себя в чувство, сбрызнула лицо водой и волосы на ее голове слиплись на манер перьев.

— Студентка, — сказал мужчина и кивнул в сторону Маши. — Пришла.

— И ее зарежут! — закричала женщина. — Зарежут! И резать будут!

— Привыкнет, — сказал мужчина и миролюбиво помахал в воздухе рукой.

— К этому не привыкнешь! — закричала женщина.

— Да брось ты, Клава! — сказал мужчина. — Подумаешь! Нашелся тут Лев Толстой!

— Я не Лев Толстой, понятно, — сказала женщина спокойней и стала пудрить нос. — Но я в этот материал душу вложила.

— А, — сказал мужчина и опять помахал рукой. — Как вложила, так и выложишь. Душа здесь ни при чем.

— Ладно, — сказала женщина. — Тему закрыли. — И зарылась в свои бумаги.

— Так значит, студентка... — уточнил мужчина, поворачиваясь к Маше Александровой. — Хорошо, хорошо... Новая поросль, новые песни... Так о чем петь будешь, то бишь — писать?

Маша молчала.

— Понятно, — выручил мужчина с прежней доброжелательностью. — Нельзя объять необъятное. А необъятное — спереди, сзади, сверху и снизу. Конечно, если хорошо приглядеться.

— Хватит трепаться, — сказала женщина угрюмо.

— Хватит так хватит, — охотно согласился мужчина и опять повернулся к Маше. — Вот тебе адресочек, давай ноги в руки... Автобаза номер шесть. Грузоперевозки. Лучший шофер. Разговори. Расспроси. Может, что и получится... — Он вырвал из блокнота страничку с адресом и протянул Маше. — Ноги в руки, вперед!

В коридоре мимо Маши опять пронеслась маленькая женщина.

— Кто же вас режет? — успела спросить Маша.

— А вот он, — женщина кивнула куда-то за спину и исчезла в туалете.

Из другого конца коридора прямо на Машу двигался небольшой плотный человек в пальто с каракулевым воротником. В его внешности не было ничего необычного, ничего запоминающегося, ничего, чтобы как-то отделить его от других, но шел он так уверенно и прямо на нее, что Маша посторонилась, прижавшись спиной к стене.

На автобазу номер шесть она поехала утром на другой день, бесстрашно пропустив первую пару — античную литературу, справедливо решив, что живой человек, шофер, преодолевающий сотни и тысячи километров, чтобы доставить в нужное место нужные грузы, важнее сейчас каких-то там неизвестных ей людей, живших более двух тысяч лет назад.

С непривычки, к тому же не зная отдаленных районов города, Маша долго искала автобазу номер шесть, а потом долго искала нужного ей человека среди машин, неуютных, холодных казенных помещений, среди других людей. Наконец нашла, в то время как две пары античной литературы пронеслись где-то без нее.

Маша успела в самый последний момент — нужный ей человек, шофер по фамилии Волков, отправлялся в рейс. Он был коренаст, смугл, чем-то недоволен и Машу встретил холодно. Тем более, он опаздывал и на разговоры времени не было. Моросило. Долгое время Маша провела на улице и очень замерзла, это было видно по ее несчастному лицу. Волков сжалился и великодушно предложил ей забраться в кабину. В кабине тоже было холодно и пахло табаком. На Машины вопросы он отвечал односложно:

— Да... Нет... Да...

— Работа? Как работа.

— План? Ну план и план. Так ведь премиальных не дадут.

— Что там говорить? Крути баранку.

Больше Маша не смогла вытянуть из шофера Волкова ни слова.

После этого разговора она чувствовала себя подавленно. В институт возвращаться уже не было смысла, и она отправилась в редакцию вечерней газеты.

— Как дела, солнце мое? — спросил редактор Титов ласково (понятно, что все называли его Титом).

Глядя на Машу, он сразу все понял и, не без труда вытащив свое объемистое тело из-за стола, освободил место.

— Ладно, садись, научишься.

Маша села за его стол.

Тит положил перед ней лист бумаги и авторучку, а сам стал неторопливо, вперевалочку прохаживаться по кабинету между двумя столами. Пространства было немного, так что он то и дело натыкался на эти столы и произносил что-то вроде досадливого, но терпеливого: «А!..»

— Что же ты... Пиши... — обратился он к Маше.

— Что? — спросила Маша.

— Пиши... Было восемь, нет... Было шесть часов утра, когда шофер Волков отправился в рейс. О чем думал он, глядя на разворачивающуюся перед его глазами серую ленту еще пустынного шоссе?

— Тяжелая фраза, — фыркнула маленькая женщина, фамилия у нее была Пигалева.

— Ничего, поправим, дай раскататься... Итак, о чем думал он... Постой, он женат?

Отстранив Машу, Тит выдвинул ящик стола и, порывшись, вытащил какую-то мятую бумагу.

— Женат, — сказал он, пробежав по ней глазами. — Есть ребенок. — Он ненадолго задумался, потом опять кивнул Маше: — Пиши... Итак... О чем думал он, глядя на расстилавшуюся перед ним... Стоп, «расстилавшуюся» плохо, «простиравшуюся» еще хуже... «Змеившуюся... Да...» — он перевел дух и вздохнул. — Оставляем расстилавшуюся... Итак, о чем думал он, глядя на... Расстилавшуюся... Да... Расстилавшуюся... Конечно, о жене, любимой жене и маленьком сыне... Нет, сынишке...

— А если у него дочь? Ты проверь, — проворчала Пигалева.

Тит пошелестел все той же бумажкой, а потом хлопнул себя по лбу:

— Ты права, как всегда! Конечно, дочь! Пишем — думал о маленькой своей дочурке.

— Ты посмотри, сколько ей лет, — опять донеслось с соседнего стола.

— Возраст не указан. На всякий случай «маленькую» выбросим, а «дочурку» оставим...

Постепенно Тит разошелся и довольно быстро надиктовал Маше средней величины текст, как-то очень ловко увязав в единое целое семью шофера Волкова, план автобазы номер шесть, социалистические обязательства и мечты о счастье всего человечества.

С гонорара Маша купила дорогое марочное вино и коробку конфет. При виде вина Тит поморщился: «Водка была бы получше», — но бутылку взял.

— Ничего, научишься, — сказал Тит и по-отечески похлопал ее по плечу.

На кровати в старой самодельной вязаной кофте, под ватным одеялом без пододеяльника лежала огромная женщина. И лицо у нее было огромное — щеки и несколько подбородков растекались, закрывая подушку, подушка была тоже без наволочки. Рядом на стуле сидел худенький мальчик лет десяти, весь в зеленке. Увидев Машу, он испугался и спрятался за кровать.

— Ну? — сказала женщина глубоким, грудным голосом, скосив на Машу выпуклые глаза. — Чем поможете?

— А чем помочь? — спросила Маша.

— Так я написала.

Эта женщина действительно написала в редакцию большое неразборчивое письмо, карандашом, в тетради в клеточку. Тит передал Маше тетрадь и адрес и сказал: «Давай, разберись. И имей в виду — мы: вечерняя газета, а не благотворительная организация, не получится материала — скажи пару ласковых слов».

Разобраться в письме, где буквы сталкивались, разбегались, налезали друг на друга, «о» походило на «а», «к» на «н» и наоборот, было невозможно. Так что теперь Маша стояла перед женщиной в полной растерянности.

Женщина занимала небольшую комнату в коммунальной квартире, и пока Маша у нее была, несколько раз заглядывали любопытствующие, по-домашнему растрепанные соседки.

— Мне бы квартиру отдельную, — сказала женщина, опять скосив на Машу свои выпуклые глаза. Добавила мечтательно: — Чтобы была ванная своя... И пенсию побольше... Вовка очень кушать любит.

— У нас всего лишь «Вечерняя газета», — сказала Маша, вспомнив слова Тита. — Мы квартирами не распоряжаемся.

— Газета — это газета, — сказала женщина обиженно и уже не глядя на Машу. — На то она и газета. Выходит, ничего не можете для людей?...

Маша молчала.

На стене висела фотография прелестной девушки, тонкой и юной, она смотрела прямо на Машу лучистыми, доверчивыми глазами. «Неужели эта женщина когда-то была такой?» — с ужасом подумала Маша.

— Тогда хоть капусты, — сказала женщина покорно и вздохнула.

— Какой капусты? — переспросила Маша.

— Капуста и есть капуста. Витамины.

Маша зашла в ближайший овощной магазин, купила огромный кочан капусты и, с трудом обхватив руками и прижимая к себе, еле дотащила. Но видеть эту женщину она больше не могла — не могла видеть почему-то ее покорных, вопрошающих глаз — ведь это уже был не шофер Волков, крепкий весь из себя парень, с «расстилавшимся» перед ним шоссе, это было нечто другое, это был мир нуждающихся и несчастных. Кочан она отдала соседке. Та понимающе вздохнула и молча его взяла.

Выслушав взволнованную Машу, Тит спокойно сказал:

— Значит, материала не будет. Нет так нет, — и перевел разговор на другую тему.

Но тетрадь в клеточку, заполненная неразборчивым почерком, еще долго лежала у Маши, ожидая, когда кто-нибудь терпеливый, как египтолог позапрошлого века, разберет эти каракули, чтобы узнать про жизнь одного человека, одного из бесчисленных множеств, когда-либо населявших Землю под все-таки немногими именами.

Узнает, как с толпой беженцев уходила из города хрупкая растерянная девочка, почти подросток, попала под бомбежку, потеряла близких, чудом, случаем спаслась и оказалась в партизанском отряде. Отсиживалась в болотах с крепкими деревенскими женщинами, простудилась на всю жизнь... Сожительствовала с несколькими мужчинами в тухлых, сырых землянках, убогих разграбленных хатах, а потом была ими оставлена, этими мужчинами. Первый — погиб, второй вернулся к жене, третьего испугали ее болезни. После войны работала на тяжелых, непосильных работах, хорошо, что хоть комната в коммунальной квартире, в которой жила с родителями, уцелела и осталась за ней.

Жизнь не любит слабых, и если не сбрасывает со скалы, как в Спарте, поступает не менее жестоко — терзает и мучает. Как-то она даже хотела

покончить с собой, но все-таки осталась в этой жизни. А чтобы придать ей какой-то смысл, взяла на воспитание ребенка, сироту, попросившего у нее милостыню на вокзале.

Вот что можно было узнать из тетради, только еще со многими подробностями — про вши, чирьи под мышками, которые долго не заживали, имена и фамилии ее мужчин, и как погиб на ее глазах первый, как хрипел и задыхался на ее руках, а она ничем не могла помочь, хоть и осталась вместе с ним и не ушла с поля, на котором шел бой, немцы были уже совсем близко — ее могли убить или взять в плен. Про названия деревень и проселков, в которых ей приходилось бывать, про заплесневелый хлеб, про чужую злобную женщину, которая заняла ее комнату и не хотела пускать в ее собственный дом, — типа, где ж ты, дрянь, пропадала всю войну? — про цены на хлеб, картошку, капусту, мыло в разные годы... Про то, как тяжело ходить по собесам за всякими там бумажками, потом выстаивать очередь к равнодушным, чужим людям, потому что они — врачи.

Но никто так и не прочел эту тетрадь и не узнал эту историю, и она затерялась, исчезла, превратившись сначала в макулатуру, а потом в чистые листы бумаги, на которых был написан уже новый текст.

И жизнь эта ушла, скользнув в плавильную печь прошлого, как множество других жизней, как жизнь тех бабок, к которым прикасалось Машино детство. Но судьбы неисповедимы, и законы их нам неизвестны. Потому что через много лет Маша Александрова встретила этого некогда испуганного, всего в зеленке, мальчика, а теперь зрелого, уверенного в себе мужчину, и он рассказал ей, что было написано в тетради. Потому что то, что было там написано, столько раз читалось ему, оказалось навсегда зацементированным в его сердце. И теперь он, в дорогой одежде и при дорогих часах, с золотым, массивным перстнем-печаткой на пальце, мог без запинки сказать — сколько стоили кило картошки, буханка хлеба или кусок мыла в тысяча девятьсот сорок девятом, тысяча девятьсот пятидесятом и всех дальнейших годах...

Правда есть. Она таится и запаздывает, блуждает в безмолвных подземных водах, но приходит всегда.

У Маши началась сессия, и она почти не бывала в «Вечерней газете». Потом же начались события очень неожиданные.

Сначала исчез Рерих. В Историческом музее о нем ничего не знали. Брат, который почему-то к нему охладел, тоже ничего не знал, да и не интересовался.

Как-то Маша вспомнила один странный с ним разговор, с Рерихом.

— Машка, у тебя бьется сердце?

— Конечно, как у всех.

— А ты его слышишь?

— Наверно, когда быстро бегу... или испугаюсь... Можно пульс пощупать...

— Я не об этом...

И Рерих протянул ей газету с большой фотографией. Маша не сразу поняла, что на ней изображено — какие-то люди на фоне индустриальных сооружений. Статья называлась — «Черное золото».

— А у меня забилось... Там нефть нашли, соображаешь? «Черное золото». В диком количестве. Помнишь, у Джека Лондона? Клондайк, Юкон, золотая лихорадка... Короче, за тех, кто в пути! Чтобы у них не отсырели спички и собаки не умерли с голоду! Там можно заработать та-а-кие бабки!...

Рерих не был ни жадным, ни сребролюбивым, зарабатывал в Историческом музее совсем немного, и это его устраивало.

— Там — жизнь, — вдруг добавил Рерих мечтательно.

— А здесь что, не жизнь?

— Здесь? Здесь имитация, вон как этот шалаш, — и он показал на партизанский шалаш за стеклом, у которого сидели манекены-партизаны, розовые, благодушные, раскрашенные. — Кругом одна имитация, все не настоящее. Она его любит, он ее любит! Как же! Они терпеть друг друга не могут! Нет, это не жизнь. За тех, кто в пути! Чтобы у них не отсырели спички и собаки не умерли с голоду! — Он налил воды из графина и залпом выпил целый стакан.

Маша сидела на кухне брата. Брат в лыжном костюме и домашних тапочках чистил картошку, экономно, тонко срезая бугристую кожуру.

— Разуйся! — ворчливо сказал он, глянув на Машу.

У дверей ровно, носок к носку, стояли его туфли и несколько пар туфель его жены, Тани Седовой. Маша разулась и поставила в этот ряд свои зимние сапоги, поставила довольно криво, но поправлять не стала, хоть и поймала укоризненный взгляд брата.

— Откуда я знаю, где он? — опять ворчливо сказал брат. — Да мне и без разницы.

Он был раздражен и бросал очищенную картошку в кастрюлю, даже немного разбрызгивая воду. «Там — жизнь», — почему-то вспомнила Маша слова Рериха.

— Где Таня? — спросила Маша и тут же поняла, что этого не надо было спрашивать. Непонятно почему, не надо и все.

Брат бросил на нее быстрый, злой взгляд и не ответил.

Разговора не получалось. Молчали.

Через две недели Таня Седова исчезла. Уехала как бы навестить бабушку, но с вокзала отправила открытку: «Не жди...»

Брат чуть с ума не сошел.

— Уходи! Уходи! — кричал он и швырял в Машу первые попавшиеся под руку предметы. — Это все твой дружок!

— Какой дружок? — не поняла Маша.

— Твой Рерих!

— Так он твой дружок.

— Сволочь, сволочь он! Негодяй! И не приходи больше!

На этот раз в Машу полетело что-то тяжелое, она еле увернулась...

В конце января на Машино имя в институт пришло письмо от Рериха.

В конверте была фотография без подписи: на фоне буровой вышки — Рерих, в тулупе и меховой шапке, надвинутой по самые брови. Рядом кто-то стоял, но этот кто-то был отрезан. Виднелся только край рукава, но Маше показалось, что это рукав от шубки Тани Седовой. Она совсем не была уверена, да и вообще это было бы трудно доказать, но что-то подсказывало ей, что это так. Маша никому не сказала о своем подозрении и не показала это письмо.

Между тем в доме было плохо. Брат не появлялся. Мать ходила заплаканная и возила ему еду, но он ничего не ел и как-то даже грозился покончить с собой. По ночам до Маши доносились тихие, напряженные разговоры родителей.

Ситуация все длилась и была безнадежной. И Маша приняла решение.

О том, чтобы одолжить деньги у родителей, не могло быть и речи, у однокурсников таких денег не было, и Маша отправилась в «Вечернюю газету».

— Зачем тебе это надо? — сказал Тит и вздохнул.

— Там — жизнь, — ответила Маша.

— Жизнь — везде. Убедишься.

— Здесь — имитация.

— А там нет?

Деньги он ей дал все-таки, но только на билет туда — сам был небогат, и написал еще несколько строчек своему однокурснику, редактору тамошней газеты.

— Напишешь им что-нибудь, вот и заработаешь. Все-таки я чему-то тебя учил.

В студенческой поликлинике строгая женщина с очень тонкими губами осмотрела Машу, остукала молоточком, проверяя рефлексы, а потом сказала:

— Вы здоровы.

— Но я плохо себя чувствую! — сказала Маша. — Плохо! Просто ужасно! Я не могу заниматься!

— Может, вы влюблены?

— Наверно. Нет. Я действительно влюблена!

— Черт побери, а ведь это действительно болезнь! — сказала женщина в сердцах, и ее тонкие губы сложились в некое подобие улыбки, не очень веселой. Освобождение от занятий на две недели она Маше выписала: — Выздоравливайте!

Маша стала собираться. Родителям она сказала, что направлена в отдаленный район на практику. Родители поверили на слово. Они вообще мало вмешивались в ее жизнь, потому что всегда были сосредоточены на брате — правильном, положительном человеке, мужчине, он был их надеждой. И Маша не ревновала, ей это было только на руку.

Она взяла у подруг несколько теплых кофт, толстые вязаные носки, две пары варежек и купила билет до Тюмени.

На конверте, который прислал Рерих, был указан северный городок, а в скобках — поселок Солнечный.

В печке трещал огонь. За столом перед Машей сидел мужчина с перевязанной щекой. Наверное, у него болел зуб.

Маша стояла перед ним в своем зимнем пальто с желтым лисьим воротником, еле сходившимся на трех поддетых под ним вязаных кофтах, в платке поверх зимней шапки, в натянутых одна на другую зимних варежках.

— Явление Христа народу, — сказал мужчина шепеляво и хмыкнул.

Маша стянула варежки и негнущимися руками стала выуживать из сумки письмо, которое Тит написал этому самому человеку с перевязанной щекой, своему бывшему однокурснику. Справлялась она с этим долго и довольно неловко. Все это время однокурсник Тита по фамилии Коржанец смотрел на нее насмешливо. Наконец она достала письмо и положила перед ним на стол. Тот ловко его распечатал и прочел одним махом.

— Что же ты стоишь, чучело, раздевайся, — сказал Коржанец.

До Тюмени Маша добралась легко, хоть и летела с пересадкой. Но уже там, в аэропорту, где нужно было ждать нужного рейса несколько часов, она ужасно замерзла и тогда уже надела на себя все теплое, что везла с собой в сумке. Ей еще повезло, говорили, что в ее пункт назначения из-за погоды самолеты не летали сутками.

— Раздевайся, кому сказал, — проворчал Коржанец.

Маша сняла пальто, две кофты и развязала платок.

— Совсем другое дело, хоть на человека похожа, — одобрительно сказал Коржанец. — Тут у нас не край света, тоже люди живут, не без эстетического чувства.

Маша глянула на его обмотанную щеку, не вызывавшую эстетического чувства, и чуть усмехнулась. Коржанец это заметил и продолжил с прежней ворчливостью и даже чуть агрессивно:

— Жили-жили себе, никому не мешали, так нефть, понимаешь ли, нашли, «черное» золото, понеслись со всего света жулики, проходимцы... — И тут же спросил уже другим тоном: — Титыч-то как?

— Хорошо, наверное, — сказала Маша.

— Думаю, хорошо... Цивилизация! Бока отращивает. — И он непритворно вздохнул. — Ты садись, садись, грейся!

Маша села у печки. От печки несло жаром, как от солнца. Она сомлела и даже чуть задремала. Коржанец все бубнил, словно отчитывал кого-то.

— Что? Заснула совсем? — вдруг заорал Коржанец громко, так что Маша вздрогнула. — Сейчас обедать пойдем! Голодная, небось... Да и я бы что-нибудь слопал.

Маша опять стала рыться в сумке, нашла фотографию Рериха на фоне буровой вышки и протянула Коржанцу.

— Вы такого человека не встречали?

Коржанец глянул на фотографию, нахмурился, сказал резко и зло:

— Не встречал! Навалом тут всяких проходимцев! — и даже брезгливо отшвырнул на край стола.

— Он не проходимец. Зачем вы так говорите? — сказала Маша, пряча фотографию.

— Натуральный проходимец. По физиономии вижу. Тебе-то он кто?

— Никто. Знакомый, можно сказать, друг.

— Да ладно тебе! Ради знакомых за тысячу верст не едут.

Маша растерялась и то ли от еще не ушедшей дремоты, то ли от усталости, то ли от ловких вопросов Коржанца, слово за слово выложила ему все. Про Рериха, про то, как он отправился за «жизнью», а потом уже и про брата, Таню Седову и рукав ее шубки на фотографии...

— Ясно, ясно... — говорил Коржанец, удовлетворенно постукивая ладонью по столу.

Спустя время Маша удивлялась сама себе — как это могло произойти? Как она могла рассказать всю эту историю совершенно незнакомому ей человеку. А ведь объяснялось все просто — Коржанец был мастер выуживать информацию.

— Ладно, пойдем щи трескать, — сказал он, меняя тему и резко повеселев. — Щи да каша — пища наша. Ну-ка, щи нам с товарищем тащи!

Смеркалось. Старинный деревянный городок тонул в снежных холмах. Улица, по которой они шли, была утоптана, по ней ехали сани и бегало много больших, лохматых, беззлобных собак. Судя по всему, с голоду они не умирали.

На улице Коржанец оказался ростом немногим выше, чем Маша. Платок он снял, а на распухшую щеку натянул ворот свитера. Шел он быстро, чуть вихляющей походкой классического холерика и со всеми здоровался. Видно было, он всех здесь знал и все знали его — солидные мужики, молодые парни, в овчинных полушубках и унтах, женщины в валенках, платках и шубах.

В ресторане, похожем на расписной терем, было тепло и сыро. Когда кто-то входил в дверь, врывались столбы пара. День заканчивался, свободных столиков было немного. К ним тут же подошла дородная официантка.

— Обеденное! — сказал Коржанец неожиданно властно. — Два обеденных.

— Так ведь вечер уже, Николай Николаевич, — сказала официантка скорее из какой-то игры и сверкнула золотыми зубами. — Где ж я вам обеденное найду?

— Для милого дружка разыщешь. И стопочку. Стопочку. Водку будешь? — спросил он, наклонясь к Маше.

— Нет, — поежилась Маша. Красное вино, которое они пили в подвале Дворца профсоюзов, это же не водка.

— Зря, неплохая история для сугрева. Потом — лекарство. Две стопочки, сам за твое здоровье выпью.

— Что, Николай Николаевич, зубки болят? — спросила официантка насмешливо, улыбаясь уже во весь свой золотой рот.

— Ты, женщина, давай, иди делай свое дело — пищу грей, — сказал Коржанец беззлобно и еще выше натянул на щеку ворот свитера.

На невысокой эстраде стали собираться музыканты, среди них выделялся смуглый человек с черной гривой волос, достававших до плеч.

— Это Цыган, — сказал Коржанец одобрительно.

Цыган это был или просто смуглый черноволосый человек, сложно было сказать, но запел он действительно цыганскую песню. И пел очень хорошо, просто здорово, и таким сильным голосом, что все присутствующие просто оторопели, а когда он закончил, стали стучать вилками по тарелкам в знак одобрения. Наверное, здесь было так принято.

— А ты как думала? — сказал Коржанец самодовольно. — У нас тут все есть — и артисты, и писатели. Полна коробушка. Сюда людей пачками ссылали, начиная с Алексашки Меншикова, дружбана Петра Алексеевича Первого. Генофонд. На холоде закалился.

Официантка принесла обед. Коржанец ел, при этом как-то умудряясь придерживать у щеки ворот свитера, все закрывая щеку. Когда с едой было покончено, он заказал еще рюмку водки и соленый огурец. На эстраде опять показался Цыган. Его встретили дружным стуком, кто-то даже топал ногами и свистел. Цыган долго настраивал гитару... Струны всхлипывали и все не собирались вместе. Все терпеливо ждали.

— А ты иди, — сказал Коржанец Маше. — У меня вечер после трудового дня — лечусь, отдыхаю. А ты топай по своим делам. Спроси у вертолетчиков, они теперь на базе, много кого знают. А ночевать можешь в редакции, в моем кабинете, только постучи громче, наша сторожиха может спать завалиться. Скажешь — Коржанец велел пустить.

Было темно, но свет в домах горел, и аэропорт, до которого было недалеко, был освещен.

У входа в аэропорт — большого, приземистого здания — прямо в дверях, нос к носу, Маша столкнулась с Рерихом. При виде Маши он остолбенел.

— Привет! — сказала Маша.

— Ну, — промычал Рерих и даже как-то поперхнулся. — Как ты здесь оказалась?

— Оказалась.

Рерих пробормотал что-то невнятное. Может, даже ругательство.

— Я здесь на одну ночь. Завтра вылетаю.

— Куда?

— Обратно. В Солнечный.

— Там много солнца?

— Не больше, чем здесь.

Мимо проходили люди, они все стояли в дверях и всем мешали.

— Ладно, пошли, — сказал Рерих сквозь зубы и чуть ли не с ненавистью.

И они пошли в сторону от аэропорта, а потом по крутым деревянным лесенкам, с холма на холм. Рерих мчался быстро, Маша еле успевала за ним, все боясь поскользнуться и покатиться вниз по скользким деревянным сту-

пеням. Так они бежали долго, и Маша даже подумала, что он хочет ее вот так замотать, закружить, чтобы самому собраться с мыслями. Скорее всего, так и было.

Наконец он привел ее к какой-то избе... Там, в жарко натопленной комнате, на кровати сидела Таня Седова и вязала свитер. При виде Маши ни одна черточка ее спокойного лица не дрогнула. Только улыбнулась, как показалось Маше — чуть-чуть, одними губами. Потом она неспешно встала, принесла откуда-то из-за занавески кастрюлю и поставила на стол перед Рерихом.

— Будешь? — спросил Машу Рерих, он выудил из кастрюли кусок мяса и запихнул в рот.

— Я ела, — сказала Маша.

Рерих выудил из кастрюли еще кусок мяса и средних размеров картошку. Таня Седова, все молча, все неспешно, поставила перед ним миску и положила вилку. Но Рерих, как бы не замечая этого, продолжал есть руками, вытаскивая из кастрюли то кусок мяса, то картошку.

Рерих еще не закончил есть, как уже начал говорить, торопливо дожевывая пищу, вязнувшую в словах.

— Понимаешь, — говорил Рерих, — комсомол, конечно, отжившая организация, на Большой земле вообще икусственная, поэтому не работает. А вот здесь, на Севере, еще работает.

Рерих говорил, говорил... про какие-то бригады, про какие-то буровые, каких-то строителей и геологов, сыпал именами и цифрами, но Маша совершенно не понимала, о чем и к чему это он, если дело совсем не в этом. Вот сидит на кровати рядом Таня Седова, жена ее брата, и при чем здесь все остальное?

— Там — сонное царство, здесь — пульс жизни, молодость! — вскричал Рерих и даже вскочил, размахивая так и не пригодившейся вилкой.

— А как же брат? — вдруг спросила Маша.

— Что? — не понял Рерих. И покраснел.

— Как же брат? — упрямо повторила Маша.

Она не смотрела на Таню Седову, но боковым зрением увидела и почувствовала, что та вся напряглась и больше не улыбалась. А Рерих? Рерих выплюнул кусок картошки прямо в кастрюлю и заорал:

— Шпионить приехала? А ну давай отсюда! Вон отсюда! Вон!

Маша схватила пальто, шапку, платок и, с трудом рванув тяжелую дверь, натыкаясь на все углы в темных сенях, выбралась во двор, а там побежала, не зная куда, сбиваясь с протоптанной тропинки в снег. Себя не помня, глотая холодный воздух, в распахнутом пальто и сбившемся платке, выбралась на улицу, ту самую улицу, на которой была редакция газеты. Рерих действительно таскал ее по холмам совершенно намеренно.

Рерих догнал ее на улице. Он был без шапки.

— Стой! — крикнул зло. — Куда ты пойдешь?

— Найду куда! — огрызнулась Маша. — В редакцию.

— К Коржанцу, что ли?

— К Коржанцу!

— К Коржанцу? К этой сволочи! — прямо-таки взвился Рерих.

— Он — хороший человек! — закричала Маша с вызовом.

— Сволочь он! Сволочь! Стукач! Ублюдок! Он от меня получил по полной!

— У него флюс!

— По морде получил, вот и весь флюс! И еще получит! Давай! Вали к этому стукачу! Вали-вали!

Рерих опять впал в ярость, на какой-то момент, наверное, уже забыв о недавней сцене, как и о том, что Машу сюда привело.

— Вали! — рявкнул он в последний раз, развернулся и побежал назад.

Маша пару раз вяло стукнула в дверь редакции, никто не отозвался. Идти туда ей совсем не хотелось, как не хотелось видеть Коржанца ни завтра, ни вообще. Денег у нее почти не оставалось, она решила поговорить с пилотами, а потом уже как-то добираться дальше.

Из ресторана, широко распахнув дверь, а потом ловко спрыгнув по ступеням, показался Цыган. Он был навеселе.

— Куда шуршишь, мышонок? — заорал весело.

Маша не ответила. Она была так потрясена всем случившимся, что уже не чувствовала холода. Цыган пошел рядом. Вблизи он показался ей даже моложе, чем был на эстраде.

— Шкурка у тебя, прямо скажем, по нашим местам слабая. Да?

— Что вам от меня надо? — сказала Маша. — Какое вам дело?

— Провожаю. Чтоб никто не обидел, — миролюбиво заметил Цыган. — Коржанец-то принял свое и к бабе под перину. Он бабу боится. У него баба такая. Она такого, как ты, мышонка, на одну ладонь положит, а другой прихлопнет.

Дорога поворачивала в гору, на которой был аэропорт, за ним начиналось летное поле.

— Рвешь когти, значит?

— Значит!

— Так, может, деньги нужны?

— Нужны, — сказала вдруг Маша неожиданно для самой себя.

И тут Цыган распахнул полушубок, порылся где-то под его полой и вытащил пачку денег. Половину, не считая, протянул ей.

— Я верну, — сказала Маша.

— Хорошо, если вернешь, а не вернешь — тоже жив буду. Ну, давай! Появишься тут — шкурку утепли, — и пошел себе дальше.

— Вы бы ехали отсюда, у вас голос хороший, — сказала Маша вслед.

— Зачем? — отозвался Цыган. — На Большой земле таких много, а здесь я один. Здесь я король.

И исчез в темноте. До Маши донеслось только, что он запел что-то... Наконец и голос смолк.

Уже в аэропорту Маша поняла, что ужасно замерзла. Зал ожидания был забит. Все какие-то мужики, солдаты. Женщин среди них почти не было. Воздух был тяжелый, густой, пахло людьми, влажной овчиной и табаком. Маша протиснулась к раскаленной металлической печке и немного согрелась. Летный день начинался с утра, до утра надо было дожить. Глаза у нее слипались от усталости, и все тело было набито какой-то вязкой ватой, она нашла свободный уголок и легла у стены на пол, положив сумку под голову. И тут же заснула.

Всю ночь аэропорт гудел, как рой потревоженных пчел, до Маши доносились голоса, невнятные разговоры, хлопанье дверей, через которые прорывались холодные струи воздуха и шарили по полу, опять голоса, невнятные разговоры, дух спиртного... Иногда она слышала: «Тише! Человек спит!» Человек — это я, — думала Маша и продолжала спать. Аэропорт уже открылся, и явственно доносился рев моторов. Маша все спала.

Разбудил ее Коржанец, он тряс ее за плечо.

В маленьком городке, где они всего лишь прошли по улице от редакции до ресторана, а потом пообедали в этом ресторане, все всё уже знали.

И Алевтина, жена Коржанца, та самая, которая могла поставить Машу на одну ладонь, а другой прихлопнуть, закатила мужу скандал и требовала, чтобы он привел ее к завтраку. И уже завела блины...

— Пойдем, а? Ну что тебе стоит? — Коржанец тянул ее за рукав. — Еще улетишь! Подзаправишься и улетишь. Моя Маруська с меня теперь семь шкур спустит!

Но Маша была непреклонна. Коржанец умолял и чуть не плакал. А потом стал предлагать деньги, которые она тоже не взяла. Через два часа она вылетела в Тюмень.

О своей поездке Маша не рассказала семье. Цыган дал ей много, она не стала тратить, а доложив что потратила на дорогу, выслала ему через три месяца. Так и адресовала — город Н., ресторан, Цыгану.

Маша Седова вернулась через месяц и сказала брату, что беременна.

Брат был счастлив.

3

Второй день у Тита было плохое настроение. От этого редакцию немного трясло.

Вот уже несколько лет, как он переместился в кресло главного редактора. Куда переместился прежний главный, тот самый, в барашковой шапке, которого встретила Маша в первое свое посещение редакции, Маша так и не поняла. Сведения были сбивчивые. Возможно, даже где-то там умер. Сначала переместился, а потом где-то там умер. Ведь умирают все. Даже суровые бывшие главные редакторы, освобождая место другим. На место Тита в отделе переместилась Пигалева, а ее место заняла Маша Александрова, которая к тому времени уже закончила универ. Нормальное перемещение людей в пространстве, не терпящем пустоты.

Но если с прежним главным все было ясно, он был отдален, отстранен и малодоступен, и его настроения никого не волновали, то с Титом все было иначе. Он был, можно сказать, «свой», и чтобы с ним считались и соблюдали дисциплину, бывал даже более суров, чем прежний.

— Ты же понимаешь, — сказал он как-то Маше, — ответственность, тут уж ничего не поделаешь. Святое дело — ни за что не отвечать.

— Все они такие, — брюзжала Пигалева. — Только дай сесть за руль — и остальные уже пешеходы.

Когда у Тита было плохое настроение, он слонялся по кабинету и пил сладкую газированную воду, что было ему никак нельзя — у него начинался диабет, и даже покуривал, что было нежелательно тоже.

Сначала он сделал выговор уборщице, и в довольно жесткой форме, уборщица, конечно, это заслужила, но обычно он этого не делал, потом он вызвал бухгалтера, и та вышла от него заплаканная, потом громко ссорился с ответственным секретарем...

И этому было объяснение — на заседании горисполкома, которому подчинялась «Вечерняя газета», его, в смысле его газету, очень критиковали, хоть и была она вполне безобидной, не поднимала острых тем и вообще не касалась ничего существенного. В горисполкоме же были свои соображения, и у тех, кто там «рулил», накопился определенный запас злости, который надо было куда-то девать. Самое же главное — в бюджете были большие дыры и концы с концами не сходились. «Раздутый штат!» — повторялось не один раз. «Вечерней газете» такой штат не нужен...

Когда Тит вызвал к себе Машу, она была готова к чему угодно, но только не к этому.

— Надо сокращать штат, — рявкнул Тит глухо. — Ты пишешь неплохо, я тебя все-таки научил чему-то. И остальные, да, вполне... Но Пигалева... Если сокращать штат, придется увольнять Пигалеву.

А ведь это была правда. Когда Тит работал в отделе, он переписывал за Пигалеву все материалы, теперь этим занималась Маша и знала все эту правду лучше, чем кто-нибудь. Слова у Пигалевой топорщились и как-то не очень уживались друг с другом, хотя задор у нее был. Но, наверное, только задор. Да, но как «сократить» Пигалеву? Она была одинока и агрессивна. Ей было под сорок...

— Возьми это на себя, — сказал Тит, пряча глаза.

— Как? — взвилась Маша.

— Ты с ней в одном кабинете... Дружба не дружба — контакт. Но лучше все-таки не здесь... Купи тортик, зайди домой, чаю попейте... Да она сама сто раз собиралась уйти! Она эту газету ненавидит! — Тит пробормотал еще что-то, довольно невнятно, а потом закричал в сердцах: — Ты что, не понимаешь? У меня как прихватит сердце, мне конец! — и протянул ей деньги — на тортик.

Маша стояла в булочной и разглядывала торты. Настроение у нее было ужасное.

Когда Таня Седова родила сына, брат уже работал в научной лаборатории при заводе. Он был собранный, аккуратный, подтянутый человек и хороший работник, но даже при таких качествах на собственную квартиру мог рассчитывать лет эдак через двадцать. Так что, чтобы обеспечить счастливую жизнь своему любимцу, родители пошли на жертву и разменяли свою квартиру на две. Лучшую они отдали брату, а сами пошли в маленькую двухкомнатную распашонку.

Впрочем, счастливая жизнь у брата все равно не получилась. Через год Таня Седова снова ушла к Рериху, который тоже уже развелся, и все оставила брату. Наверное, она пожалела об этом, когда Рерих ушел и от нее к какой-то юной первокурснице. Но было уже поздно.

В крошечной распашонке, куда Маша перебралась вместе с родителями, ей негде было приткнуться, и как только пошла на работу, она сняла комнату у одной старушки, доброй и вполне безобидной, разве что любознательной. Так что, когда Маша уходила, старушка могла зайти в ее комнату, рыться в вещах и даже читать ее письма. Вот и теперь, когда Маша ненадолго забежала домой чуть-чуть раньше обычного, она столкнулась со старушкой, выходящей из ее комнаты. К переживанию по поводу объяснения с Пигалевой добавилась еще и эта мелкая досада. Бывает, что неприятности совпадают, как бы притягивая друг друга.

Итак, Маша стояла в булочной и разглядывала торты. Денег Тита хватило бы на самый лучший или большой набор пирожных, но это показалось ей неуместным, и она выбрала скромный тортик без лишних украшений.

Пигалева делила большую двухкомнатную квартиру с пожилой корректоршей издательства художественной литературы. Там были высокие потолки и толстые стены — они друг другу не мешали. Она сама встретила Машу в прихожей и нарочито закашлялась — ведь в тот день она не пришла на работу. Пигалева была в полосатых гетрах и какой-то зачуханной, обвисшей кофте неопределенного цвета. Вид у нее был довольно измученный.

Машу Александрову она не любила. Непонятно за что. Может, за то, что она моложе, симпатичнее, легко пишет, тогда как Пигалева, такая бойкая на

язык, когда дело касалось бумаги, тянула из себя слова, как будто они там у нее внутри к чему-то привязаны. Кто знает, за что она не любила Машу Александрову. В редакции она всегда ее поддразнивала — «Шла Маша по шоссе и сосала сушку» или « Пошла девочка Маша в темный лес и встретила трех медведей...» И при этом сама смеялась. Маша же не находила в этом ничего смешного.

Возможно, Пигалева вообще никого не любила.

Пигалева молча взяла тортик и завела Машу в свою комнату — большую и просторную, хоть и заставленную массивной старой мебелью. Тортик она положила на тумбочку, села в кресло и закурила тонкую папироску. Она даже не предложила Маше сесть, и Маша, после секундного замешательства, села сама.

— Как вы себя чувствуете? — спросила, наконец, Маша.

— Спасибо, не очень, — сказала Пигалева и снова закашлялась.

Опять замолчали.

— Что ж, подлец, сам не пришел? — вскричала вдруг Пигалева, лицо ее залилось краской.

Конечно, она все уже знала — ведь в каждой организации есть глаза и уши.

— Подлец, подлец, — это было сказано уже спокойнее, но непримиримее, голова ее тряслась. — Приспособленец!

Маша старалась не смотреть на Пигалеву, взгляд ее просто скользил по мебели и стенам. И тут она заметила что-то удивительное — стол, тумбочка, телевизор, кресла, все было покрыто вышитыми салфетками. Такие же вышитые картинки в рамках висели по стенам. И со всех этих салфеток, картинок и скатертей на Машу смотрел изумительно яркий, фантастический, сказочный мир, полный цветов, бабочек, птиц, дивных принцесс и драконов.

— Это кто вышивал? — не удержалась Маша.

— Дядя. Я, конечно.

Пигалева была художником.

Она просто занялась не своим делом, подумала Маша и сказала:

— Как это чудесно!

Но сердце Пигалевой похвала Маши не смягчила. Она докурила, потушила папироску в пепельнице и встала, давая Маше понять, что разговор исчерпан и пора уходить. При этом как-то брезгливо взяла тортик.

Они вышли на лестницу, Пигалева наклонилась, глянула в лестничный пролет, а потом бросила тортик туда...

Когда Маша спустилась на первый этаж, тортик лежал как ни в чем не бывало, даже коробка была цела, разве что чуть помялась.

Уже под утро Титу позвонила корректорша издательства «Художественная литература», соседка Пигалевой, и сказала, что Пигалева рыдала всю ночь в ванной, а потом ударила себя в грудь кухонным ножом. Тит вызвал такси и отправился туда. Он пробыл у Пигалевой несколько часов, но в тот день на работе не появлялся.

Через три недели Пигалева пришла в редакцию, еще более похудевшая, чем обычно, и какая-то приниженная. Она стала работать на полставки, получая ставку уборщицы. Вот уборщицу-то и сократили, у уборщиц всегда найдется работа. Но теперь все стали убирать за собой сами. И не раз Маша видела, как Тит, пыхтя, громыхал шваброй в своем кабинете. Перед Машей Пигалева стала просто заискивать, и Маше почему-то было больно это превращение. Ей было бы куда приятней, если бы Пигалева в очередной раз сказала: «Шла Маша по шоссе и сосала сушку...»

Правильные люди не всегда ведут себя правильно, скорее наоборот, уж если покатятся, так покатятся, неправильным не угнаться. Так и Машин брат...

Когда Таня Седова окончательно ушла от него к Рериху, брат рыдал, валялся у нее в ногах, а потом даже поджег дверь квартиры, чуть ли не сжег и саму квартиру, в которой она тогда с Рерихом поселилась. На этот раз Рерих повел себя правильно и дела не завел.

Убедившись, что ничего не поправить, брат запил и на какой-то момент даже потерял работу. Впрочем, со временем это утряслось. У него был сердечный приступ, подозревали даже инфаркт, так что до смерти испугался, пить перестал, устроился на новую работу, в материальном отношении даже более выгодную, и через пару лет женился снова.

Его новая жена чем-то напоминала Таню Седову, но была совсем другая — ленивая и неряха. Кругом валялись носки брата и всегда пахло чем-то прокисшим. Маша у брата совсем уже не бывала.

В редакции у Маши образовалась своя ниша. Писать-то она могла обо всем, но при этом ей часто бывало скучно, и она прямо выдавливала из себя про все эти планы, соцобязательства и мелкие производственные конфликты. И слова-то при этом у нее выходили какие-то плоские и неживые, как будто сделанные из фанеры. Другое дело, что такими словами — плоскими, фанерными, неживыми, все в редакции писали, так что она от других не отличалась.

Лучше всего она писала о людях. Вот они-то и были ей интересны — интересны вплоть до того, что они едят, пьют, о чем думают, как складываются их судьбы и почему. Ей никогда не надоедало листать альбомы с семейными фотографиями, потертые бархатные альбомы, с которых смотрели на нее потускневшие лица, возможно, уже давно умерших людей. Зачем-то же приходили они на эту землю, ведь не только затем, чтобы оставить потомству пару тарелок кузнецовского завода, форму носа и какую-нибудь не всегда лучшую, а может, наоборот, какую-нибудь паршивенькую черту характера, ведь что-то надумали они за свои долгие годы, пережили свои озарения... И Маша все листала эти альбомы, все искала что-то под недоуменные взгляды хозяев. Конечно, то, что потом выходило в номере, было бледным слепком с живой жизни, слепком поверхностным и прямолинейным, хоть и смягченным красотами слога, и Маша прекрасно об этом знала, но со временем и это перестало ее смущать. Она же не Пигалева, чтобы глупейшим образом сражаться с заведомо непобедимым врагом. И она не скупилась на эти красоты, на все эти хлесткие фразы, под которыми таилась действительная правда этих людей, чьи деды пережили революцию и репрессии и выжили, чьи родители пережили войну, оккупацию, блокаду, плен, человеческое благородство и человеческую подлость и предательство, да чего только не пережили, но остались целы и произвели потомство... И их потомство все продолжается и продолжается, под единственно верным лозунгом — жизнь превыше всего.

Да, жизнь превыше всего. Пусть от прошлого остаются лишь пару тарелок кузнецовского завода, форма носа и даже какая-нибудь паршивенькая черта характера. Но главное, что всегда остается от прошлого, — это инстинкт выживания. Жизнь превыше всего!

Тит отвел ей целую колонку, которую так и назвал «Жители нашего города».

Между тем время менялось. Вернее, как сказал один человек, и Маша с ним согласилась, время-то неподвижно, и только мир движется сквозь него — люди, города, страны, звезды и планеты, повинуясь некой изначаль-

ной таинственной силе, запустившей все это движение. А люди поделили это движение в непонятном для них неподвижном пространстве времени на понятные для них вехи — часы, секунды и тысячелетия.

И вот движение ускорилось. Распадались страны, союзы, организации, а на их месте появлялись новые страны, новые союзы, новые организации. Исчезали продукты, вводились карточки, менялись деньги, появлялись продукты, отменялись карточки, а обесцененные деньги, потеряв себя, превращались в бумагу. Если раньше людям хотя бы казалось, что о них заботятся, то теперь они понимали все больше и больше, как они одиноки в своем блуждании в хаосе обстоятельств, и каждый как мог искал для себя свое убежище и свой кусок хлеба. А возвышенные мелодии в их душах сменялись незатейливыми песенками — в который раз, — жизнь превыше всего.

Рубрику «Жители нашего города» Тит отменил. Но рубрика эта как бы оставалась у Маши в душе, и она по привычке всматривалась в окружающих.

Последним был очерк об одном химике.

Это был маленький, заядлый человек с сухим лицом. Они бродили по берегу водохранилища, и глядя на мутное, застоявшееся водное пространство, окутанное сереньким днем, он и заговорил, что и время такое — неподвижное. И если что и движется, то это они с Машей, а за ними и весь мир. Он засыпал Машу формулами, в которых Маша ничего не понимала, и обстоятельно и пылко рассказывал о какой-то статье, которая должна была выйти или уже вышла в каком-то зарубежном журнале. Надо двигаться, надо двигаться, — говорил он поминутно, подбадривая самого себя.

Вдруг Маша заметила, что он как бы между прочим выискивает что-то в вытоптанной траве. Маша присмотрелась — это были крошечные грибы, чем-то похожие на обыкновенные поганки. Он собирал их в носовой платок.

— Вам они зачем? — спросила Маша.

— О, — сказал он с как-то сразу посветлевшим лицом. — Из них такая подливка! К чему хотите, каше или макаронам.

Маше захотелось есть. Хорошо бы яичницу с помидорами, но ни того, ни другого в магазине, конечно, не будет. По дороге домой она купила пельмени. Переперченные и склизкие. Время было такое или просто на пути сквозь время они встретили такие обстоятельства. Материал она написала, но он почему-то уже не пошел, и все равно было ощущение какой-то неловкости, потому что написать ей хотелось именно об этих крошечных грибах, которые химик, чья статья была издана или должна была быть издана где-то за рубежом и которому в институте уже три месяца не платили зарплату, употреблял в пищу.

Несколько лет Маша с Рерихом не общалась. После того, как он вернулся с Севера, при встрече с ней он отводил глаза и нарочито надменно отворачивался, ведь именно из-за Маши, из-за того, что она так доверчиво и глупо рассказала о нем Коржанцу, и сорвалась его северная эпопея. Может, она сорвалась бы и так, сама по себе, из-за его неуживчивого характера, но так получилось, что виновата была именно Маша. Коржанец был там его врагом, и разборки у них были свои, но одним из решающих моментов было то, что на товарищеском суде, а ведь разборки их дошли до товарищеского суда, Коржанец обвинил его в безнравственной личной жизни. Конечно, и тогда Рерих мог остаться, но Таня Седова, оскорбленная, поссорилась с ним и уехала, и через какое-то время он уехал тоже.

Но Рерих был незлопамятен, а может, уже существовал как-то иначе, только однажды он сам, первый, окликнул Машу на улице. И окликнул

скорее дружелюбно. Более того, он затащил ее в ближайшее кафе и сам принес кофе.

— Тебе с сахаром?

— Конечно.

— На этот раз обойдешься. На сахар у меня денег нет.

Маша покладисто стала пить кофе без сахара.

— Вообще, все не так плохо, — сказал Рерих, усаживаясь напротив. — Мне самому ничего не надо. Я могу есть одной яйцо в день, ну два. Планов, как поправить дела, хватает, но это не сразу. Потом, я пишу роман.

— Роман? — удивилась Маша.

— Ты в меня не веришь?

— Ну почему именно роман? А не рассказ или небольшое стихотворение?

— Каждый мужчина, — сказал Рерих с непонятным ожесточением, не отреагировав на шутку, — должен родить ребенка, посадить дерево, построить дом и написать роман. Сына я родил. (У Рериха был сын от первого брака.) Деревьев насажал кучу ко всем праздникам еще в пионерах, дома строил в Солнечном и еще построю. И роман напишу. Спою у первобытного костра.

— У какого костра? — не поняла Маша.

— У первобытного. С чего началось все это словотворчество? Сидели у первобытного костра охотники и травили друг другу байки, как охотились, как другие племена тузили. Ведь всегда тузили, и люди друг друга всегда тузили. И будут тузить. Хотя бы за то, что друг на друга не похожи. Нет одинаковых. Хочется слиться во взаимном объятии, а устройство не позволяет, отторгает устройство. Там, где у одного колючка, у другого — шип. Страны те же люди. Мирное сосуществование невозможно. Уж за то одно можно уважать христианство — полюби ближнего, как самого себя. Пусть это недостижимо, но идея, идея... Идея — это немаловажно.

— С каких пор ты стал христианином?

— Ну, на христианина я, положим, не потяну. Но я всегда мог признать чужие достоинства. Ты скажешь — терпимость. Значит, не любовь, а терпимость. Не любовь, которая, по Данте, движет Солнце и светила, а терпимость... Это что-то другое. — Рерих хлебнул кофе и продолжил в запале: — Но вернемся к первобытному костру. Сидели вокруг, трепались, врали. Как без этого. Вот с этого, может, и началось все мировое словесное вранье. Параллельная жизнь. Жизнь сама по себе, а все, что про нее сочиняют, «романы» в смысле, сами по себе. Жизнь ушла, а россказни остались.

Он говорил еще долго на эту тему и все ссылался на исторический музей, который изучил от и до за несколько лет своего там пребывания, про убогость старинных украшений и про доспехи, которые могли налезть только на маленьких людей, хоть эти люди и воспевались в «романах» тех лет как исполинские сказочные гиганты.

А темнота какая была по ночам! Только факелы, коптилки, сальные свечи. Но нам это назидание, мы тоже должны остаться, как сказочные герои, а не удобрение на полях человечества...

Вот так он все говорил, говорил, а потом вдруг как-то странно глянул на Машу и выпалил:

— Я разлюбил Татьяну.

— Как? — удивилась Маша.

— Это ужасно, конечно... А с другой стороны — почему ужасно? Она не галера, я не каторжник. Ложиться в постель с женщиной из какого-то долга... Вот что ужасно!

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила Маша с раздражением. Мне совершенно не интересно!

— Ну да! — закричал Рерих и побелел. — Вам всем только это и интересно. Все мещане! Все!

Он резко вскочил и принес еще две чашки кофе.

Сказал другим тоном, не жалобным, скорее грустным:

— Проходит несколько лет, и любая женщина становится бабой. Я к бабам равнодушен. Что мне с собой делать, себя ломать?

Маша молчала.

— Ладно, — сказал Рерих примирительно. — Поправлю дела, угощу тебя кофе с сахаром. А этот, не хочешь — не пей.

Кофе с сахаром от Рериха Маша так и не дождалась, несколько лет его вообще не видела, но слухи доходили... Рерих как бы выныривал из житейского моря, а потом терялся в его пучинах опять. Он купил дом в деревне, какую-то заброшенную лачугу, и сделал из него нечто впечатляющее... Наверное, из любви к яйцам развел кур и наладил производство куриного мяса, но что-то у него с этими курами пошло не так, то ли куры передохли, то ли расходы превышали доход, но ферму эту он вроде прикрыл, напоследок разослав друзьям по парочке изможденных куриных тушек. Время было не сытое, друзья были рады и этому. Потом он куда-то уехал, одни говорили — на север, другие — на юг. Потом вернулся, одни говорили — с деньгами, другие — без гроша за душой. Каким-то одному ему понятным способом попал в финансовые круги и даже сблизился с элитой, а потом стал строить в своей деревеньке поселок Солнечный. Название это ему совсем не подходило — деревенька располагалась в особом месте, летом там было дождливо, а зимой слякотно. Но, наверное, упрямый характер Рериха это только подстегивало.

Понятно, с Таней Седовой он уже не жил, а жил с молоденькой девочкой, почти школьницей. Маше ее показывали как-то, а потом через несколько лет она увидела их вместе. Из школьницы-тростинки его жена превратилась в статную даму, и Маша подумала, что, возможно, скоро придет конец и этой истории. И вспомнила, что Рерих ей рассказывал о своей первой любви.

Рерих влюбился в шестнадцать лет в свою одноклассницу. Чтобы ее завоевать, он готов был совершить все двенадцать подвигов — пошел в секцию бокса, подтянулся по математике, насмерть дрался со старшеклассниками и ходил по перилам моста на большой высоте. И он ее завоевал. Она тоже была не пай-девочка, какое-то время они даже вынашивали планы сбежать из дома и автостопом добраться до Крыма, где, по рассказам, были замечательные дикие пляжи. Два года продолжалась эта любовь. А в десятом классе отец-генерал увез ее к месту своего нового назначения. Провожая ее на поезд, Рерих бежал за вагоном, а она смотрела на него из окна, так прижимая лицо к стеклу, что сплющился нос. Поезд набрал ход, он стал отставать, но все бежал и бежал, а потом в какой-то слепой ярости бежал уже за поездом, по рельсам, чуть не надорвав сердце...

Что бы ни говорили о Рерихе, а ведь он был просто по-своему фанатично верен своей первой любви. Возрождая ее опять и опять в разных образах.

Это было уже забытое мифическое время (годы, десятилетия, век), полное неразберихи, хаоса и надежд, время, когда Рерих пытался наладить производство куриного мяса, и многие другие лихорадочно искали свой Клондайк, не довольствуясь, как химик Егоров, грибной подливкой к постным макаронам.

— Пузыри! — говорил о таких Тит. — Выскочат на поверхность и лопнут.

Однако лопнули не все. Кто-то прорвался. Одного Маша когда-то знала хорошо, и когда встречала потом через много лет в полном блеске его финансового могущества, очень хорошо помнила тот момент, когда все у него началось...

История колбасного короля

Было серенькое постсоветское утро. Воскресенье, поэтому муж несколько заспался, конец зимы, оттепель. И первое, что сказал «заспавшийся» муж, человек, который редко вообще-то интересовался чужими делами, сказал както задумчиво и даже заинтересованно:

— Как там баран у Панкова?

Панков был не близкого их круга, но хорошо знакомый человек. Говорили, что он купил целого барана, который целиком не влез в холодильник, и большую половину его Панков в замороженном виде держал на балконе.

— Что он со своим бараном делать-то будет?

— Съест.

— Не съест.

— А семья?

— И семья не съест.

— Друзьям подарит.

— Панков?

— Тогда продаст.

— Друзьям?

Маша представила себе Панкова — высокого, длинного, в отглаженном сером костюме, с постно-улыбчивым выражением лица (он был председателем профкома) продающего мясо на базаре... И засмеялась.

— Ты чему смеешься?

— А так, — отмахнулась Маша. — Нам-то что!

Но всем почему-то было «что», и барана Панкова обсуждали.

Первым, чем встретила Машу подруга Арефьева, к которой она забежала по-соседски выпить кофе, было:

— У Панкова-то баран на балконе задумывается...

— Нам-то что!

— Не скажи, я баранину люблю...

Если для Маши Панков был человеком дальнего круга, то для Арефьевой, как оказалось, более близкого. Она хорошо знала его жену. В присутствии Маши Арефьева, наверное, почувствовала уверенность в себе и тут же набрала телефон. Она весело болтала с Катей, женой Панкова, о том о сем, а потом осторожно как-то подползла непосредственно к барану. Пообсуждали блюда из баранины. Наконец Арефьева выдавила из себя собственно цель этого звонка:

— Может, немного продашь?

Последовал неуверенный ответ, который слышала даже Маша:

— Немного могу...

— А могла бы и подарить! — сказала Арефьева в сердцах, повесив трубку. — Сколько они у меня просиживали в прошлом году, когда под Панковым кресло тряслось, и ничего. Я с ними не считалась.

Посидели молча. Но от мысли о баранине Арефьева, видимо, не могла избавиться, да и не хотела, так как была человеком упрямым и своевольным, что запало в голову — вперед! Она вытащила из чулана большую клеенчатую сумку и достала кошелек:

— Ладно, — сказала смиренно. — Все равно это будет дешевле, чем на рынке.

Панковы жили недалеко, но улицы развезло, и у Маши опять стали протекать ее зимние замшевые сапоги.

— Ладно, не разувайтесь, вы же только на кухню... — сказала жена Панкова, высокая худощавая женщина в застиранном халате и растрепанными по поводу воскресенья волосами, чуть испорченными химией.

На кухонном столе громоздились куски мяса в оберточной бумаге.

— Сколько? — выдавила из себя Арефьева все-таки с некоторой неловкостью.

— Костя! — громко позвала Катя Панкова. — За сколько отдавать?

На пороге показался Панков в деловом своем пиджаке, наброшенном на бумазейную рубашку, и домашних мятых брюках, но на кухню не вошел, а как бы только мелькнул, только показался:

— Привет, девочки! Четыре семьдесят, наверно...

— Костя! — опять громко позвала Катя Панкова. — А на рынке сколько?

— На рынке уже пять, — откуда-то из соседней комнаты отозвался Панков.

— Так ведь... — растерялась Арефьева, — оно лежало уже...

— Оттепель-то пока одна ночь, даже не разморозилось.

— Когда вы покупали, оно дешевле было, — все еще сопротивлялась Арефьева.

Лицо у Кати Панковой было глухим и непроницаемым.

— Так Костя сказал.

Короче, взяли по кусочку. В большой клеенчатой сумке они перестукивались довольно сиротливо.

На лестнице, а потом уже выходя из подъезда, они встретили общих знакомых.

— За барашком топают, — заметила Арефьева и добавила скорее грустно: — Сколько они у меня отбивных-то сожрали, они мне три кексика, а я им — отбивные...

И хоть в свое время этого барана Панков купил не намеренно, а просто — по случаю, и оттепель эта ударила тоже неожиданно, но история эта явилась для него, возможно, как некое указание, знак свыше, что-то изменилось в его подсушенной профсоюзной деятельностью душе (впрочем, не всегда и там он был чист на руку), что-то щелкнуло в мозгах, вырываясь на свободу, только не прошло и семи лет, как стал он настоящим колбасным королем.

Первый брак Маши Александровой был гостевой. Она встретила этого своего первого мужа в недальней командировке, для него она была дальней, в гостинице стандартного районного типа, в зеленом городке на большой реке. Они сразу понравились друг другу, и все понеслось очень быстро.

От дверей номера несло туалетом, от умывальника — застоявшейся водой и ржавчиной, от шкафов — рано состарившимся, влажным деревом, недостиранные простыни пахли хлоркой, кровать дико скрипела, по утрам прямо под окном, очень рано, какой-то мужчина громко разговаривал и матерился. Но прекрасна была река, несшаяся наперекор всему откуда-то и куда-то, и деревья над рекой, с пышными зелеными шапками, и высокое небо надо всем этим... Огромный мир, застывший в полдневной торжественности солнца.

Они стали встречаться. Он приезжал к ней или она к нему, поездом или самолетом, как получалось. Он не хотел уходить из своего института, и у нее не было особой охоты бросать «Вечернюю газету», да и вообще менять место

жительства. Когда родилась дочь, чтобы закрепить и ее, и их отношения, они расписались, будто бросили якорь, крепивший их к твердому, устойчивому дну. Но это не помогло. Встречи были все реже, пока очарование «начала» не исчезло, не стерлось, не захирело и обветшало, покрывшись налетом обыденности и скуки. А ради этого стоит ли тратить деньги на билет? Так подумала Маша в один прекрасный день накануне Нового года и сдала билеты на самолет. Новый год она встретила со своей трехлетней дочкой. Дочка спала у елки, а Маша одна пила шампанское и не отвечала на телефонные звонки.

Второй ее муж появился довольно скоро. Он починил шкафчики в кухне, в то время державшиеся на честном слове, ввинтил в тусклую люстру новые лампочки, исправил все электроприборы, настроил телевизор, а потом поселился с ними вместе, отдавая Маше свою зарплату. Несмотря на такие земные отношения, он не был приземленным человеком, поэтому Маша скорее удивилась тем зимним утром, когда он вспомнил про «барана» Панкова. С другой стороны, время-то было аскетичное, и этот мифический баран будоражил воображение многих.

Вот такая была у Маши личная жизнь, когда в редакцию пришел Рерих. Маша давно его не видела, с тех самых пор, с того самого кофе без сахара. Он прошел мимо и поздоровался с ней одними губами. Он изменился, стал крупнее и шире в плечах, и что удивительно, при его всегдашней небрежности в одежде был хорошо одет. Не в костюм и галстук клерка — этой униформы он, видимо, до сих пор не признавал, а в хорошие джинсы и куртку с множеством замков.

Просидел он у Тита довольно долго, и Маша не заметила, как он ушел, так и не заглянув к ней в кабинет. Тотчас ее позвал Тит.

— Знаешь ты этого типа? — спросил Тит, сразу переходя к делу.

— Немного, — уклончиво ответила Маша.

— Да я его всего несколько раз встречал, болтуна этого. И смотри ты... Выведал где-то, что Коржанец мой однокурсник. Помнишь Коржанца? Я тебя к нему посылал?

— Помню, конечно... — сказала Маша и вспомнила Коржанца с перевязанной щекой.

— Теперь этот Коржанец о-го-го! Разбогател, мерзавец, на нефти... Сейчас у них здесь сходка. Нефтяные короли братаются с потребителем и прочим промежуточным людом. Для таких однокурсники, что пыль прошлых веков. Но пригласительный на банкет мне прислал. — И Тит показал Маше большой, тисненый золотом пригласительный билет. Корни «нефть» и «газ» в длинном названии присутствовали. — Я их газ использую, только когда чайник кипячу или яичницу жарю. А реклама у них есть и покруче, чем в нашей газетенке. Я уж думал не идти вовсе, что мне этот банкет — живот отращивать. А тут появляется этот шустрый пацан и меня к стенке, и бодает, и бодает. Можешь себе представить — чтоб я у Коржанца денег просил? Я для себя не попрошу, для тебя не попрошу, а тут является наглец этот...

— Зачем ему деньги?

— Поселок. Солнечный. Мне бы, говорит, его только достроить, всего-то ничего. Мини-город, по новому типу... Даже филиал «Вечерней газеты», говорит, там у вас будет. Природа, солнечные батареи на крышах — энергия солнца, так сказать, все коммуникации... Швеция отпадет, Европа обалдеет. Такого наболтал, так к стенке припер... И что удивительно, слушаешь, слушаешь... и вдруг верить начинаешь во всю эту глупость. Понимаешь, что глупость, — амбиции, тщеславие, Кампанелла выискался... У нас там,

говорит, будет даже свой исторический музей... — Тит вздохнул и потянулся за минеральной водой. — Что делать-то? Ведь я сдуру пообещал. Прямо как под гипнозом. Может, со мной съездишь?

— Зачем?

— Ты ж его тоже знала... — сказал Тит неуверенно и заскрипел стулом.

— Когда это было. Он меня и не помнит.

— Коржанец? Коржанец всегда все помнит. — Тит опять вздохнул. — Женское общество украшает. Потом, сама посуди, что я там один буду делать? Играть роль веселого бегемота?

В назначенный день Маша пришла в редакцию в выходных туфлях и бархатном пиджаке. Тит надел костюм, который носил редко и который был ему тесен. Машины в редакции к тому времени уже не было, сотрудников сокращали, поэтому первым делом Тит решил сократить машину. Решили ехать общественным транспортом и долго ждали автобус. Тит страдал и обливался потом. Думали уже поймать такси, как автобус подошел. Так что они опоздали.

У дверей ресторана при новой гостинице стояла охрана — Тит долго искал пригласительный билет и, наконец, вытащил его из кармана брюк — в смятом и неприглядном виде. Охранник с укоризной на лице расправил билет, и только тогда их пропустили.

Они опоздали, но речи в зале рядом с большим банкетным еще не закончились.

— Ну и слава Богу, — сказал, отдуваясь, Тит, толстый, в мешковатом костюме, вытирая лоб носовым платком. — Мне эти речи... Наслушался за жизнь-то...

Народу было много. Дамы в вечерних платьях, юные модницы, обычные на подобных мероприятиях, уверенные в себе мужчины в хорошо кроеных дорогих костюмах.

У выступавших был микрофон, довольно внятно доносились слова. И все про труд, братскую помощь, объединение усилий, прогресс и цивилизацию.

Тит, который не так уж и плохо чувствовал себя на многочисленных заседаниях райисполкомов и горисполкомов, среди таких же, как у него, мешковатых костюмов, которых несть числа пережил за свою жизнь, мучительно морщился и был даже немного растерян. А когда они перешли в банкетный зал и сели с краю большого роскошно сервированного банкетного стола, и официант стал предлагать напитки на выбор, неловко смахнул белоснежную хрустящую башню — салфетку, схватил пластмассовую пальмочку, украшавшую салат, и даже попытался ее разрезать.

— Это не салат, — тихо сказала ему Маша. — Это украшение.

Банкет, с нескончаемыми спичами, услужливыми официантами, бесконечными сменами блюд, был обоим в тягость. После неудавшейся попытки съесть пластмассовую пальму Тит совсем приуныл и пожевал только соленый огурчик.

— Ты хоть видела этого сволочного Коржанца? — прошептал он ей на ухо. — Я очки не взял. Самое пакостное — никого здесь не знаю.

— Не жители нашего города? — пошутила Маша.

— Возможно, и жители... Только совершенно другие, — ответил Тит серьезно. — Мы здесь — пришей кобыле хвост.

Банкет все длился, спичи не прекращались, но на свободном пространстве за столом уже собирались группами. К Титу подошел молодой человек и сказал:

— Вас просят подойти...

— Дозвонились, наконец, — Тит неловко развернулся на стуле и с трудом выбрался из-за стола, Маше сделал знак следовать за ним.

Их подвели к одной из групп. В центре ее стоял Коржанец. Он мало изменился, и Маша узнала его сразу.

— Титыч! Что ж ты тушуешься, рыба моя! — вскричал Коржанец и полез с Титом обниматься. — Все такой же толстяк! Вредно! Болезни полезут! И ее я помню, — Коржанец, покончив с объятиями, заметил Машу. — Мне за нее моя Маруся добрый год шею мылила! — Тут что-то хитрое мелькнуло в его глазах. — Так, может, исправим ошибочку? Заодно и меня выручишь. Что-то надулась моя Маруська. Пятый этаж, 510-й номер. А ведь очень обяжешь.

— Иди, — тихо шепнул Тит. — Жена — это, знаешь, жена...

Маша вышла в вестибюль и на лифте поднялась на пятый этаж. Пятьсот десятый номер был в конце коридора. Маша постучала:

— Войдите... — донесся откуда-то из глубины глуховатый, мелодичный голос.

Дверь не была заперта. Внизу было полно охраны, но жена Коржанца, видимо, никого не боялась. В большой гостиной никого не было.

— Кто там? — раздался все тот же голос.

Маша подошла к открытым дверям спальни и увидела женщину. Та сидела на широкой кровати, подогнув ногу, в вечернем платье — это была крупная, рослая женщина, обнаженные, полные, белые руки, выпирающие из платья двумя валиками, делали ее фигуру еще внушительнее. Темные, гладкие волосы были схвачены на затылке в тяжелый узел и сейчас чуть растрепались, а узел сбился набок. Лицо, хоть уже и тяжелое, с круглым подбородком и темными глазами, было красивым и сейчас. Женщина держала в руке рюмку.

— Ну? — сказала она повелительно.

— Я — Маша Александрова, — сказала Маша. — Я была у вас... Давно, правда...

— А, — сказала женщина. — Помню.

— Ваш муж сказал мне к вам зайти...

— Ну, старый лис! — женщина, не стесняясь Маши, плюхнулась на живот, болтая в воздухе ногой без туфли, шаря где-то там за кроватью, вытащила бутылку коньяка, опять ловко села и налила себе в рюмку.

— Выпьешь?

— Нет, спасибо.

— Тогда хоть шампанского. Тащи себе бокал, на столе, на подносе.

Маша вернулась в гостиную и взяла бокал.

Бутылка шампанского появилась тем же образом. Женщина, поставив рюмку с коньяком на ночной столик, опять плюхнулась на живот, болтая уже другой ногой — в туфле, и выудила бутылку шампанского.

— Давай сюда посуду. Что мне — тебя просить?

Маша покорно подставила бокал, шампанское плеснулось широко и перелилось через край.

— Давай, — сказала женщина, взявшись за свой коньяк. — За здоровье! — и стала пить маленькими, частыми глотками. — Небось, интересуешься, чего я здесь сижу? — сказала она, ставя пустую рюмку. — А вот надоели они мне! Так надоели! Знаю их всех. Слово скажут, а я уж знаю — что дальше. Волки! Костюмчики нацепили, а под ними что было, то и есть. Мой... придет, плачется: Зина, Зина, что делать? А я ему все разложу, втолкую, как

скажу, так и будет. Справимся с волками-то... По собачьи залают. Вот они теперь там, с кралями своими, а я — здесь. А ведь верчу ими как хочу. Как решу, так и будет.

«Ну расхвасталась!» — подумала Маша и тут же поймала ее лукавый взгляд.

— Думаешь, расхвасталась? Может, расхвасталась, а может, и нет. Пусто мне с ними, скучно. Был бы ребеночек, вот где счастье. Не может Коржанец иметь детей. На подлодке облучился, в армии еще. Так что, какие крали там ни бегай, он мне за сына, он мне за дочь. А я ему за мамку... Далеко не убежит. Еще выпьешь?

— Нет, спасибо.

— Деньги будешь просить? — при этом в глазах у Зины мелькнуло что-то злое.

— Мне ваши деньги не нужны, — сказала Маша сухо.

— Да ладно, не обижайся... У нас все денег просят. Нет, чтобы по-человечески, по дружбе...

— Я здесь с Титовым, однокурсником вашего мужа.

— Ну...Таких однокурсников у него теперь — пруд пруди! С тем учился, с тем женился, с тем в автобусе остановку проехал.

— Деньги не для него. Просто есть один человек... Он поселок строит... Маленький город... Солнечный... Солнечные батареи, энергия солнца... С историческим музеем и вечерней газетой...

— Что за человек? — заинтересовалась Зина как-то очень конкретно.

— Может, вы его тоже знали... Он у вас работал. Фамилия Рерих.

— Стоп, милаша. Как же, как же! Рерих! Был такой! Так не даст ему Коржанец. Ты что! Коржанец его натурально терпеть не мог. К Коржанцу подход нужен. Он, считай, уже из местных. А эти понаехали, передрались, перессорились. Так еще и с женами чужими. Что там построишь, почти на мерзлоте? Как деды строили, так и строить было надо. Без фокусов. Коржанец, не считай, что болтун вертлявый, он хитрый, и принципы у него есть. Он тогда так и написал, в статье, — какой там солнечный! — воруют, водку пьют. За то и по морде получил. Нет, ты что! Рериху этому не даст. Ни за что не даст. Даже если б выгода была. А на выгоду Коржанец ой как падок. По мне лучше на выгоду, чем на баб. — Зина налила себе еще полрюмки и залпом выпила. Вдруг настроение у нее переменилось, и она посмотрела на Машу с каким-то новым выражением на лице. — Коржанец не даст, а я, может, и дам... А что? У меня папаша был такое чудило. Как весна, глаз затуманится, молчит, молчит — и пошел бродяжить. На Лене золото мыл, в тайгу с геологами, еще куда-нибудь к черту на рога. Нам с братом в школу — из всего выросли, купить не на что. К зиме появляется папаша — в глаза не смотрит, денег не привез. Кается перед матерью, прощения просит... А весной опять... Непутевый человек был. Ради него и дам.

— Как там Цыган? — спросила Маша.

— Так убили ж Цыгана. Убили. — Зина помрачнела. — Пришлые какие-то, залетные. Подстерегли вечером... У него ж денег — полные карманы, у нас его любили, баловали. Может, нечаянно убили, может, чаянно, кто разберет. Мужички наши собрались, быстро вычислили — кто, сами разобрались, по-своему... Милиция даже дела не заводила.

— Пел хорошо, — сказала Маша.

— Пел, да... Как бог. Я в Большом была, в Большом хуже поют. И все толстые... А ведь и он непутевый был... Выпьем, что ли... Помянем... Давай, залезай на кровать, не жмись, — и Зина плеснула коньяк в ее бокал. — Выпьем,

за жизнь нашу крученую-верченую! За непутевых! Я непутевых люблю. Непутевому и дам.

Когда в номере появился Коржанец, Маша спала, прислонившись к теплому, мягкому Зининому боку. Зина мечтательно смотрела в потолок.

— Тише! — прикрикнула Зина на мужа. — Не видишь — человек спит!

Домой Машу отвезли на машине Коржанца. Тит, чертыхаясь, добирался поздним автобусом.

На другой день он обрушился на Машу с упреками.

— Как ты могла! В рабочее время!

А потом стал жаловаться, с каким трудом в темноте и без очков искал автобусную остановку. Конечно, ни о каких деньгах для Рериха и речь не шла, Коржанец даже говорить не захотел, когда всплыло это имя. Но не это удручало Тита и вызывало досаду, а сам Коржанец — его новое величие и возможности.

— Ведь был у нас в группе самый посредственный, — говорил он Маше почему-то шепотом. — Даже книг не читал. Посредственный, но шустрый. После диплома сразу на Север рванул. Здесь конкуренция, а там попросторней, еще и надбавка. И вот ты смотри! Ты смотри! Кто бы думал!

Рерих заходил к Титу в редакцию еще не один раз, отнимая много времени. Тит мучился, страдал, но отказать ему не мог, — Рерих ему нравился, хотя бы как его противоположность, как нечто недостающее, которое и было в самом Тите когда-то, в молодости, но потом угасло в житейской рутине, под бременем обстоятельств.

Тит был уже человеком системы. Он воспринимал ее органично, как данность, как погоду на улице, без малейшего раздвоения, хоть и подшучивал вместе с другими, ведь был человек неглупый, над своей древнейшей профессией.

Он прожил холостяком и немного сибаритом. Ходили слухи, что по молодости жил он с женщиной на десять лет старше себя, но, возможно, это были слухи. Любил читать военные мемуары, о какой-нибудь крымской кампании, в которой участвовал еще Лев Толстой, был осведомлен лучше иного специалиста. Возможно, это была какая-то сублимация.

Прошел месяц, и Тит с удивлением сообщил Маше, что Коржанец согласился быть спонсором Рериха.

— Жена — это жена, — сказала Маша, но Тит намека не понял и, скорее всего, решил, что это заслуга лично его.

У Рериха началось строительство. Разговоров вокруг и самых разных слухов было много. Ведь, с одной стороны, мир людей велик, а с другой, не зря говорят, что он тесен, делясь на многочисленные кланы, группы и подгруппы, в которых, зная друг о друге, не знают о других. Врачи знают о врачах, ученые об ученых, спортсмены о спортсменах, молодежь о молодежи, ну а все остальные о тех, с кем связано больше шума. Рериха знали многие, он сам умел создавать шум.

Говорили о солнечных батареях, которые где-то заказали и откуда-то должны были привезти, о новых строительных материалах и технологиях, которые должны были использоваться при строительстве поселка Солнечный, о старинных вещах, их собирали для нового исторического музея. Рерих давал интервью в газетах, выступал по радио и телевидению, везде мелькал и много «шумел».

То, что брат пошел работать к Рериху, Маша узнала случайно от его жены, когда мыла посуду после одного из семейных, родительских обедов. Он долго от нее это скрывал. Маша очень удивилась, ведь она была уве-

рена — брат не простит. Но работа, по-видимому, была для него выгодна. И это было решающим.

Сотрудничал с Рерихом и Димка Деревянкин.

Когда-то Димка Деревянкин писал ей длинные письма, приезжая в отпуск, звонил и даже пытался ухаживать. Потом надолго пропал из вида, а когда появился, это уже был какой-то другой человек. Он располнел, отрастил небольшой живот, а его гладкое, упитанное лицо стало непроницаемым, как маска, только знакомые голубые глаза еще выражали какие-то чувства. Говорил он только про деньги.

— Когда нам с женой скучно, мы пересчитываем наши деньги.

Он никогда не вспоминал детство, но на Машу его глаза смотрели сентиментально.

Планы у Рериха были самые грандиозные, рассчитанные не на один год, и чтобы привлечь новых инвесторов и вообще для рекламы, он решил широко отмечать завершение каждого отдельного этапа, пусть и не совсем завершенного. Речь шла о первой улице поселка. Приглашено было множество людей, именитых и власть предержащих, Маша к их числу не относилась, а возможно, он просто забыл о ее существовании. Но Тита, особенно после истории с Коржанцом, Рерих считал влиятельным человеком, и тот, конечно, был приглашен. Ехать без Маши Тит наотрез отказался, ему нужна была своя группа поддержки. Как-то, меланхолично глядя в окно, он сказал:

— Иногда я думаю, я отработанный продукт... Я в этом мире уже ничего не понимаю. Другое дело, надо досмотреть это кино.

В основном гости отправлялись на специально заказанных «Икарусах», но многие ехали и на машинах, Тит сделал широкий жест и взял такси. Он сидел на переднем сидении и ворчал на шофера, который не сразу врубился, как надо ехать.

— Как вы? — спросила Маша.

— Нормально, — отозвался Тит. — Сто четвертая серия. Начало несколько затянулось...

Через улицу, на которой стояло несколько коттеджей, была перетянута красная ленточка. Когда они подъехали, автобусы уже прибыли, и у ленточки толпился народ. Попадались знакомые. Димка Деревянкин был с женой, с той самой, с которой в скучные вечера любил пересчитывать деньги, это была плосковатая, узколицая женщина с блеклыми волосами. Маше Димка только слегка кивнул и с женой не познакомил. Брат был при исполнении — серьезен и замкнут, жену его в ярком костюме Маша видела издали в компании разодетых жен. Она все искала глазами Рериха и, наконец, увидела его, он вынырнул из-за ближайшего дома и, прихрамывая, с палкой в руке, потому что накануне подвернул ногу, подбежал к группе людей, стоявших у самой ленточки, и что-то горячо с ними обсуждал.

Людей было много, Тита с Машей оттеснили, да Тит и сам не любил толкаться, речей они не слышали, но слышали звуки марша и аплодисменты и поняли — ленточку перерезали. Только потом они узнали, что произошла накладка — ленточка оборвалась с одного из концов, ее подняли, и сам Рерих держал этот конец, а некто высокопоставленный ее перерезал. Уже потом Маша видела, как Рерих кричал на брата, который, видимо, и был виноват в конфузе с ленточкой, и даже замахивался на него палкой.

Маша с Титом шли по улице позади всех и рассматривали дома. Никаких особенных новых технологий они не заметили, как не заметили солнечных батарей на крышах. Окна, за которыми еще не было жизни, были сиротски

пусты. Но на одном из домов была табличка — «Вечерняя газета», а на другом — «Исторический музей».

— Зайдем? — предложил Тит.

— Я думаю, это только вывеска.

Они подошли к двери, она была плотно пригнана, но не заперта. Тит с силой потянул за ручку, и дверь открылась. Внутри еще ничего не было сделано, лестница, ведущая на второй этаж, была без перил. Повсюду валялся мусор.

— Да, — только и хмыкнул Тит. — Да...

— Вы ожидали что-то другое?

— Да нет, — сказал Тит. — Именно это и ожидал.

За коттеджами на поле стоял гигантский полотняный шатер, в котором располагался буфет и стояли столы с угощением. Увидев это, Тит взмолился:

— Опять эта жратва! Сейчас у нас только это и делают — жрут и пьют! Великое путешествие денег из кармана в карман. Вот увидишь — все прожрут, будем голодать.

— Но ведь что-то делается, — заметила Маша. — Вон, улица...

— А! — махнул рукой Тит. — Еще неизвестно, что из этого выйдет. Пока химера одна. Знаешь, что такое химера?

Несмотря на весь свой скептицизм, поддавшись общему настроению, Тит ел и пил наравне со всеми. Было несколько смен блюд, брат, бледный и сосредоточенный, командовал официантами. Рерих так и не присел, а только подсаживался то к одному, то к другому столу.

После угощения гостей пригласили собраться за шатром, объявив, что сейчас будет фейерверк. Когда в шатре уже почти никого не было, Маша вернулась за забытой сумочкой. Вот тогда-то она и увидела, как Рерих кричал на брата и даже замахнулся на него палкой.

Шатер стоял на небольшом холме — за ним виднелись поля, полоски леса, небольшие деревеньки... А надо всем этим — полями, лесами, деревеньками, коттеджами поселка Солнечный и шатром с гостями — известными и влиятельными людьми, — простиралась вечное бездонное вечернее небо.

Рерих, еще больше хромая, бегал по краю поля и что-то кричал ракетчикам... Но фейерверк оказался довольно жалкий. Только пару последних залпов породили убедительно расцветающие звездные цветы. В этот момент Маша оказалась рядом с Рерихом и увидела на его лице улыбку счастья. Вспоминая Рериха, она вспоминала, как он носился по краю поля, хромая и размахивая палкой, и вспоминала эту улыбку. Немного детскую.

Через несколько дней к Маше забежал брат, а ведь делал он это очень редко, и рассказал, что Рериха избили. Все произошло так быстро, что никто не успел не только вмешаться, но и сообразить, что к чему. Нападавшие тотчас сели в машину и уехали. Рериху сломали два ребра, а руку он повредил сам, отбиваясь. Брат был взволнован и очень возбужден.

За время, которое Рерих провел в больнице, случились большие перемены — появилась какая-то комиссия, ревизия, проверка счетов, его отстранили, и хотя какое-то время он еще оставался при деле, переместили на несколько пунктов ниже — он оказался даже в подчинении у брата. Брат сообщил это Маше уже по телефону, и в его голосе Маша почувствовала нотки торжества.

Тит повел себя по-товарищески, хлопотал, звонил и куда-то ездил. Ситуацию он изменить не мог, но, возможно, что-то смягчил.

Строительство поселка Солнечный так ничем и не кончилось, инвестиции прекратились, и дело потихоньку заглохло. Через несколько лет в коттеджах разместился соседний совхоз.

Мишаня

Мишаня всегда знал, когда мать пьет. И хоть в таких случаях она стояла к нему спиной и что-то делала у плиты, он чувствовал это по еле уловимому размаху движений и еще по тому, что она прятала лицо. Она начинала пить с утра, когда принималась за стряпню, и потихоньку все отхлебывала и отхлебывала из бутылки, так что, когда Мишаня возвращался домой, ею было выпито уже достаточно.

Мать тоже знала, что Мишаня все понимает, ей было стыдно, всегда стыдно, но ничего поделать с собой она не могла. Это случалось с ней довольно часто, но бывали и перерывы, когда она пересиливала себя и не прикасалась к спиртному.

Обычно Мишаня ничего не говорил, проходил к себе и ложился на тахту, носом к ковру. Через какое-то время мать появлялась и виновато говорила: «Иди поешь...» Но и тогда Мишаня ничего ей не говорил, шел на кухню и ел. Мать же опять бросалась к плите и становилась к нему спиной. Мишаня знал, что ей хочется поговорить, но он с ней не заговаривал. Ел молча и обиженно.

— Я больше не буду, — могла сказать мать в конце затянувшегося молчания. — Вот увидишь.

— Хорошо, — холодно говорил Мишаня, отставлял тарелку с недоеденной стряпней и шел отдыхать.

Меньше чем через год Мишаня женился на Люде Поповой. К тому времени Димка Деревянкин уехал в военное училище, Маша ушла в свою новую жизнь, Мишане было одиноко. Да и Люда Попова после истории, случившейся с ней накануне окончания школы, о которой Мишаня ничего не знал, жила уединенно. Мишаня стал все чаще заглядывать к Люде Поповой, а с какого-то момента проводил там все свое свободное время. Мать Люды Поповой относилась к этому положительно и всячески Мишаню обхаживала, ей хотелось поскорее выдать дочь замуж. Да и сама Люда Попова тоже очень бы хотела выйти замуж, хотя бы и за Мишаню. Короче, все к этому шло, все совпало.

Они были очень разные. Мишаня был с детства хрупкий, болезненный и часто простужался, а Люда Попова была крепко сбитой, спокойной и какой-то толстокожей — она даже зубного врача не боялась, потому что не так остро, как другие, чувствовала боль. Но ведь и у нее было сердце, и этим сердцем она тянулась к Димке, который был для нее недоступен не только из-за разделяющего их расстояния. Она знала об этом, она знала, что с Димкой у нее ничего не получится, не любил ее Димка, так почему бы не выйти и за Мишаню? И она вышла за Мишаню, в сердце которого разместилась целиком и полностью, со всем своим хорошим и со всем своим плохим, и уже навсегда.

Маша Александрова была на их свадьбе. Люда Попова, в белом платье, фате, белых туфлях-лодочках, очень собой гордилась. Мать Люды Поповой тоже ей гордилась.

Свадьба была по тем временам богатая. Со стороны Люды Поповой съехалось много родственников, со стороны Мишани — только родители. Они потерялись немного в толпе новой родни и были грустны. Но Мишаня — в новом костюме и при галстуке — был счастлив. И это примиряло их с существующим порядком вещей.

Отец Мишани был в своей области известным человеком, но жили они довольно скромно. Вначале еще с ними жила бабка, последняя из многочисленных бабок их детства, их старого дома. Бабка эта была уже почти безумна.

Если ей удавалось сбежать из-под надзора матери Мишани, она брела на остановку трамвая, садилась на землю и просила милостыню. Там ее обычно и находили. А случалось, когда у отца Мишани был какой-нибудь официальный гость, она выходила из своей комнаты и, дождавшись, когда тот выйдет из кабинета, просила у него хлеба.

Та самая бабка, которая пережила голод на Украине и когда-то насильно кормила маленького Мишаню манной кашей.

Люда Попова появилась и зажила с ними со всеми, когда бабки уже не было.

Люда Попова не раздражала, не навязывалась, говорила, когда с ней заговаривали. Больше молчала. Мыла после обеда посуду. Мишаня встречал ее после работы — она училась заочно, — и они прогуливались в небольшом парке у дома. Мишаня тоже учился, но человек он был домашний и от студенческих радостей, студенческой свободы был далек. Жизнь текла размеренно.

После прогулки они ужинали, садились у телевизора и смотрели все программы подряд. Ничего другого Мишане и не хотелось — только бы сидеть у телевизора, чувствуя боком, что рядом сидит Люда Попова, источник его спокойствия и ему одному ведомого счастья.

Но если для Мишани этого было более чем достаточно, то для Люды Поповой все было иначе. Она начала изменять ему через несколько месяцев после свадьбы. То у нее были какие-то курсы, то дополнительные занятия. И очень часто теперь телевизор Мишаня смотрел один. Родители Мишани, как люди более опытные, все поняли сразу, но никогда не посмели бы сказать о своих догадках сыну. Он же не хотел ничего замечать, даже когда дошло до очевидного — Люда Попова порой уже не ночевала дома. Лишь однажды, когда она сказала, что останется у матери, Мишаня как бы что-то заподозрил. Он все сидел и сидел у телевизора и уже часов в десять вечера вдруг подхватился и поехал за ней.

Мать Люды Поповой уже была в халате, наброшенном на ночную рубашку. При виде Мишани лицо ее выразило удивление, потом она поспешно сказала:

— Конечно, конечно, собиралась. Но она может и не приехать, остаться у подруги...

Мать Люды Поповой не пригласила Мишаню в дом, не напоила чаем, хоть на улице и было холодно в тот вечер, и всем своим видом показывала ему, что устала и хочет спать...

Мишаня вышел на улицу, но не ушел, а сел на лавочку напротив подъезда и стал Люду Попову ждать. Вот так упрямо он сидел на холодной лавочке, хотя какое-то чувство и говорило ему, что она не придет, что ждать бесполезно. Но он все равно ждал, и ее фигура мерещилась ему в редких проходящих по двору прохожих. Одет он был легко, совсем не по погоде, и страшно замерз, но первое время был так возбужден, что не чувствовал холода. Во втором часу он пешком пошел домой, потому что троллейбусы уже не ходили.

После Мишаня свалился с острым бронхитом почти на месяц, но ни Люде Поповой, ни родителям ничего не сказал. Родители и так догадывались, а Люда Попова добросовестно ухаживала за ним и делала спиртовые компрессы. Но это не мешало ей временами все так же исчезать по вечерам и изредка оставаться ночевать у матери или подруги.

Пару раз она встретилась с Димкой Деревянкиным, который к этому времени сбежал из военного училища, как когда-то сбежал из суворовского, и вернулся домой. Она первая ему позвонила и даже завела на квартиру к под-

руге, у которой была вечерняя смена. Димка, растерянный и скучный, сидел перед журнальным столиком, на котором стояли бутылка вина, два бокала и ваза с печеньем, а она сидела напротив и смотрела на него робко и влюбленно. Димка послушно откупорил бутылку и даже выпил, а потом долго и обстоятельно рассказывал о своих планах на будущее, в котором ей не было места. Да, может, и не нужно ей было в его будущем такого уж большого места, может, ей хватило бы и маленького, совсем маленького. Но не было и его. Ничего у нее не вышло. Димка вообще стал ее избегать. С этого момента он и Мишани стал избегать — ему было почему-то неловко, хотя вины перед Мишаней у него не было никакой.

В один прекрасный день Люда Попова объявила, что ждет ребенка. Отец Мишани, который никогда за себя не просил, узнав, что у Люды Поповой будет ребенок, начал хлопотать и таки добился — дали на расширение жилплощади квартиру, и когда у Мишани родилась дочь, они уже жили отдельно.

Пока Люда Попова носила ребенка, а потом родила и после, она все была с Мишаней, они жили мирно, и он был доволен. Но прошло время, и она принялась за старое.

Малышку уже отправляли в ясли, Мишаня учился на третьем курсе. Однажды он неожиданно раньше пришел из института и застал у них гостя — довольно крепкого, разбитного паренька, разве что немного постарше, ну, так лет на пять. Ни гостя, ни Люду Попову эта встреча ничуть не смутила.

— Чай будешь? — спросил паренек, как будто был здесь хозяином. — А может, водочки?

— Да нет, спасибо, — сказал Мишаня и пошел на кухню выложить в холодильник продукты, которые купил по дороге.

Потом он заглянул в комнату — Люда Попова и ее гость о чем-то тихо беседовали. Мишаня домыл оставленную в раковине грязную посуду и пошел за дочерью. Отношений не выясняли, как будто этой встречи и не было.

Через несколько дней Люда Попова исчезла на неделю, появилась мимолетно, сказав, что должна разобраться в своих чувствах, и исчезла опять. В своих чувствах она разбиралась несколько лет. Иногда появлялась — навестить дочь.

За эти несколько лет много чего переменилось. Дочку Мишаня очень любил, хотя и слово «любовь» к этому не подходит — мало оно и узко. Мишаня любил дочку, как именно Мишаня мог любить дочку. Кто это вычислит?

— Она самый обыкновенный ребенок, — говорил о ней трезвый Мишаня.

Но когда его самый обыкновенный ребенок в течение весны перенес несколько респираторных заболеваний, он взял академический отпуск, одолжил у родителей деньги, снял дачу и пять месяцев держал ребенка на свежем воздухе, парном молоке и закаливал.

Осенью Мишаня устроился на работу и перевелся на вечернее отделение института. С дочкой на руках учиться ему было трудно, так что институт он забросил и больше туда не возвращался. Но за прошедшее лето дочка поздоровела, и это подкрепляло его уверенность в том, что он все делает правильно.

Конечно, родители Мишани, а особенно отец, переживали, что Мишаня пошел другой дорогой и остался неучем, в конце концов, если честно, вообще женился на Люде Поповой, но что они могли поделать. Мишаня был слишком слаб, чтобы идти против своей жизни и своей судьбы, а его жизнь складывалась именно так.

Другое дело, что от проблем Мишани родители Мишани были защищены своими собственными проблемами. Они сошлись на войне и были дружной

парой, у них были общие привычки и общие увлечения. Оба много курили и любили рыбалку. Спускали на воду свою знаменитую резиновую лодку и, оставив Мишане обед на плите, отправлялись, бывало, на целый день ловить рыбу на водохранилище.

Чтобы как-то скрасить скуку, наступившую на обоих после больших и малых подвигов войны, они стали играть в преферанс и пристрастились к вину. С годами картежные приятели потихоньку исчезли, каждый в свою жизнь, детей, внуков, старость, болезни, и они продолжали пить уже вдвоем, а там пошли выяснения отношений, вспышки запоздалой ревности и всевозможная бытовая дичь, до которой может дойти и человек самый незаурядный. Впрочем, все это не мешало отцу исправно выполнять свои служебные обязанности.

У Мишани сохранилась старая фотография, на которой его мать — красивая и молодая, с детской коляской, в которой, понятно, лежал маленький Мишаня, стояла на улице немецкого городка, а молодой отец стоял немного поодаль, но тоже рядом. И судя по выражению их лиц, они были счастливы и любили друг друга. Это был пик их жизни, вершина душевного благополучия.

К деньгам и жизненным благам родители Мишани были равнодушны, но за пару лет до смерти отец вдруг развил бешеную деятельность, и когда бы Мишаня ни зашел, он заставал отца за письменным столом, за работой и слышал его сухой, хриплый кашель.

Заработанные деньги отец Мишани складывал на сберегательную книжку жены, которую нашли на видном месте через день после его смерти. Думал ли он о Мишане и внучке, надрываясь на последней своей работе? Вряд ли. Но оставить боевую подругу без гроша за душой он не мог.

Отец Мишани был уже очень болен, когда в очередной раз объявилась Люда Попова и потребовала как-то решить квартирный вопрос, освободить ей квартиру или выплатить хотя бы небольшую компенсацию. Понятно, что «пока» Мишаня живет с дочерью. Но половину-то от положенных алиментов он может ей, Люде Поповой, теперь платить. И если он примет ее условия и будет выплачивать ей алименты, то «пока», «пока» все останется по-прежнему, и она не будет с ним разводиться, забирать дочь, по закону делить квартиру и так далее. Возможно, это она говорила с чужих слов, а возможно, и сама...

Мишаня был ошеломлен. И хоть отец был уже болен, очень болен, не мог с ним не поделиться. Отец вызнал адрес, по которому жила Люда Попова, вызвал такси и, не сказав никому ни слова, отправился к ней...

О чем они говорили, так и осталось между ними двумя, но Люда Попова отступила и исчезла из жизни Мишани уже надолго. Но что значит — долго? Пришло время, и она появилась опять. А потом опять исчезла. И так до тех пор, пока не исчерпала запас своих жизненных потребностей... Она возвращалась, а Мишаня ее все принимал и не отвергал. Такой круг жизни, у каждого — свой, с его неотвратимой, неотступной повторяемостью.

Мишаня вырастил дочку, внука и внучку и только тогда, глядя на уже чуть обвисшее лицо Люды Поповой, с удивлением подумал — что здесь делает эта чужая, незнакомая ему женщина?

После смерти отца Мишаня с дочкой стал жить у матери. Сцены между родителями, их нетрезвые ссоры и споры всегда действовали на Мишаню болезненно. И теперь, когда он замечал, что она пьет, и уже одна, пьет безобидно, никого не трогая и ничего не касаясь, в душе его просыпалась давняя обида, и хоть мать, чувствуя себя виноватой, уступала ему в любой мелочи,

даже когда он был неправ, он самой интонацией вроде и не упрекающих слов, даже выражением лица, хотел причинить ей боль. Но когда мать попала в реанимацию с инфарктом и его туда не пустили, он всю ночь ходил вокруг больницы и жалел о своей жестокости.

Что мы знаем о жизни другого, даже очень близкого? Гораздо меньше, чем нам кажется.

Метелка

Как-то в дверь позвонили. На пороге стояла незнакомая женщина.

— Вам кого? — спросила Маша.

— Я — Метелка, — сказала женщина и усмехнулась.

— Метелка... — растерялась Маша. — А-а... — и вспомнила долговязую девочку, волочившую огромную для нее папку с нотами.

Конечно, она была неузнаваема. Узнаваема была только по-прежнему густая копна темных волос. Метелка разделась, сунула ей пальто, а потом без церемоний разместилась за кухонным столом.

— Зови меня Нонной. Не Метелкой же ты меня будешь звать.

— Ну это, конечно... Очень приятно, Нонна, — выдавила Маша.

Пили чай. Вначале разговор шел туго, но потом Нонна-Метелка разговорилась, и ее уже было не остановить.

— Ты пианистка? — спросила Маша.

— Ты что! Я музыкальную школу еле закончила. Музыку с тех пор терпеть не могу. Это все родители. Но детство они мне здорово попортили.

Она просидела до позднего вечера. Чтобы не мешать домашним пользоваться кухней, Маша перешла с ней в гостиную. В доме все уже разошлись спать, а Нонна-Метелка все сидела и сидела, все говорила и говорила, все глубже погружая Машу в свой мир, свою реальность, как будто брала ее в плен. Маша устала, и возможно, эта встреча не имела бы продолжения, если бы, вызвав такси и прощаясь в прихожей, Нонна-Метелка не сказала:

— Не могу сказать — до встречи, я не знаю, что со мной будет завтра. Может, я умру...

— Это каждый может сказать, — сказала измученная Маша, еле скрывая раздражение.

— Нет, не каждый.

И в течение нескольких минут, в ожидании такси Нонна-Метелка выпалила ей все — про тяжелейшую операцию на сердце, как упала на улице, как долго выходила из комы и заново училась говорить. В сердце же ей вставили механизм, не очень качественный, отечественного производства, и Нонна-Метелка боялась, что в какой-то момент этот механизм откажет. Маша стояла к ней близко и слышала, как с тихим хрипом стучит что-то в ее груди...

— Ну что ты, — сказала Маша. — Конечно, встретимся. Обязательно приходи.

И Нонна-Метелка пришла уже через несколько дней.

Она была некрасивой. Эта мысль первой пришла Маше в голову, когда она увидела ее на пороге своей квартиры, — «некрасивая женщина». Довольно высокая и не из мелких, сутулая. А лицо ее, казалось, состояло из треугольников, которые, вместо того чтобы собраться вместе, даже немного разбегались.

Но это было только первое впечатление. Потом оно прошло и уже не возвращалось.

Она была женщина-львица.

У нее были изумительно красивые, точеные кисти рук и ступни. А глаза, когда она говорила, наливались каким-то темным, сверкающим веществом. Она всегда дружила с тем, с кем хотела, вот и теперь, властно обрушив на Машу «свой» мир, «свою» реальность. Только со временем Маша поняла причину ее активности, все было очень просто — ее дочь училась на журфаке.

Душу Нонны-Метелки раздирали страсти и желания. Она любила деньги, золото, достаток, влиятельных, богатых мужчин и намекала на таких вот состоятельных любовников. Она могла часами рассказывать о себе, все запутывая и запутывая следы, как та лисица из восточной сказки. Что во всем этом ложь, а что, правда, догадаться было сложно. Жила она в фантастическом мире, полном интриг, происков, каких-то слов, чьих-то взглядов, вздохов, касаний, признаний... «Если бы обо мне узнали правду, я бы умерла», — проговорилась она однажды.

Она была как многослойный пирог, где под одним слоем скрывался другой, а под тем — третий.

На четверть она была китаянкой, три оставшиеся четверти заполнила кровь терпеливого, тихого народа, приправленная галлами и германцами, в разное время проходившими через эту землю.

Если бы не жалость, не глухой, еле слышный скрежет в ее груди, Маша бы не выдержала такого натиска. Но вот именно этот не очень качественный, отечественного производства механизм в сердце Нонны-Метелки, в какой-то момент спасший ей жизнь, и стал причиной ее трагедии и ее смерти.

Нонна-Метелка была некрасивым ребенком. Мать больше любила сестру — красивую кудрявую девочку, которая умерла рано. Кукол было немного, любимая — одна, она скрашивала ее одиночество. Когда отец понял, что пианистки из нее не выйдет, и он к ней охладел, только однажды сказал: «Ты — некрасивая, ты можешь не выйти замуж, поэтому учись, полагайся на себя». Было ей тогда тринадцать лет. Отец хотел одного, но как всегда, получилось по-другому. Это великое заблуждение, что родители знают своих детей. И пусть они внешне похожи и у них одинаковые носы или уши, даже черты характера, но душа, данная на хранение, может быть совсем иной, им неведомой. Так и здесь. Он не понимал свою дочь. Вместо того чтобы налечь на уроки, она стала встречаться со старшеклассниками. Она вертела ими, рослыми красавцами, как хотела, а один из них даже покушался на самоубийство. Но она была способным человеком и в институт поступила легко, а потом даже сделала какую-то карьеру.

Замуж она вышла рано, за парня, которому была нужна столичная прописка. Вначале он ее не очень-то и любил, только посмеивался, но потом попал под каблук. Она и им, простой душой, вертела как хотела и ему изменяла — отчасти по привычке, отчасти из какого-то ненасытного, неутолимого самоутверждения и жажды любви. К тому времени, когда она пришла к Маше Александровой, он уже умер от алкогольной передозировки.

Дочь Нонна-Метелка любила страстной, почти животной любовью и в бессонные ночи могла лежать и часами о ней думать. Когда она слышала ее шаги в соседней комнате, то могла замереть от острого приступа счастья. Но была она с дочерью строга и неласкова. Это из-за нее, из-за дочери, она пришла к Маше Александровой — «Вечерняя газета» неплохое место для молодой женщины. На всякий случай Нонна-Метелка планировала даже это.

Страну, в которой родилась и прожила жизнь, Нонна-Метелка ненавидела. Родителей презирала. И как результат их жизни и вообще жизни в этой стране, как символ всего, скрежетал некачественный механизм в ее сердце, вызывая слепую ярость. Даже любовь к дочери отступила на второй план. «Жить! Жить!» — взывало больное сердце.

Вот так же и с не меньшей страстью в полнолуние, лежа в своей ставшей уже короткой для нее постели, тринадцатилетняя Нонна-Метелка прижимала к груди единственную куклу и думала: «Я это я. У меня одна жизнь. Пусть я некрасивая, но я буду жить как хочу!» И после этого стала загадочно поглядывать на старшеклассников и писать им записки...

Когда-то одним из ее любовников был инженер из Португалии. Теперь он жил в Лиссабоне. Она разыскала его адрес и стала писать длинные письма. Скоро он перестал ей отвечать. Тогда она подумала о своей дочери... Дочь — не красавица, была по-своему привлекательна. Она стала ее одевать и отправлять в туристические поездки. Одеваться дочь не любила и всем видам одежды предпочитала растянутые свитера и потертые джинсы. Но в поездки отправлялась охотно.

Так, в одной из поездок дочь познакомилась с парнем из Австралии. Одной ей ведомыми путями, расспросами, подглядыванием в электронную почту, Нонна-Метелка выяснила, что родители у парня очень состоятельны, и тогда вступила в открытый бой уже за свою собственную жизнь. Дочь сопротивлялась несколько месяцев, но мать победила, и наконец, австралиец приехал. Чуть ли не на другой день она привела его к Маше Александровой. Изнурив себя в этой одинокой, не видимой никому войне, она нуждалась в публичности, в сцене, в зрителях, в эмоциональной подпитке...

Австралиец оказался совсем простым парнем — коренастым, с мучнистым лицом, обсыпанным веснушками. Втроем они чинно пили чай и на плохом английском говорили на светские темы — о погоде, кенгуру, страусах и прочей экзотике. Дочери Нонны-Метелки с ними не было — в этот момент она встречалась совсем с другим человеком... Но об этом Маша узнала гораздо позже, только обратила внимание, что Нонна-Метелка очень нервничает и все выходит в соседнюю комнату — звонить. Ничего не подозревающий автралиец простодушно и охотно принимал участие в беседе и при этом чуть таращил свои небольшие желтоватые глаза. Через пару часов разговор совершенно иссяк, — сколько можно говорить про страусов и кенгуру, — чай был выпит, пирожные съедены... И тут Маша заметила, что Нонна-Метелка как-то по-особому жестикулирует своими красивыми руками. «Она с ним кокетничает!» — подумала Маша. И в самом деле — лицо Нонны-Метелки раскраснелось, глаза сверкали, она преобразилась совершенно — австралиец не сводил с нее глаз. «Что-то происходит, — подумала Маша. — У нее истерика...»

В это же самое время два рослых амбала били парня дочери Нонны-Метелки на глазах у дочери. Делали они это аккуратно, но унизительно.

Австралиец прожил в гостях неделю, дочь Нонны-Метелки не встретилась с ним ни разу, и каждый день Нонна-Метелка приводила его к Маше. Они пили чай, говорили о кенгуру, и опять она исполняла перед ним этот странный танец рук и глаз, и он смотрел на нее как завороженный.

Через неделю он уехал, а Нонна-Метелка, забрав у дочери всю одежду, выгнала ее из дома в одном свитере и старых джинсах. Старикам-родителям она запретила принимать внучку и даже просто ее подкармливать. Это продолжалось год. За этот год она обновила мебель, съездила на курорт и купила себе пару дорогих вещей, которые никак на ней не смо-

трелись — она похудела на десять килограммов. У Маши Александровой Нонна-Метелка больше не появлялась. Потребность в ней у нее отпала. Только потом Маша узнала, что мать с дочерью помирились и даже уже появился внук, но вскоре у дочери обнаружилась наследственная болезнь сердца, и она умерла, не дожив до тридцати лет, а через год умерла и сама Нонна-Метелка, унеся с собой свои неистовые страсти, борьбу с судьбой, не настояв на своем.

Новое время

Через много лет Маша встретила Зину Коржанец, уже вдову. Встретила, можно сказать, на улице. Остановилась большая черная машина, и ее окликнули. Лицо в окне машины было как бы в траурной рамке. Зина открыла дверь и предложила ей сесть. Вся в черном, она еще пополнела и постарела, но черты лица оставались красивыми.

— Я теперь всегда так, всегда в черном, — сказала Зина Коржанец и закурила. — Мужчины уходят раньше. Почему?

— Не знаю, — сказала Маша.

— Зато я знаю. Потому что они — солдаты. Мы — так, у нас чувства. А у них только цель. Тянут пружину, пока не порвется.

Зина принижала себя. Была она теперь — нефтяная королева, всесильная и властная, и об этом все знали.

Она прямо из сумки вытащила флягу:

— Будешь? Нет? А я выпью. Мой папаша непутевый пил — меры не знал. А я меру знаю. Мне теперь пять капель — и уже хорошо.

Но глаза у Зины затуманились. Выпила она больше, чем пять капель.

— Это из-за тебя. Как-то все вспомнилось. Хорошо жили, в избенке, он в газете своей, я на почте... К воскресенью пельменей налеплю... Он мне — Зина, Зена, сокровище мое, как же я твои пельмени люблю! Ест и все нахваливает — как же я твои пельмени люб-лю! — голос у нее дрогнул.

Она потушила недокуренную сигарету и тут же потянулась за новой, сказала уже совсем другим тоном:

— Денег не просишь — это уже хорошо. Не люблю, когда просят. Людям перестаешь верить. Вот дала я твоему Рериху деньги, лучше ему стало? Не надо дуракам деньги давать. Да и братец твой хорош — ничего не скажу. Да и остальные. Да и Коржанец мой, светлая ему память, не больно-то человек был. Эти волчата не прощают. Так что скатился твой Рерих с высокой горки. Дуракам и лезть нечего. Папаша мой непутевый все тужился, тужился, помер голый, каким родился.

Зина все отхлебывала из фляжки.

— Ладно, иди. Дел и у меня, и у тебя. Живи. А сколько за мной осталось — не знаю.

Зина Коржанец жила еще долго. Но насчет Рериха она была не права. Когда он скатывался с одной горки, то тут же лез на другую, и бывало, даже достигал вершины. Он предавал и его предавали, он подкупал и покупался сам, он ловчил, изворачивался, хитрил, но никогда не останавливался в этом своем упрямом движении. Он был общественным деятелем, бизнесменом, строителем и ушел не голый, каким родился, хотя к богатству никогда особенно не стремился.

Последняя встреча Маши с Рерихом произошла вот при каких обстоятельствах. Тит попросил заехать к нему и взять какую-то заметку.

— Он что, не нашел ничего лучшего, чем наша газета? Что-то не верю, — сказала Маша и вспомнила, что еще за несколько месяцев до этого видела его в одной из телевизионных программ представляющим какую-то солидную организацию.

— Не скажи, — заметил Тит. — Графоманы с большим пиететом относятся к печатному слову. В таких случаях и наша сойдет.

— Тогда пусть сам привезет или пришлет с кем-нибудь.

— Съезди. Человек просит, — сказал Тит благодушно. — Не мне же ехать, я какой-никакой, а главный редактор, мне это совсем не к лицу.

Маша отправилась к Рериху с большим раздражением, но стоило ей увидеть его, увидеть его желтоватое, отекшее лицо, расширяющееся книзу наподобие груши, увидеть, что он болен, и может быть, очень болен, в квартиру она вошла — большую и современную, о которой он когда-то только мечтал, — совсем с другим чувством, ее неприязнь к нему сменилась симпатией и сочувствием, но и это надо было скрывать.

Рерих провел ее на кухню, где что-то готовил.

— Вообще я тебе скажу, вегетарианство — классная вещь! — сказал он ей со знакомой интонацией, обернувшись от плиты. — Плоды земли. Без агрессии. Солнечная энергия. Я тут добавил кое-что от себя... — И он принялся рассказывать ей свой собственный способ приготовления овощей — ошпаривание, обжаривание, дотушивание. — По минутам! По минутам! — говорил Рерих с увлечением. — Главная задача — сохранить витамины.

Он горкой выложил ей на тарелку тушеные разноцветные овощи.

— Ешь! Чистый продукт!

Овощи были совершенно безвкусны. Рерих их ел с наслаждением.

Потом он провел ее по большой безлюдной квартире, и Маша восхищалась, как он удобно все устроил. Это было ему приятно. Одна из комнат была похожа на склад — вся забита стопками перевязанных книг.

— Это мой роман, — сказал Рерих. — На днях привезли. Еще прочтешь! — последнее он сказал даже с каким-то торжеством. — Моя песня у первобытного костра!

(Роман Рериха его последняя жена раздавала друзьям и знакомым, а все оставшееся, а оставшегося было много, свезла все тем же друзьям на дачу, сказав, что потом заберет. Но так и не забрала.)

Рерих передал ей материал для «Вечерней газеты» — несколько сложенных листков и сказал:

— А что, Машка? Все-таки и хорошее тоже было? Конечно, глупости, иллюзий хватало... Только без иллюзий... это не жизнь.

Тут как бы тень набежала на его лицо, и он резко захлопнул дверь.

Больше Маша Александрова его не видела.

Жизнь Рериха была по-своему героическая, если понимать под героизмом верность самому себе. Но не менее героической была жизнь тихого и непритязательного Мишани.

Мишаня любил жизнь. Свою собственную и в ее лице жизнь вообще.

Любил утром выпить кофе и выкурить первую сигарету, поболтать с зятем о том о сем. Любил, возвращаясь с нехитрой работы, пройтись пешком до дома, думая о том, что сейчас идет в хорошее для него место, к близким людям. Любил вечером глянуть в окно, на деревья и скромный городской пейзаж, и предположить, какая завтра будет погода. Волнения и страсти большой жизни, где шла борьба за власть, за место под солнцем, за деньги и обладание все лучшими вещами, его не очень-то волновали. Если не сказать, что не волновали вообще.

Он любил готовить, заниматься хозяйством, умел вязать, и бывало, даже вышивал. Боль, которую причинила ему Люда Попова, со временем притупилась, и он воспринимал ее теперь как нечто чужое, но неизбежное — как приходящую мать своей дочери. Как гостью.

Однажды Маша спросила, почему он не женится. Этот вопрос его возмутил. «Зачем? — сказал Мишаня. — У меня две любимые женщины (имея в виду дочь и внучку). Зачем мне третья?»

Он любил подолгу жить на даче, которую сам и строил — потихоньку, из года в год. Когда с внуками, когда один, погружаясь в природу, как в лоно матери. Май сменял июнь, июнь—июль, июль—август... Зацветали и отцветали все новые цветы и травы... Птицы выводили птенцов и все пели свои нескончаемые песни, трава и листья, до предела налившись зеленью, начинали желтеть, холодело небо, все ярче и обильнее проступали звезды.

Одиночество его не тяготило. Единственно грустные моменты бывали вечерами, когда он думал о том, что длинный летний день так быстро прошел, укоротив лето. Ему казалось, что у него что-то отнимают. Ведь Мишаня сливался с каждым днем, а потом его терял. Мишаня был этим миром, а этот мир был Мишаней.

И когда он заболел, он стал сражаться и за свою собственную жизнь, и как бы за жизнь вообще. Он прошел, что должно пройти в таких случаях — операцию и тяжелые лекарства, борясь за каждый день, как за каждый день своего мира. И чтобы дать ему этот день, дочь была готова на все и уже продавала тихонько какие-то свои вещи.

Однажды к ним пришел Димка Деревянкин. Большой и грузный, он с трудом поместился на кухне, где порой размещалась вся Мишанина немалая семья.

Димка был богатым человеком, особенно в сравнении с Мишаней, но умел это скрывать. Маленькая квартирка Мишани невольно усиливала чувство превосходства, которое он испытывал к Мишане чуть ли не с детства. То простейшее чувство превосходства, которое испытывает более сильный организм по отношению к более слабому.

В кухню, где они сидели, то и дело заходила дочь, проявляя к Мишане заботу и внимание, и даже как-то зашла внучка и подложила диванную подушку ему за спину — это смущало Димку Деревянкина до раздражения. У него не очень-то сложилось с детьми. И чувство превосходства над Мишаней и невольного самоутверждения, которое он тщательно скрывал, вдруг дало трещину и наткнулось на противоречие, да, раздражающее противоречие. В семье у Димки все было не так, все было иначе, все жили врозь. И вот, полный самых противоречивых чувств и запутавшись в них, Димка выпил бутылку, которую принес, почти один, и стал вдруг безудержно, по-детски хвастать своими квартирами, машинами, поездками, и даже детьми, хотя ни одному из них и в голову бы не пришло — подложить ему под спину подушку, когда он болел.

Мишаня слушал молча, молча слушала и дочь, стоя на пороге кухни.

Димка Деревянкин вынул деньги, немало, и дал Мишане, и Мишаня взял — деньги им были очень нужны.

Но уже прощаясь в тесном коридорчике, Димка совсем уже не сдержался и таки выговорил то, что кипело в нем весь вечер, — что-де Мишаня сам виноват, что такие, как он, сами виноваты — надо работать, а не лениться. А те, кто ленится, — так и будут жить в крохотных неудобных квартирках, и ничего хорошего в их такой жизни он, Димка, не видит. Он был сильно под хмельком и даже пошатывался.

Тогда дочь Мишани вернулась на кухню, где лежали подаренные им деньги, и сунула в карман Димкиного пальто:

— Спасибо. Нам хватает.

Димка был пьян, но соображал все довольно четко. Ему было неприятно, но ничего исправить он уже не мог. Мишаня гордился дочерью. Был он очень бледен.

— Не узнаешь? Я же Люда, Люда Попова...

Тяжелое лицо потекло вниз... Усталый взгляд, глухой голос, тихий укор.

— Я же Люда... Люда Попова... Я овдовела...

«Боже! — подумала Маша. — Ведь она действительно считает себя его вдовой. Каждый пишет свою историю жизни, свой миф, и непонятно, где правда, а где ложь. И рассказывает ее другим, как первобытные охотники у костра».

Маша Александрова выдала замуж дочь и продолжала жить в трезвом и жестком мире, в котором жили уже все. В мире без иллюзий.

Но иногда на нее накатывало необычное чувство, лица людей, которых она когда-либо знала, чередой проходили перед ее глазами, людей — «жителей нашего города», и какой-то голос шептал: нет, все не случайно, все не напрасно, все так, как должно быть. Каждый приходит в свое в р е м я и в свое п р о с т р а н с т в о, приходит разгадывать их и свою тайну и, не разгадав ее здесь, продолжает разгадывать ее...

Души их ушли в КОСМОС, в бессмертную вечность, непостижимую для человеческого ума, но они не растворятся, не исчезнут, не обезличатся там, и когда-нибудь КОСМОС откликнется... их голосами.





ВАСИЛЬ ЗУЁНОК

Здесь, где вечность в задумчивом свете

Ржаная память

А рожь — я думал — за горою,
За темным лесом, за зимой,
Однако вот она, со мною,
Хоть колоски погладь рукой.

Букет сияет васильками,—
Пусть ниву снегом замело,
Идти зовут колосья сами
Тропинкой зрелой за село.

Плывет, волнуясь, над полями
Родная рожь и в снегопад.
И зерна детскими очами
Мне в очи солнечно глядят.

Пускай метелью ветер веет,
Но хлебный дух в себе таит, —
Ничто той песни не заменит,
Что перепелкою звенит.

В одном признаюсь: здесь серпами
Не жнут уже, — не в этом суть,
Здесь лет моих ушедших память,
Моя, ржаная, — и мой путь.

* * *

Деревня два холма своих
Важнейшими считает:
Погостом стал один из них,
И маяком — второй сияет.

Друг другу вровень здесь они:
Один — дорога света,
Другой — свидетель старины,
Загадка без ответа.

Как вопрошатели, холмы, —
От них вокруг тревожно:
Свет жизни рядом с бездной тьмы,
Разъять их невозможно.

Два возвышения... Ты с них
Увидишь даль такую...
Не пропусти в какой-то миг
Во ржи тропу родную.

Она выводит, как судьба
Или как жизнь, — на гребень.
Земля оттуда для тебя
Сама впадает в небо.

Чтоб видел суть своих дорог,
Несбыточных желаний:
Ее донес, ее сберег
И колос этот ранний.

Стоишь у поля на виду,
Погост крестами мечен, —
Иль не пускают, иль идут
С объятьями навстречу?..

* * *

От Якимовки до Ямайки,
Если б только не океан,
По асфальту б доехал. Однако
Здесь, как в песне той, —
«пыль да туман...».

«Эх, дороги...» — вновь песня вздыхает, —
Дали дальние те далеки...
Век мачулинский кто раскачает,
Чтоб гудели у нас большаки?

Но покуда все мимо и мимо,—
Перспективная тишина...
Только гуси свой путь, как до Рима,
Тянут к Наче из этого дня.

От Мачулища — до Узнацка,
До Якимовки и Щавров, —
По грязище осенней плескайся,
Чтобы ров одолеть за рвом.

То сугробы штурмуй зимою,
Попадая лишь в заячий след,
То опять окрыленно весною
Торопись в неоглядный свет...

Только помни одно: возвращайся, —
Сам же знаешь: здесь летом — рай.
На тропинках с полями встречайся.
Все дороги — в родительский край...

Покочуй, поброди на свободе,
Где эпоха «под ноль» стрижет...
А Мачулище — остров в болоте —
Может, все-таки Бог бережет?..

* * *

Я не Пушкин, а ты не Толстой,—
Параллели бессмысленны эти.
На обочине скромно постой, —
Здесь, где вечность в задумчивом свете.

Вроде так оно все и не так...
Помолчим — и снова в дорогу.
Вроде так оно все, но никак
Не приблизиться все же к итогу.

Человек только тем человек,
Только тем на земле и велик он,
Что идет к своей цели весь век —
День за днем отдает, миг за мигом.

Что и сущность свою он искал
За далекой и близкой верстою —
Нынче, завтра, в грядущих веках,
Остальное же все — пустое.

Перевод с белорусского Изяслава КОТЛЯРОВА.

* * *

Натянутой струной весна звенит,
Под небом только ты и только я,
А над рекою сонной меж ракит
Тревожно бьется песня соловья.

Поверие бытует меж людьми,
Что соловей — надежды верный друг,
Но песня соловья ведь о любви,
А счастье только то, что есть вокруг.

Постиг душою тайну песни той, —
Теперь я все на свете, все смогу:
И сохраню любовь и образ твой,
И песню от забвенья сберегу.

Перевод с белорусского Галины СТРЕЛЬЦОВОЙ.

По мотивам Василя Зуёнка

От дум привычных голова болит, —
Бессонница замучила меня,
Уснуть спокойно память не велит,
И нет покоя даже среди дня.

Чтоб в корне наваждение пресечь,
Избавиться от лиха навсегда,
Огнем решил я эти мысли сжечь,
Поплатятся за все они тогда!

И вот уже вовсю пылает дом,
И пламя достигает чердака,
А мысли от пожара — нагишом,
Бегут за мной, хватают за рукав.

— Стой, поджигатель, стой! Куда бежишь?
Напрасно затеваешь этот фарс.
Кого ты за вину свою коришь?
Несчастье ведь в тебе, совсем не в нас.

Воспоминание преследует одно,
Что невозможно до сих пор понять:
Так много мне судьбой было дано,
И как я мог все это потерять.

Дремотный ветер туго натянул
Батистовую блузку на груди,
Затем по темным локонам порхнул
И дуновеньем губы остудил.

Твое «люблю» пронес через года,
И в небо, как в глаза твои, гляжу.
За то, что не исполнилось тогда,
Ответ я перед памятью держу.

Галина СТРЕЛЬЦОВА





ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

За стеклом

Из записок переводчика

Признание в любви

Прекрасное название, воскликну я не без гордости в голосе. В частности, и потому, что постоянно испытываю немалые проблемы по части придумывания хороших заглавий для своих опусов. И очень уместное, кстати! Разговор-то ведь пойдет о профессии. Как-никак, а уже без малого полвека я тружусь переводчиком, и представьте, еще ни разу в жизни не пожалела о том, что избрала для себя такую скучную, на первый взгляд, работу: просто сидеть за письменным столом и переводить чужие книжки. Причем не только толстенные тома любовных романов или детективов, не только рассказы и повести не известных у нас доселе авторов (а таковых еще очень много!), но и обширные научные монографии, рекламные проспекты, статьи, описания изобретений, тезисы докладов, рефераты и дайджесты, тексты контрактов и прочих торговых соглашений, учредительские документы и описания всяких разных ноу-хау. Словом, переводить все, что подлежит переводу.

Итак, велик соблазн разразиться очередным восторженно-сентиментальным славословием, присовокупив к хвалам по поводу избранной профессиональной стези всякие умные мысли, высказанные всякими умными людьми по поводу переводческой деятельности. Впрочем, скромность, скромность и еще раз скромность. Говорил же в свое время Николай Васильевич Гоголь, что переводчик должен быть как стекло, такое прозрачное, что его не видно. А потому сразу скажу: моя первая история отнюдь не о радостях переводческого бытия (включая и его суровые будни, разумеется).

Нет, речь пойдет всего лишь об одном эпизоде из этого бытия, но эпизоде весьма символичном и, если хотите, чрезвычайно назидательном.

Ибо «Признание в любви» — это просто название одного из многих романов, переведенных (а на моем счету, признаюсь без ложной скромности, более сотни переведенных книг и тысячи статей и прочих опусов) в уже далекие по нынешним временам 90-е годы прошлого века. Впрочем, на самом деле роман английской писательницы Маргарет Хилтон назывался далеко не столь эмоционально. Напротив, на языке оригинала название было весьма расхожим и не обещало никаких избыточных чувствований. На обложке значилось просто и коротко: «Замужество Миранды».

А вот и сама история злоключений прекрасной Миранды в моей переводческой интерпретации, *assimpleaslife,* как говорят в таких случаях англичане, то есть безо всяких там прикрас и привираний. Но для начала придется отмотать время назад и погрузиться с головой в то, про что классик написал некогда возвышенно красивые строки. *«Найдем отраду, милый друг, в туманном сне воспоминаний…»*

В этом *«туманном сне воспоминаний»* на первом месте значится весьма прозаичная работа, не имеющая никакого отношения к искусству. Ибо почти всю свою сознательную жизнь я трудилась переводчиком научно-технической литературы и ни сном ни духом не ведала и не гадала, что в весьма зрелом возрасте придется менять проторенную и наезженную годами колею и начинать заниматься новым для себя делом, а именно: художественным переводом. Все меня в изначально избранной специализации устраивало: и сама работа, и заработки, и интеллектуальная среда научно-технической интеллигенции, в коей я тогда вращалась, и частые командировки в тогдашние столицы государства — Москву и Ленинград, и плодотворное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой БССР. Словом, все-все-все! Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Нежданно-негаданно на наши головы свалилась горбачевская «перестройка», завершившаяся апокалипсическим сломом не только самого государства, но и судеб большинства граждан, в нем на тот момент проживавших.

Так и хочется к месту процитировать строки еще одного поэта, на сей раз уже нашего современника, увы! — сравнительно недавно ушедшего из жизни ироничного Дмитрия Пригова:

...Чтобы лететь, лететь к последней цели
И только там опомниться вдали:
Куда ж мы это к черту залетели?
Какие ж это к черту журавли?!

Да уж! Залететь-то залетели, все, скопом! А вот выбираться пришлось уже каждому поодиночке. Вот и я в мгновение ока из высококвалифицированного и высокооплачиваемого специалиста, переводчика I категории, как значилась на тот момент моя должность в трудовой книжке, превратилась в человека, именуемого красивым, но малопонятным еще словом: *фрилансер*. Звучало-то слово красиво, но на практике оно означало самое заурядное литературное рабство, ибо я начала, в прямом смысле этого слова, побираться по всяким частным издательствам, кои в те годы расплодились как грибы после дождя, и предлагать им свои скромные переводческие услуги, с детской радостью соглашаясь на любые (повторяю, на любые!) условия. Лишь бы заплатили! Надо же на что-то жить. Работодатели все как один были важны и немногословны, нехотя роняли слова одобрения или отказа, коротко озвучивали свой вердикт и все как один не особо торопились платить за сделанную работу. Ибо в те годы в нашем языке появилось не только множество красивых иностранных слов, но и огромное количество блатных словечек, предельно ясно характеризующих мрачную картину тогдашнего существования. Например, «кидалово». Думаю, нет нужды пояснять, что это такое.

Но все же о Миранде. Очень скоро я уразумела, что ходить по людям лучше всего со своим товаром. Ибо тогдашние владельцы издательств в своей массе были весьма далеки от книгоиздательской деятельности как таковой. Все они ринулись в новый для себя бизнес исключительно потому, что он в те годы приносил просто колоссальную прибыль на последней, можно сказать, волне стремительно угасающего интереса к книге «самой читающей нации в мире», как в приснопамятные времена именовали советских людей. Впрочем, угасал не только интерес, но столь же стремительно менялись и вкусовые пристрастия бывших советских людей. Мечтать о том, чтобы *«...Белинского и Гоголя с базара понесли...»*, больше не приходилось. Как и во времена Николая Алексеевича Некрасова, коему принадлежат эти многозначительные строки, народ стал тяготеть к тому, к чему всегда тянутся в периоды смуты,

разброда и шатаний. Все жаждали развлечений и страстей в духе тогдашних сериальных хитов типа «Рабыни Изауры» и богатых, которые тоже плачут.

Да и «невидимая рука» нарождающегося рынка тоже диктовала свои условия. На прилавки книжных магазинов и лотков валом хлынул переводной продукт западных масс-медиа: бульварное чтиво, кровавый триллер и, в обязательном порядке, женский любовный роман. К счастью, здесь у меня была некоторая фора, и немалая, ибо я неплохо знала современную западную литературу, специализирующуюся в этом жанре. И прежде всего, знала и любила королеву жанра, англичанку Барбару Картланд, прославившуюся сотнями романтических и очень красивых историй о любви. Вот с ними (вернее, с уже готовыми переводами нескольких опусов Картланд) я и стала ходить по всем издательствам подряд.

Именно в самый разгар моих хождений и скитаний в поисках заработка на моем горизонте замаячила злополучная Миранда. Дело в том, что у меня есть закадычная студенческая подруга Наталья Агафоновна Сазонова. В молодые годы она вместе с мужем, подвизавшимся на дипломатическом поприще, провела несколько лет за границей, в одной из ближневосточных стран. Домой она вернулась с ворохом англоязычных книг, большинство из которых Наташа, как ни странно, покупала даже не в магазинах, а на многочисленных развалах восточных базаров, на которых, как утверждают очевидцы, можно купить все что угодно, начиная от хорошего женского романа и кончая атомной бомбой. Вот и скромная книжица Маргарет Хилтон, *'paperbacked'* (то есть, в обычной бумажной обложке), тоже была куплена во время одного из таких походов на базар за продуктами. Куплена, прочитана, потом еще раз прочитана и перечитана снова бесчисленное количество раз.

Потому что такова уж особенность женской натуры. Как бы ни была счастлива женщина в семейной жизни, ее всегда тянет почитать о превратностях чужой любви. Словом, цитируя Пушкина, все мы, представительницы слабого пола, независимо от возраста и социального статуса, жаждем обливаться слезами над вымыслом. И ведь обливаемся же! И исправно покупаем, и читаем романы про любовь.

— Знаешь что? — заявила мне Наташа безапелляционным тоном в одну из наших встреч. — Ты обязательно должна перевести «Замужество Миранды». Хотя бы ради меня! — Она уже была в курсе тех «судьбоносных» перемен, которые произошли в моей жизни после увольнения с предприятия, на котором попросту перестали платить зарплату. — Коль скоро ты теперь занимаешься переводами любовных романов, так вот тебе и карты в руки! Мне уже надоело пересказывать всем приятельницам перипетии романа. Я сама начала было переводить его. Но ты же прекрасно знаешь, что я и так кручусь как белка в колесе. Дом, работа, семья. — Наташа и в самом деле была плотно занята на преподавательском поприще, а все летние каникулы у нее уходили на зарубежные поездки с детьми по линии Чернобыля. Плюс еще семья, муж, двое взрослых сыновей. До переводов ли тут?

Ну, и как можно было отказать старинной подруге, всегда безотказно приходившей на помощь в былые годы? Никогда не забывавшей поздравить тебя ни с днем рождения, ни с каким другим праздником. А милые изящные сувениры и те же книги, которые в обязательном порядке преподносились в дар после очередной поездки в Европу? Словом, надо соглашаться. Я молча взяла протянутый мне томик, изрядно потрепанный, с выпадающими в нескольких местах страницами. И беглого взгляда было достаточно, чтобы понять: эта книга явно числится среди самых любимых книг моей подруги.

Сама же я в глубине души отнеслась к предложению Наташи весьма скептически. Мало ли что ей нравится? Про саму Маргарет Хилтон я ничего не

слышала, знать ее не знаю. Так стоит ли рисковать месяцем работы (у меня тогда была такая норма: ровно месяц на перевод очередной любовной нетленки), которую потом еще неизвестно кому сбагрить? И как в воду глядела!

Несмотря на то, что и мне роман очень понравился (такое душистое ароматное мыло на основе вечного как мир сюжета о злоключениях несчастной Золушки с обязательным хеппи-эндом в конце), проблемы с его дальнейшей публикацией возникли с самого начала. Естественно, никто в издательствах не был наслышан о такой авторессе, как Маргарет Хилтон. Это же вам не Джоанна Стил, которую в те годы бешено раскручивали на всем постсоветском пространстве. Никто не знал и переводчика никому не известной английской романистки. Подумаешь, какая-то там Красневская с какой-то там Хилтон!

Словом, напрасно я рассыпалась мелким бисером перед потенциальными работодателями, напрасно заверяла их в том, что роман восхитительный, изумительный, прелестный, замечательный, прекрасный и прочее, и прочее. Меня вежливо выслушивали, вежливо улыбались в ответ, но никто не торопился даже просто познакомиться с рукописью.

Помощь, как всегда, подоспела от друзей. Еще один мой старинный друг, на сей раз мужеского полу, выслушав мою горестную исповедь о злоключениях красавицы Миранды, вызвался помочь, заявив, что у него есть приятель, который работает в сфере информации, причем в министерстве он не на последних должностях, а у приятеля, как водится, есть жена, которая в духе времени имеет частную фирму, разумеется, издательскую.

В назначенный час я отправилась на рандеву с важным министерским чиновником. Меня встретили как родную, напоили чаем, посочувствовали невзгодам и забрали рукопись для дальнейшего ознакомления.

Чиновник оказался на редкость расторопным. Буквально на следующий день он позвонил мне и сказал, что ознакомился с рукописью. Перевод ему понравился, текст устроил. Словом, надо немедленно бежать к его жене подписывать договор на публикацию романа. И я действительно побежала вприпрыжку по указанному адресу, чтобы предстать пред ясными очами только-только нарождающегося у нас нового социального типа женщин: бизнес-леди. Красивая ухоженная брюнетка «за тридцать» окинула меня прозрачным взглядом (так смотрят на пустое место) и сказала, что она полностью полагается на те оценки, которые сделал ее муж, а потому готова заплатить мне за работу четыреста долларов.

Четыреста долларов! Сердце мое моментально растаяло в груди от такого неслыханного счастья. Да о такой куче денег я и мечтать не смела. Ведь с их помощью можно залатать столько дыр в семейном бюджете. И даже еще кое-что останется на конфеты. Итак, условия были оговорены, договор подписан, дело сделано.

Правда, царапнула и насторожила одна мелочь. На мой робкий вопрос, как мне узнать координаты редактора, с которым мы вместе будем доводить текст до толку, бизнес-леди равнодушно пожала плечами и небрежно бросила:

— Зачем нам редактор? Муж сказал, что перевод хороший и никаких правок там не нужно. Разве что название мы решили поменять. Сделать его более броским, что ли. Например, таким: «Признание в любви». Не возражаете?

Я не возражала, хотя в воздухе явственно запахло халтурой. Каюсь, я трусливо смолчала. Все же целых четыреста долларов! Это тебе не фунт изюма. Где еще я найду такой выгодный контракт? К тому же, я действительно вылизывала текст перевода изо всех сил. Старалась не разочаровать студенческую подругу.

В течение месяца книга была издана, и мне даже предложили явиться в издательство за авторскими экземплярами. Помнится, страшно не понравилась обложка. Она была откровенно безвкусной, какой-то по-деревенски аляповатой и никак не соотносящейся с сюжетными коллизиями романа. Такое впечатление, будто оформление делалось неумелой рукой художника-самоучки. Да и бумага была не просто газетной, а газетной самого низшего сорта. Надо ли говорить, что в выходных данных я не обнаружила никакой информации о тираже издания. Следовательно, издали, опять же в духе времени, не особенно стесняясь, то есть «от пуза». Не удивлюсь, если красавицу Миранду распространяли стотысячным тиражом.

И снова я смолчала, робко надеясь, что вместе с авторскими экземплярами книги мне вручат и заветные четыреста долларов. Но никаких денег мне никто не вручил. Велели перезвонить через месяц, когда поступит первая выручка от реализации. Через месяц я перезвонила, и меня заверили, что к концу месяца я уж точно получу обещанную сумму. Не получила! Потянулись томительные дни ожидания. Всякий раз в конце очередного месяца меня отсылали к началу следующего месяца, и в таких хождениях по кругу прошел год с небольшим. Пока в один прекрасный день не наступило то, что называется моментом истины. Горькая правда предстала передо мной во всей ее пугающей наготе. Меня же попросту обвели вокруг пальца, то есть *пробросили, развели, кинули, сделали*. Какие там еще есть словечки для обозначения элементарного обмана, который с такой легкостью творили в те годы люди, гордо именовавшие себя бизнесменами?

Вот когда я со всей неистовостью обманутого пролетария прочувствовала весь пафос строки из известного партийного гимна под названием «Интернационал»: *Кипит наш разум возмущенный и смертный бой вести готов.* Иными словами, во мне мгновенно вспыхнуло чувство, которое на языке политологии называется «классовой ненавистью».

Я представила себе ухоженное личико бизнес-леди, услышала ее усталый голосок, которым она нехотя роняет слова в телефонную трубку, увидела расфуфыренную финтифлюшку, сидевшую у нее на ресепшн, и поняла, что настало время сделать ответный ход.

На следующий день я позвонила финтифлюшке и велела передать хозяйке, что намереваюсь забрать причитающийся мне гонорар «Мирандами». Дескать, пусть они там подсчитают, сколько мне приходится этих нетленок на сумму в четыреста долларов. По растерянному молчанию на другом конце провода я поняла, что таких выкрутасов от меня никто не ожидал. Дескать, Бог терпел — и ты потерпишь, никуда не денешься. Но я была неумолима. Я заберу гонорар книгами, и только книгами. И сделаю это в ближайшие же дни.

В назначенный день мы с моим крестником явились на его машине, прикрутив к ней еще и прицеп, в офис означенного издательства. Само собой, хозяйки на месте не было. Но это меня уже ни капельки не обескуражило. Усевшись на диван в приемной и неспешно обмахиваясь шляпой (на улице в тот день стояла страшная жара), я посоветовала секретарше незамедлительно отыскать свою леди-босс и передать ей, что я не сдвинусь с этого места, пока не получу всю причитающуюся мне тысячу с небольшим книг из тиража «Миранды».

— Но что вы будете делать с такой кучей книг? — растерянно пролепетала девушка.

— Печку в сарае топить! — отрезала я с ходу. — Я же живу в частном доме. У меня есть сарай, а там есть погреб. Стоят всякие соленья, варенья, картошка хранится. Зимой мы раз в неделю топим печь для поддержания плюсовой температуры. Так что этого хлама мне надолго хватит на растопку.

Разумеется, леди-босс тут же нашлась, явилась в офис и лично подписала все необходимые накладные, по которым мне надлежало забрать на складе отложенную тысячу экземпляров книг. Это действительно оказалось очень много. Помнится, крестнику Мише пришлось даже сделать два рейса, чтобы забрать все. А потом мы завалили пачками с книгами почти половину сарая.

Но вот бумаги подписаны, женщина, не глядя на меня, подвинула в мою сторону накладные, я взяла их и направилась к дверям ее кабинета. Уже у самых дверей я вдруг остановилась, и мы впервые за долгие месяцы общения посмотрели друг другу прямо в глаза.

— Когда-нибудь настанет день, — сказала я, неожиданно для нее переходя на «ты» (благо, в кабинете мы были только вдвоем), — когда ты горько пожалеешь о том, что поступила со мной так, как поступила, но будет уже поздно!

Я круто развернулась и безо всяких «до свиданий» вышла вон, громко хлопнув дверью на прощание.

Все летние месяцы я раздавала книги всем кому только можно. Историю Миранды смогли прочитать все мои соседи по улице, многочисленные друзья и родственники, знакомые, знакомые друзей и друзья знакомых. Я одарила Мирандой нашего участкового и почтальоншу, работницу соцслужбы, которая носила маме пенсию, инспекторшу из Минэнерго, пришедшую снимать показания со счетчика, газовиков и пожарников, явившихся проверять состояние газового оборудования перед началом отопительного сезона. Я раздавала книги пачками направо и налево, но все равно их было очень-очень много. А потом наступила осень, зарядили противные холодные дожди, в сарае стало сыро и неуютно. Газетная бумага, на которой был напечатан весь тираж, разбухла, пожелтела, и в конце концов, книжки действительно пошли туда, куда я и говорила: в печь, на растопку.

Прошло несколько лет. Жизнь как-то устаканилась и вошла в свои берега. Народ с размахом отметил Миллениум. Обещанного конца света, которым так назойливо пугали обывателя всякие астрологи и предсказатели, не случилось, а посему всеобщее ликование достигло апогея. И вот в один из вечеров в самом начале 2000-х годов в моем доме раздался телефонный звонок и незнакомый мужской голос попросил пригласить к телефону Зинаиду Яковлевну.

— Я вас слушаю! — сухо бросила я в трубку, прикидывая, кому бы это я могла понадобиться в столь поздний час.

— Зинаида Яковлевна, вас беспокоит имярек! — представился мужчина. — Не узнаете? Вы когда-то работали вместе с моей женой, печатали у нее свой перевод женского романа.

— Да уж! Было дело! — ядовито прокомментировала я услышанное. — Чем могу быть полезной на сей раз?

— Видите ли, у меня возникла идея переиздать ваш перевод. Он тогда очень неплохо продавался, вот я и подумал… Я, знаете ли, уже отошел от госслужбы. Теперь сам руковожу издательством. Такие вот перемены в моей жизни. Так вы не будете возражать?

— А жена ваша не будет возражать? — ответила я вопросом на вопрос. — Помнится, финал наших отношений с ней был далеко не самым дружественным.

— Что такое? — страшно удивился мой собеседник.

— Ваша красавица попросту развела меня на деньги! Вот что такое.

— Как? И вам она тоже не заплатила?

В этом «тоже» вдруг послышалась такая тоска, что я невольно вздрогнула.

— Ну, не совсем «не заплатила». Я таки выцарапала у нее тысячу экземпляров книги в счет гонорара. Так что в каком-то смысле мы квиты. К тому

же, благодаря вашей жене вот уже скоро десять лет как у меня нет проблем с бумагой для растопки печи. Итак, вы занялись издательским бизнесом. А чем же занимается она?

— Разве вы не знаете? — растерянно спросил меня мужчина.

— Чего не знаю?

— Ее больше нет.

— Умерла? — растерялась в свою очередь я.

— Ее убили.

Я плюхнулась на стоявший рядом стул и уставилась невидящими глазами на телефонный аппарат.

— Алло! Алло! Вы меня слушаете?

— Слушаю! — глухо сказала я в трубку. — Примите мои соболезнования. И знаете что? Делайте с этой Мирандой что хотите. Я не возражаю против переиздания и ни на что не претендую.

Мы распрощались. Больше он мне не позвонил, а потому судьба второго издания Миранды мне не известна. Да и было ли оно вообще?

Через знакомых в издательских кругах, коими я успела обрасти за минувшие годы, я узнала подробности страшного финала красавицы бизнесменши. Оказывается, помимо печатанья книг ее фирма занималась еще и перепродажей автомобилей, которые тогда пригоняли из Европы, главным образом из Германии. По словам знающих людей, то был очень криминальный бизнес, и кровавые разборки в нем случались гораздо чаще, чем дожди в осеннюю пору.

Вот и моя героиня, видно, войдя во вкус, решила кинуть кого-то еще раз. Но деньги, которые крутились вокруг машин, были совсем иные. Это вам не каких-то там четыреста долларов! А потому и окончательное выяснение отношений с должницей проходило уже не в шляпах. Или как теперь любят изъясняться журналисты-международники, «то была встреча на высшем уровне без галстуков».

— Ну, и какое отношение имеет рассказанная тобой история к переводам? — возмутится иной въедливый читатель.

— Да никакого! — отвечу я с легкой душой.

И морали у этой истории нет никакой. Ибо давно уже замечено, что наша жизнь, как, впрочем, и вся человеческая история в целом, учит лишь одному: тому, что она ничему не учит. Разве что можно весьма даже к месту процитировать известные слова легендарного мудреца Соломона, того самого, который был когда-то третьим царем Израильским: *«Возьми все, что хочешь, но заплати за это»*. Вот ведь как все просто, оказывается!

Впрочем, один урок из той давней трагедии я все же извлекла. Больше я никогда не занимаюсь глупыми пророчествами, беседуя с людьми. Не дело простых смертных судить чужие грехи, со своими бы вовремя разобраться. Воистину — *«…Мне отмщение, и Аз воздам…»*

А все же прекрасный женский роман предложила мне моя студенческая подруга Наташа для перевода. Прекрасный роман! Вот только в реальной жизни хеппи-энда не случилось. Жаль!

Уроки перевода

В средине 90-х годов прошлого века меня пригласили на преподавательскую работу в один из частных ВУЗов Минска. Предложили читать студентам лекции по теории перевода, а заодно вести и практические занятия по переводу. Предложение показалось мне заманчивым, и я согласилась. Всегда

приятно делиться накопленным опытом с молодыми. Это — с одной стороны. А с другой…

А вот с другой, я, конечно, изрядно лукавлю, величая себя переводчиком. Ибо в моем дипломе о высшем образовании в графе «Специальность» черным по белому было написано: «Учитель английского языка». Так что официально никакого переводческого образования за плечами я не имею. Что и понятно.

Ведь в те далекие годы, когда я училась в нынешнем Лингвистическом университете, который тогда был известен как Минский педагогический институт иностранных языков (сокращенно МГПИИЯ), никаких переводчиков-девочек в нем не было и в помине. Да и мальчиков, пожалуй, тоже. Лишь в 1964 году, если мне не изменяет память, осуществили первый набор на переводческий факультет, куда брали исключительно представителей сильного пола (желательно после армии), сформировав для начала всего лишь две или три небольшие учебные группы. Сразу же оговорюсь: мальчишек готовили совсем даже не для перевода любовных женских романов. Впереди многих из них ждала военная служба, предстояла работа в горячих точках и всякие иные спецзадания, связанные с защитой государственной безопасности.

Тем не менее, вопреки всем обстоятельствам и препонам, уже к началу III курса у меня сформировалось твердое решение не связывать свою дальнейшую профессиональную деятельность с педагогикой, а заняться переводами. С какой именно стороны приступать к реализации своих планов, я представляла смутно, а потому на первых порах просто начала охапками поглощать книги на языке оригинала. Я вообще большой книгочей, а уж в юности жизнь моя в буквальном смысле этого слова протекала под знаком книги. Я была записана сразу в нескольких городских библиотеках, и в каждой из них числилась на хорошем счету, как один из самых активных и постоянных читателей. Попутно книги покупались везде где только можно: я привозила их из других городов и даже из крохотных деревенских лавок. Представьте себе, было такое чудо, как деревенские книжные магазины, которые, как правило, располагались на центральной усадьбе колхоза неподалеку от правления. Словом, источников пополнения собственного книжного собрания имелось множество. Благо, в те годы книги еще не успели превратиться в крутой дефицит.

«Напряженка», как говаривала героиня одного всеми любимого фильма, была только с книгами на иностранных языках. Вот их действительно было до обидного мало. Правда, выручал магазин «Дружба». Он в те годы находился на Ленинском проспекте, напротив магазина «Лянок». Англоязычные книги (в основном из Польши, ГДР и Болгарии) туда завозили регулярно. Беда лишь в том, что почти все они были адаптированными, то есть изрядно упрощенными с точки зрения языка, и составить свое представление по таким книгам об авторском стиле того, кто их написал, было практически невозможно. Ведь главная цель любой адаптации, как известно, — это максимально упростить язык, сохранив при этом не столько особенности стиля, сколько все перипетии сюжета.

И вот тут на помощь приходила Прибалтика. В тамошних букинистических магазинах, особенно в Таллинне (до сих пор вспоминаю прекраснейшую букинистическую лавку на улице Пик), так вот, там иностранных книг было море разливанное. Бери не хочу, на любой вкус! Но согласитесь, за каждой английской книжкой в столицу Эстонии не наездишься, даже при тогдашней дешевизне транспортных расходов.

Вот почему, став студенткой «иняза», как в просторечье именовали наш ВУЗ, я сразу же набросилась на англоязычный худлит, имеющийся в фондах институтской библиотеки.

Поначалу чтение серьезной художественной литературы на языке оригинала давалось ой как непросто! Приходилось пробираться к звездам англоязычной литературы сквозь непроходимые тернии запутанных грамматических конструкций, да и словарный запас был еще слишком скуден, а потому через слово нужно было лезть в словарь за дополнительными познаниями.

Правда, кое-какой скудный опыт по части чтения оригинальной литературы у меня имелся еще со школы. Наша англичанка, зная о том, как я люблю Байрона, позаимствовала мне, на тот момент ученице седьмого класса, на время свою книжку его избранной поэзии на английском языке, и я с превеликими трудностями, но все же самостоятельно, осилила с дюжину стихотворений и поэму «Паломничество Чайльд Гарольда» и даже собственноручно написала транскрипцию двух первых глав, чем, помнится, повергла наставницу в абсолютный шок. Но я пояснила ей, что так мне было легче представить себе звуковой ряд поэмы. Вот такими лингвистическими экзерсисами баловались школьники в начале шестидесятых прошлого века, когда услышать живой английский язык было гораздо труднее, чем в наши дни.

Но постепенно я вошла во вкус чтения книг *intheoriginal,* то есть на языке оригинала, и даже стала сопоставлять свои новые впечатления с теми, которые сложились у меня когда-то после прочтения этих же книг на русском языке. Впервые подвиг меня на такие сопоставительные подвиги, как ни странно, Чарльз Диккенс, до сего дня числящийся любимцем у самих англичан.

Да, именно после прочтения англоязычной версии романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» я впервые и всерьез задумалась о превратностях перевода художественных текстов. А все дело в том, что на русском языке роман, читанный мною еще в школьные годы, я так и не сумела осилить до конца: он показался мне умопомрачительно затянутым и на редкость занудливым. И разумеется, абсолютно не смешным. Чего это англичане так носятся с этим Диккенсом, помнится, недоумевала я, откладывая толстенную книгу в сторону. Оказывается, было из-за чего. На языке оригинала роман засверкал всеми красками, словно переводная картинка, только что бережно перенесенная на бумагу. Понимаю, каламбур не совсем уместный: переводная картинка применительно не к переводу, а к оригинальному тексту. Но что делать, если мои тогдашние ассоциации были именно такими?

Ах, какими уморительно смешными оказались знаменитые «уэллеризмы», высказывания верного помощника мистера Пиквика Сэма Уэллера, этакого английского Санчо Панса при английском же Дон Кихоте. На родине писателя большинство этих высказываний уже давно разошлись на пословицы и каламбуры, и сами англичане просто обожают мрачный юмор шуточек Уэллера. Например, таких.

«Долой меланхолию, как сказал мальчик, когда умерла его учительница».

Или: *«Вот теперь все в порядке!» — сказал король, отрубив головы всем членам парламента».*

Впрочем, на языке оригинала черный юмор этих высказываний не кажется таким уж безнадежно черным. Да и вообще… Долой меланхолию, когда речь заходит о переводах. Иначе мы рискуем довести себя до слез. А потому постараемся определиться с главным. Когда имеешь дело с переводной литературой, то, как ни верти, а надо приучать себя к мысли о том, что у «них» все излагается не совсем так, как у «нас». Словом, как пела героиня в любимом всеми фильме «Большая перемена», «мы привыкаем к несовпаденьям».

Другое дело, что далеко не всегда и не все такие «несовпадения» являются оправданными или грамотными. Но это уже совсем другая тема для

разговора под названием «искусство перевода». А до такого уровня оценок студентке-первокурснице было еще шагать и шагать не одно десятилетие.

Нельзя сказать, чтобы на занятиях мы совсем не затрагивали аспект перевода изучаемых материалов. В нашей учебной программе числился среди многих и такой предмет, к примеру, как «Домашнее чтение». Помнится, на первом курсе мы читали поначалу адаптированного «Принца и нищего», потом уже неадаптированного «Овода». На старших курсах штудировали романы невероятно популярного в те годы Арчибальда Кронина, австралийки Кьюсак, нобелевского лауреата Джона Голсуорси. Книги все были хорошие, но сама специфика предмета не предполагала обучение студентов мастерству перевода, тем более художественных произведений. Анализ текста с точки зрения его переводческих особенностей на занятиях практически отсутствовал. Главная цель домашнего чтения заключалась в том, чтобы научить студентов правильно понимать оригинал и бегло интерпретировать его, не искажая основного смысла. Всякие же нюансы, типа перевода авторских метафор или игры слов, оставались в ходе такого анализа за скобками, изначально отдаваясь педагогами как бы на откуп самим учащимся.

Видно, резон был такой: зачем будущему учителю средней школы разбираться во всех тонкостях, скажем, английских метонимий или тех же самых несовпадений в английской и русской фразеологии? Или к чему им знать все подводные камни, которыми полнятся английские предложения с инверсией и усилительными конструкциями? Все это — непозволительная роскошь, доступная лишь настоящим профессионалам от перевода. Коих в Минске в те годы и отродясь не водилось. Ведь все-все-все, и любимый всеми журнал «Иностранная литература», и все иностранные книжки, все это переводилось и издавалось исключительно в Москве и Ленинграде. Преимущественно там же обитали и все переводчики, которые занимались перелицовкой иностранной прозы и поэзии на русский язык.

А потому и я поначалу свою будущую переводческую работу никак не связывала с большой литературой. Потолок моих желаний был весьма скромен: стать переводчиком научно-технической литературы, а там уж куда кривая вывезет. Как говаривали в старину, иди, как перст указывает Божий, и что-то да будет.

Выпорхнув в положенный срок из стен ВУЗа с красным дипломом в руках, я действительно стала работать переводчиком научно-технической литературы, имея поначалу очень смутное представление и о самой научно-технической литературе, и о тех проблемах, которые сопряжены с ее переводом. А потому все свои основные уроки перевода я получила уже будучи дипломированным специалистом. И учителя у меня были самые разные, от обычных инженеров-разработчиков, для кого и предназначались мои переводы, до весьма искушенных в практике перевода специалистов-языковедов, которые натаскивали слушателей на регулярных переводческих семинарах, проводимых Всесоюзным центром переводов в Москве под эгидой тогдашней Академии наук СССР. На протяжении двух десятков лет я была постоянным участником этих семинаров. Было время чему-нибудь да научиться. И было у кого!

И вот пробил час, когда стало возможным поделиться запасами приобретенных знаний со студентами. Ну, теория, с этим еще понятно! Любая лекция есть лекция. Ее можно разнообразить и оживить всяческими примерами из собственной практики, забавными историями о чужих переводческих огрехах, на которые так охочи в своей массе профессиональные переводчики. Знамо дело! В чужом глазу-то оно всегда виднее... А вот что делать с практическими занятиями? Как и где найти ту изюминку, которая бы не только принесла пользу студентам, но и запомнилась им своей нетривиальностью?

Решение нашлось случайно. Однажды в поисках примеров на аллитерации и ассонансы я перелистывала томик со стихами своего любимого Эдгара По. И тут у меня мелькнула неожиданная мысль. А что если попробовать вместе со всей группой сделать подстрочный перевод, пожалуй, самого знаменитого стихотворения По под названием «Ворон»? Из собственного опыта я хорошо усвоила, что подстрочник — это самый лучший мастер-класс для любого переводчика, позволяющий держать в узде и собственную фантазию, и неистребимое у подавляющей массы переводчиков желание добавить что-то от себя, якобы для украшения стиля. Старая как мир мечта Эллочки-людоедки: «Сделайте мне красиво!»

К тому же, составление хорошего качественного подстрочника требует еще и безукоризненного знания русского языка. Слабое место у многих современных переводчиков. Ведь не секрет, что иные коллеги предпочитают «не заморачиваться», выражаясь молодежным сленгом, поиском единственно точного и нужного эквивалента, а бестрепетной рукой вводят в русский текст очередное заимствованное иностранное словечко. Не отсюда ли у нас все эти гаджеты, офис-менеджеры и топ-менеджеры, в придачу с шорт-листами, промоутерами и прочей напастью? Которую, конечно же, великий русский обязательно переварит в положенный срок. Как он это сделал уже с аналогичной экспансией французского языка на рубеже XVIII—XIX веков, а еще раньше с агрессией немецких и голландских слов и терминов.

Возвращаясь же к подстрочникам, повторюсь еще раз: подстрочник — это лучший тренинг для любого переводчика. А уж подстрочник поэтического произведения — это и вообще вершина переводческого мастерства. Недаром Комитет по присуждению Нобелевских премий в области литературы принимает к рассмотрению поэтические творения на самых разных языках, но только обязательно вместе с англоязычным подстрочником всех текстов. Заметьте, никаких литературных переводов! Только высококачественный подстрочник. По таким же подстрочникам трудятся и многие наши известные поэты, подвизающиеся на ниве литературного перевода.

Ибо для хорошего поэтического перевода, как известно, мало просто знать язык оригинала. Многие поэты, кстати, его и не знают. Но опираясь на достойный подстрочник, талантливые стихотворцы умеют мастерски докопаться до самых сокровенных глубин переводимого ими текста. Помните, как у Леонида Мартынова?

Когда
Того или иного
Поэта я перевожу, —
У них нередко, слово в слово,
Свои я мысли нахожу.

Итак, решено! Мы занимаемся поэтическим подстрочником. На очередном занятии я закатила перед студентами пафосную речь о роли и значении подстрочника (см. вышесказанное), отдельно обосновав свой выбор. Почему именно Эдгар По? И почему именно «Ворон»?

Да потому, что ни один из имеющихся поэтических переводов лично меня не устраивает, заявила я ничтоже сумняшеся. Ни один из них и в малой степени не передает ту необыкновенную музыкальность, которой пронизано это дивное английское стихотворение, поистине вершина англоязычной поэзии. Звуки в нем буквально переливаются друг в друга, создавая фантастическое по красоте звучание каждой строчки, радующее не только слух, но и глаз. Я уже не говорю о том, как мастерски выстроен сам сюжет стихотворения, как от строфы к строфе усиливается предчувствие неизбежной трагической

развязки, того самого рока, о котором великий Бетховен применительно к одной из своих симфоний выразился так: «Судьба стучится в дверь!»

— Не верите? — воскликнула я в завершение. — Тогда покопайтесь в интернете. Там вы обнаружите не менее дюжины вариантов перевода «Ворона» на русский язык. Так что у вас есть отличная возможность сравнить все самим и сделать уже собственные выводы. А к следующему занятию попрошу перевести первые две строфы стихотворения. Еще раз предупреждаю! Слово в слово, без малейших искажений и отступлений от текста, но не корявым, а хорошим литературным языком. Каждую строчку мы совместно проанализируем и выберем лучший вариант, а по итогам всеобщего обсуждения постепенно составим компилированный подстрочник перевода всего «Ворона».

Так начался один из моих самых длительных педагогических экспериментов по натаскиванию студентов на азы переводческого мастерства. Он продлился без малого восемь лет, вплоть до моего ухода с поприща педагога, и подарил, пожалуй, самое незабываемое событие в моей сравнительно короткой педагогической карьере. Но об этом чуть позже.

А пока… А пока каждый год третьекурсники трудились над составлением подстрочника к «Ворону», после чего следовало коллективное обсуждение каждой строки, и в ходе бурных и бескомпромиссных дебатов в итоге выкристаллизовывался свой вариант перевода стихотворения Эдгара По. Причем каждый год — новый, совершенно не похожий на тот, который писался годом ранее. Но главное, всякий раз мы убеждались в том, насколько наш самодеятельный подстрочник богаче и ярче самых изощренных фантазий профессиональных литераторов.

А ведь среди переводчиков Эдгара По числились такие поэтические корифеи, как Валерий Брюсов и Константин Бальмонт. Да мало ли кто еще! Но вот беда! Никак не укладывается текучий английский стих в рамки рифмованной русской речи, рассыпаются на части и гибнут созвучия, а вместе с ними исчезает и само волшебное звучание «Ворона», завораживающего своей магией англоязычного читателя и слушателя. Увы-увы! Приходится с грустью констатировать, что Эдгар По так же не подвластен полноценному поэтическому воспроизведению на русском языке, как и наш Александр Сергеевич Пушкин, скажем, на английском языке. Сюжетную канву повествования еще можно как-то сохранить, но божественные звуки пушкинского стиха безвозвратно теряются в процессе перевода. По крайней мере, так это случилось с большинством англоязычных переводов Пушкина. Порой у меня и вовсе закрадывается крамольная мысль, что иностранный язык нужно учить прежде всего для того, чтобы иметь возможность читать поэзию, написанную на этом языке, в подлиннике.

Возвращаясь к «Ворону», скажу лишь, что очень сожалею, что не сохранила в своем домашнем архиве плоды студенческих усилий, хотя ежегодно я получала на руки отредактированный вариант коллективного творчества. Но на этот период моей жизни выпали немалые хлопоты, связанные с переменой местожительства. Пришлось уезжать из дома, в котором было прожито почти полвека.

Тот, кто на собственном опыте прошел через это, поймет меня, ибо всякий переезд сродни пожару. Пытаешься сохранить лишь самое главное и ценное. Все же остальное безжалостной рукой выбрасывается вон. На память о том времени остался лишь подстрочный вариант перевода «Ворона», выполненный студентами в 2005 году. Плоды своих вдохновенных усилий будущие переводчики презентовали мне в красивой папке вместе с портретом Эдгара По и распечаткой всех поэтических версий перевода стихотворения на русский язык, которые они сумели выловить в интернете. Все это вкупе и обеспечило сохранность их труда.

Хороший подстрочник, хотя… Хотя бывали и лучше. Но вот эта строфа точно хороша!

И долго я стоял так, вглядываясь в темноту, обуреваемый любопытством, ужасом
И сомнениями, воображая себе то, чего не рискнул бы вообразить себе ни один смертный;
Но ничто не нарушало царящего безмолвия, и никакого знамения не было в этой тишине.
Лишь одно слово потревожило ее, слово, произнесенное мною шепотом: «Ленор?»
Это я прошептал его, и оно эхом вернулось ко мне обратно: «Ленор!»
Только одно это слово и больше ничего.

Впрочем, мой нудный рассказ не столько о подстрочниках вообще, сколько об одной-единственной строке из одного такого подстрочника. Его мои студенты лепили в 2002 году. Гениально переведенная строка, так поразившая мое воображение в тот момент, когда ее зачитала вслух студентка Ирина Романовская, не просто врезалась в мою в память. Я ее слово в слово записала и храню эту запись до сих пор, как образчик истинного творческого вдохновения и полнейшего проникновения в суть поэтического шедевра По. И поверьте мне, никакого преувеличения! Именно так! Гениальный перевод. А то, что всего лишь одна строка, так это не беда! Многие ли маститые переводчики могут похвастаться тем, что на них вдруг снизошло такое величайшее озарение, когда русский текст стал вровень с оригиналом, не исказив в нем ни единой буквы и ни единой толики смысла?

Но вначале о самой строчке. Вот ее англоязычный вариант:

‘…And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor…’

Помнится, эта треклятая строчка ну никак не давалась нам с ходу. Мы ее и так крутили, и эдак, перепробовали десятки вариантов (включая и мой собственный, самый скучный из всех) и все забраковали, решив вернуться к неподдающейся на следующем занятии.

И вот я вхожу в аудиторию и первым делом вижу перед собой сияющие глаза Иры, ее раскрасневшееся от радостного возбуждения лицо, слышу ее звонкий голос:

— Зинаида Яковлевна! Получилось! Послушайте!

«И каждый уголек, угасающий в золе, чертил свою тень на полу…»

Я молча плюхаюсь на стул и застываю на месте. Вся группа в некотором замешательстве смотрит на меня. Неужели опять к чему-нибудь прицеплюсь?

— Гениально! — выдыхаю я, наконец, после затянувшейся паузы. — Ирка! Это гениально!

— Да! Это здорово! — хором подхватывают все остальные.

Ира сидит с видом триумфатора, и по ее лицу разливается выражение полнейшего блаженства, словно перед ней только что распахнулись небеса и откуда-то сверху на ее голову пролился неземной свет. Прямиком из рая.

— Представляете, я вчера целый вечер билась над ней! А потом пошла в душ, включила воду, и вдруг все слова сложились в единое предложение сами собой. Сама не понимаю, как все случилось! Пришлось выскакивать из ванной и голышом нестись к письменному столу. Боялась, что забуду, что потеряю какое-то слово, и вообще...

По тому, как дрогнул голос моей Иры, я чувствую, что вчера она действительно пережила несколько мгновений невыразимого счастья, приобретя драгоценный опыт истинного творческого горения. И судя по всему, этот неожиданно свалившийся на нее опыт она запомнит на всю оставшуюся жизнь.

Вот такая история, вроде как и ни о чем. Кстати, сама Ира не подалась в переводчики. После окончания института она избрала для себя другую стезю. По слухам, стала очень успешной бизнес-леди. И фамилия у нее наверняка уже не Романовская, и детки наверняка подрастают. Верю, что когда-нибудь она обязательно расскажет им о том, что есть вдохновение, настоящее вдохновение, без дураков, которое ей довелось пережить, трудясь над составлением подстрочника к стихотворению Эдгара По «Ворон». Думаю, ей будет под силу вполне предметно объяснить своим детям, что имел в виду Александр Сергеевич, когда писал:

«…И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…»

Потому что испытать все это вместе, в неразрывном единстве, в единой связке, или как теперь любят говорить, «в одном флаконе», можно только в процессе творчества. И не столь уж важно, на что направлены наши творческие усилия: пишем ли мы стихи, переводим ли мы чужие опусы, или занимаемся другими делами, на первый взгляд, очень далекими от поэзии.

Так что же мы имеем в сухом остатке? Не так уж и мало, если разобраться. Гениально переведенную на русский язык строку гениального стихотворения Эдгара По — это раз, опыт приобщения к вершинам творческого вдохновения — это два. Плюс бонус лично для меня, как для преподавателя.

В конце учебного года Ира подошла ко мне и протянула небольшой листок.

— Зинаида Яковлевна! Это вам на память. Я тут попыталась нарисовать ворона. Не знаю, получилось ли.

Я взглянула на ворона, похожего скорее на нахохлившуюся от холода ворону с нашего институтского двора. Но все же Ворон!

— Получилось! — оптимистично солгала я. — Будет лежать у меня вместо закладки в томике со стихами Эдгара По. Спасибо!

Минуло уже более десяти лет. Но всякий раз, когда я перечитываю любимое стихотворение, когда смотрю на скромный рисунок, выполненный обыкновенной шариковой ручкой, я вспоминаю то ощущение счастья, и педагогического, и просто человеческого, которым одарила меня когда-то девочка по имени Ира Романовская. И случилось это на уроках перевода. Низкий ей поклон за это.

...И каждый уголек, угасающий в золе, чертил свою тень на полу…

«После бала»

Собственно, эта история является прямым продолжением предыдущей. Речь снова пойдет об уроках перевода, и случилась история «на том же месте, в тот же час», то есть в середине нулевых в учебном заведении, в котором я на тот момент трудилась. Одна из моих девочек-дипломниц выбрала прелюбопытнейшую тему для своего будущего дипломного исследования. Она решила провести сопоставительный анализ того, как наши и английские переводчики обращаются с именами собственными в процессе перевода художественных произведений на свои языки. А в качестве материальной базы для такого развернутого сопоставительного анализа Оксана (так звали мою студентку) взяла два огромных романа: «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского в двух версиях (русской и английской) и «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси, тоже в двух вариантах. Оба эти романа не только велики по объему, они, что было особенно важно для исследования, буквально нашпигованы людьми: главными героями, второстепенными героями, промежуточными персонажами и просто личностями, вскользь упомянутыми автором. Словом,

было где развернуться и было что сравнивать. Все летние каникулы Оксана скрупулезно выписывала из двух толстенных книг предложения, в которых упоминались имена собственные, потом отыскивала соответствующие переводы этих фраз, все это классифицировалось, документировалось, и в начале учебного года мне была вручена пухлая папка с распечаткой всех примеров. Не скрою, масштаб проделанной работы впечатлял. Для анализа было отобрано более семисот примеров, которые вместе с переводами, сведенными воедино в таблицы, образовали приложение к будущему диплому, которым не стыдно было бы похвалиться и иному диссертанту.

Мы бегло обсудили, в каком именно направлении стоит двигаться дальше, как и по каким критериям оценивать качество перевода, и разошлись каждый по своим делам. Оксана — трудиться дальше над своим дипломом, я — изучать примеры, которые она отобрала для своего анализа.

Пожалуй, в этом месте какой-нибудь дотошный теоретик от перевода может схватить меня за руку и гневно воскликнуть:

— Что же ты за чушь несешь, милочка? Ведь все имена собственные не переводятся! Они просто воспроизводятся буквами и звуками другого языка, и только.

Что является чистейшей правдой. Ну, за исключением редких случаев описательных переводов, когда приводится не только само имя, но и его значение. Скажем, английское женское имя *Gay (Гей)* означает «веселая». Почти такое же значение, кстати, имеет и старинное русское имя *Ефросиния*, которое буквально переводится с греческого как «веселье, радость». Но это так, к слову.

Впрочем, есть аргументы и от противного. Ведь наряду с обычными именами собственными имеются еще и их уменьшительные версии. Всякие там Ванечки, Анечки, Вовочки и прочее, и все это словарное богатство может быть передано средствами другого языка (в нашем случае английского) не только с помощью транслитерации или транскрипции. Опытные переводчики знают, что для того, чтобы англоязычный читатель в полной мере прочувствовал русское уменьшительное, его можно перевести в том числе и с использованием дополнительных прилагательных, придающих слову соответствующую эмоциональную окраску. Скажем, «у нас» — Анечка, а «у них» — little Ann (буквально: маленькая Аня). Такое словосочетание сообщит уму и разуму английского читателя гораздо больше, чем просто Anechka.

Однако не буду «грузить», как выражается наша молодежь, читателя сугубо профессиональными проблемами перевода. Да и рассказ мой совсем даже не о том. Итак, вечером того же дня я, усевшись к письменному столу, раскрыла папку с примерами и погрузилась в их изучение. Увы-увы! Увиденное меня ошеломило и повергло в глубочайшее уныние. Ну то, что ляпсусы встречаются у всех, с этим все понятно. В конце концов, *errarehumanumest*, как говаривали древние. То есть, человеку свойственно ошибаться. А потому некоторые промахи наших переводчиков при перелицовке имен собственных героев «Саги» вполне можно было подверстать под категорию «допустимой погрешности».

Иное дело «Братья Карамазовы»! Помнится, тот беспредел, который, в свою очередь, учинили уже англичане с героями Федора Михайловича, бил наотмашь. Более половины всех русских имен англичане безнадежно переврали и исказили. Причем, что особенно поражало, — отсутствие всякой видимой логики, которой руководствовались переводчики в том или ином случае. Ну зачем они из Ванечки сделали Ivan'а, недоумевала я. Ведь речь же идет о ребенке. И почему опускают отчества там, где это просто недопустимо? Словом, вопросы, вопросы и вопросы.

Ибо, как ни странно, но благодаря своей студентке я сама, можно сказать, впервые взглянула на англоязычные переводы русской литературы уже глазами въедливого исследователя. Взглянула и поняла, что в них, как говорится, конь не валялся. И не только по части имен собственных. Не сильно заморачиваются коллеги «за бугром» и со словами, обозначающими наши национальные и культурные реалии. Ну, еще самовар и валенки они кое-как перелицуют, а вот если что посложнее, позаковыристее…

Не буду и далее озадачивать читателя, а скажу лишь, что именно во время изучения примеров, отобранных Оксаной, у меня возникла дерзкая мысль. Можно даже сказать, наглая! А что если мы со студентами сами попробуем перевести какое-нибудь небольшое произведение из русской классики на английский язык, а потом сравним наш вариант перевода с тем, который уже наверняка существует в английской литературе? Наглость, конечно. Это — с одной стороны. А с другой — а почему бы и нет? Главное — выбрать такое произведение, чтобы оно было: а) небольшим по объему; б) достаточно известным для того, чтобы его в обязательном порядке уже до нас перевели на английский язык; в) достаточно интересным, чтобы будущие переводчики не заскучали уже на втором занятии. Все же остальное, как говорится, дело техники. Во всяком случае, можно уже заранее гарантировать, что мои студенты точно не исказят ни одной реалии! А ошибки по части грамматики…

Слава богу, у меня есть хороший знакомый переводчик-англичанин, который занимается именно переводами русской классики на английский язык. И мы с ним даже состоим в дружеской переписке, обмениваемся своими переводческими планами и все такое прочее. Зовут моего англичанина Мартин Дьюхерст, Мартин Эдгарович, как он сам подписывает свои письма. На счету Мартина Эдгаровича не какие-то там преходящие любовные нетленки. Он переводил Тургенева, Чехова, многих известных современных русских писателей. Того же Валентина Распутина, например.

Что если я попрошу его об одной любезности? Чтобы он, после того как мы сделаем наш учебный перевод какого-то произведения на английский язык, глянул на него не только глазами профессионала, но и как *nativeborn*, то есть глазами человека, для которого английский язык является родным. И для студентов будет дополнительный стимул стараться, чтобы не ударить в грязь лицом, и я сама, как наставник, буду спокойна, зная, что все наши переводческие ошибки и огрехи выявлены и помечены бестрепетной рукой гордого бритта.

Остается лишь определиться с тем, что именно переводить. Взгляд мой рассеянно скользнул по книжным стеллажам и задержался на шоколадно-коричневых томиках полного собрания сочинений Льва Николаевича. Ну конечно же, Толстой! Какие еще разговоры? Толстого знают, любят и переводят во всем мире. Так что проблем с поиском англоязычных версий его произведений у нас не возникнет. Да, но что именно выбрать для перевода? Рассказ? Но какой? Взять что-либо из «Севастопольских рассказов»? Нет, слишком сложно для студенток четвертого курса. В этих рассказах полно описаний военных баталий с использованием соответствующей терминологии, которая порой не вполне понятна даже современным русскоязычным читателям: требуются дополнительные комментарии, разъяснения, пояснения и прочее. Надо искать что-то попроще.

А если взяться за рассказ «После бала»? По объему он невелик, да и в содержательном плане… В школьные годы рассказ произвел на меня просто неизгладимое впечатление, когда мы его разбирали на уроках литературы. Но наверняка в нынешних учебных программах средней школы «После бала»

уже отсутствует. Так что мы убьем сразу двух зайцев: и переводить поучимся, и свой культурный кругозор расширим.

Итак, выбор сделан, и я, не откладывая дело в долгий ящик, принялась строчить письмо Мартину Эдгаровичу со слезной просьбой помочь, посодействовать и не отказать. В положенный срок пришел и ответ. Мартин любезно согласился просмотреть будущий студенческий вариант перевода и дать свои комментарии в случае необходимости. Судя по ответному письму, моя просьба его заинтриговала и в нем даже вспыхнул некий спортивный азарт, столь свойственный всем англичанам. Дескать, посмотрим-посмотрим, что у них там получится в итоге.

Вот так, с бухты-барахты, начался наш трехмесячный марафон по приобщению к мировой классике с точки зрения ее перевода. Как правило, я задавала на дом очень небольшие фрагменты текста, два-три абзаца, не больше. Боялась, что подстерегающие студенток языковые трудности расхолодят их, пыл и желание пропадут, и тогда пиши пропало.

А пыл и желание были, и огромные! Всех особенно взбудоражило, что коллективный труд станет объектом изучения не кого-нибудь, а настоящего английского переводчика, занимающегося, к тому же, переводами русской литературы. Положа руку на сердце, скажу: то были счастливые три месяца для меня как для педагога. В работе участвовали все как один, даже самые слабенькие студенты. И порой именно их версии принимались всеми на ура и единогласно оставлялись в окончательном варианте перевода. Чему они, конечно же, были несказанно рады и страшно горды собой. Помнится, тут же две девочки заявили мне, что свои будущие дипломные исследования по проблемам перевода они будут писать, опираясь на материалы нашего эксперимента. Одна студентка решила заняться анализом перевода слов, обозначающих культурные и национальные реалии. Сопоставительный анализ должен был строиться на сравнении того, как перевели мы и как перевели профессиональные английские переводчики. Вторая девочка решила, если мне не изменяет память, предметно изучить особенности перевода прямой речи. Словом, работа закипела по всем направлениям.

Что же до меня самой, то, участвуя в эксперименте на равных вместе со студентами, я просто получала наслаждение от каждодневного неторопливого общения с блистательной прозой Льва Николаевича Толстого несколько на ином уровне, чем просто чтение.

Помнится, где-то за год с небольшим до своей кончины позвонил мне Юрий Михайлович Сапожков. Дело было летом, он только что вернулся с дачи. Еще ничто не предвещало столь скорой и трагичной развязки, и мой давний друг пребывал в самом наилучшем расположении духа.

— Угадайте с трех раз, чем я вчера занимался! — сказал он веселым тоном.

— Стихи писал, — осторожно предположила я, не осмелившись озвучить более прозаичную версию. Например, такую: резал яблоки на сок.

— Нет! Не угадали! Я перечитывал «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Послушайте! Это просто невероятно! Такая мощь! Такая сила! При этом, когда начинаешь анализировать каждую фразу по отдельности, невольно заходишь в тупик. Множество повторов, бесконечные «что». Некоторые предложения кажутся откровенно непричесанными и даже неопрятными. Но все вместе… Все вместе завораживает и даже ослепляет. Вот что значит гений!

— Здорово! — кисло позавидовала я. В тот момент на моем письменном столе лежал очередной дамский опус, предназначенный для перевода, очень далекий по своему литературному качеству от гениальных творений Льва Толстого. — А я вот все никак не доберусь до «Севастопольских рассказов».

Правда, недавно перечитывала «Анну Каренину» и тоже «балдела» от восторга. А что же до всего остального, то я с вами абсолютно согласна. Я сама имела возможность убедиться в этом, когда вместе со студентами переводила рассказ «После бала». Действительно, выхватываешь отдельное предложение, ерундистика сплошная! Кажется, и переводить-то нечего. А потом начинаешь анализировать подтекст, прикидывать, что да как, и понимаешь, что проза Толстого невероятно сложна и трудна для перевода. И разумеется, гениальна! С этим не поспоришь.

И действительно: с этим не поспоришь. Заявляю это вполне авторитетно, как переводчик, которому посчастливилось приложить руку к переводу произведения Льва Николаевича, пусть всего лишь в масштабах учебного проекта. Ибо одно дело — читать книгу глазами читателя, и совсем другое — читать ее глазами переводчика, то есть читать с прикидкой на то, что и как нужно менять, трансформировать, добавлять и опускать, чтобы, руководствуясь извечным врачебным принципом, «не навредить».

Уже где-то к середине нашего переводческого забега мне стало понятно, что этот принцип всем нам коллективно (и даже, если хотите, соборно) удалось соблюсти. После жарких споров и дебатов, бесконечных поправок и уточнений постепенно выкристаллизовывался совсем даже неплохой вариант перевода. И это с учетом того, что мы честно договорились: не будем заглядывать в англоязычные версии перевода рассказа до тех пор, пока нашу работу не оценит Мартин Дьюхерст. Вот выдаст свое судьбоносное заключение, тогда и займемся сравнениями и сопоставлениями.

Тем более что жизнь распорядилась так, что все у нас складывалось на редкость благоприятно по всем направлениям. Фортуна благоволила к нам даже в мелочах. Одна из студенток по фамилии Лида Киреева (та самая, что вознамерилась писать у меня диплом по итогам перевода рассказа Толстого) объявила, что летом собирается в Лондон навестить тетю, а заодно и попрактиковаться в языке прямо на месте. А потому в случае чего она может собственноручно вручить наш перевод мистеру Дьюхерсту.

Я тут же настрочила очередное послание Мартину и получила от него весьма обнадеживающий ответ. Дескать, он будет очень рад встретиться с моей студенткой и все такое прочее. «Радость» от предстоящей встречи подтверждалась тем, что он тут же, прямо в письме, описал, где и как его можно найти, перечислил все свои телефоны, и домашние, и рабочие, и мобильные, а также сообщил свой приблизительный график на предстоящий месяц: когда он будет в Лондоне, когда — в отъезде, сколько именно продлится его отсутствие и так далее. Но самое главное — он твердо пообещал, что за то время, пока Лида будет гостить у родственников, он обязательно прочитает наш перевод и даст ему объективную оценку.

Сказано — сделано! Готовый, отредактированный, вылизанный до последней запятой коллективный труд студентов четвертого курса вместе с необременительными сувенирами для нашего «оценщика» уплыл к берегам Туманного Альбиона, а мы, затаившись на время летних каникул, принялись ожидать результатов.

И вот новый учебный год, пятый курс. Отдохнувшие студенты, уже без пяти минут выпускники, собрались в аудитории, и рыжеволосая, удивительно похорошевшая Лида (она за время вакаций успела не только слетать в Лондон, но и выйти замуж, превратившись из Киреевой в Дукорскую) вручает мне пухлый пакет от Мартина Эдгаровича. Глаза ее блестят от удовольствия. Судя по всему, она уже знает, как оценил перевод наш английский коллега. А мы еще пока нет. Я торопливо вскрываю пакет. Оттуда выпадает наш экзем-

пляр перевода с редкими, — очень редкими! — машинально отмечаю я про себя — пометками прямо по тексту, сделанными шариковой ручкой. Следом извлекаю ксерокопию англоязычного перевода рассказа «После бала», взятого из сборника рассказов Л. Н. Толстого. Книга вышла в серии «Мировая классика», которая издается под эгидой Оксфордского университета. И, наконец, в последнюю очередь из конверта выпадает письмо, адресованное уже лично мне.

Письмо я пока откладываю в сторону и принимаюсь изучать замечания Мартина.

— Мистеру Дьюхерсту очень понравился наш перевод! — продолжает в это время делиться впечатлениями с однокурсниками Лида. — Очень! Он мне сам об этом сказал! И вообще, он такой классный! Мы с ним несколько раз встречались. Так интересно поговорили…

— Так-так-так! — бурчу я себе под нос. — Большинство замечаний Мартина Эдгаровича касается использования артиклей. Ох уж эти треклятые артикли! Вечная с ними проблема для всех русскоговорящих. А в целом реакция коллеги впечатляет. Я предполагала увидеть перед собою текст, весь испещренный красным. Что ж, молодцы! Ей же богу, я вами горжусь.

Я беру в руки письмо и погружаюсь в чтение. Милый-милый Мартин! Добрейшей души человек и, безусловно, переводчик высочайшего класса. Вдвойне лестно заслужить столь высокую оценку у такого специалиста. Вот лишь несколько фрагментов из того письма, датированного 21 июля 2005 года, которые я привожу с любезного разрешения самого автора.

«Что же касается Вашего «коллективного», как Вы его назвали, перевода, тем более, выполненного не с иностранного языка, а на иностранный язык, то скажу так. Это — замечательное достижение! Я сделал себе копию Вашего текста на память. Если у студентов возникнут вопросы по поводу моих немногочисленных замечаний, готов ответить на все из них в силу своего разумения.

Единственное, чего я не в состоянии объяснить логично, так это — почему мы, англичане, в одном месте ставим определенный артикль ‘the’, в другом — неопределенный артикль ‘a’, а в третьем случае и вовсе обходимся без артиклей. Думаю, это Вам никто толком не сумеет объяснить. Языки, они ведь как люди, не всегда подчиняются строгой логике и не всегда ведут себя рационально… Вот и артикли, их просто надо чувствовать, и только».

Что ж, пора ставить финальную точку. Не знаю, как распорядился Мартин копией студенческого перевода. Сохранил его себе на память или при случае показал своим коллегам как образчик очень даже недурного проникновения в авторский текст Толстого. Что, отмечу я попутно, далеко не всегда удавалось профессионалам, делавшим перевод для издания «Мировой классики». В той распечатке рассказа «После бала», переведенного на английский язык, которую прислал мне Мартин, мы потом вместе со студентами нашли значительно больше огрехов, чем отыскал их он в нашем учебном переводе. Что и неудивительно! Ведь ребята действительно добросовестно «раскалывали» каждое слово, добираясь до самых сокровенных глубин и извлекая на поверхность все что только можно. А слово, оно ведь, по справедливому замечанию Николая Васильевича Гоголя, поистине необъятно. Нужно только все время помнить об этом. Наши же английские коллеги зачастую просто скользили по поверхности, не слишком обременяя себя дополнительными рассуждениями

и ненужными, по их мнению, умственными усилиями. Жаль! Переводили ведь не какую-нибудь там авторессу любовных романов, а самого Толстого. Впрочем, что им Толстой? У них свой Шекспир имеется.

Вот почему по прошествии времени мне представляется главным отнюдь не учебный аспект проделанного эксперимента. Ибо наряду с уроками перевода мои студенты получили еще один предметный и весьма назидательный урок на тему «Что такое европейский эгоцентризм». Если коротко, то скажу так: в восприятии европейцами культур других народов никогда не было и не будет места той *«всемирной отзывчивости»*, о которой писал в свое время Федор Михайлович Достоевский и которой всегда славилась наша отечественная культура. Да и не только культура. Наш народ, точнее, народы, испокон веков живущие восточнее Буга и составляющие культурно-историческое образование, именуемое «русским миром».

Но, как принято говорить в таких случаях, все мы разные. Очень разные! Пожалуй, именно для того, чтобы максимально снивелировать эти разности, и нужны, по моему разумению, хорошие и честные переводчики. По-настоящему хорошие и обязательно честные.

Анатоль Кудравец

Сравнительно недавно состоялась встреча Главы нашего государства с деятелями литературы и искусства. Потом, как водится, посыпались всяческие интервью и на радио, и в газетах, и на телевидении. По всему было видно, что некоторые участники встречи спешили максимально полно засветиться в средствах массовой информации, четко обозначив свою роль и место в современном творческом процессе. Интервьюируемые много и со вкусом рассуждали о проблемах литературы, о тех целях и задачах, которые стоят конкретно перед писателями, о конкретных выводах, которые они сделали, уже каждый для себя, по итогам встречи. Почему-то особенно часто цитировалась мысль, высказанная Президентом непосредственно по ходу разговора, что вот, дескать, нет у нас своего Толстого. Того, который Лев Николаевич. И вторую «Войну и мир» пока еще никто не написал, к глубокому сожалению читателей и почитателей отечественной словесности.

Что есть истинная правда. Хотя, с другой стороны, возникает вполне резонный вопрос. А зачем нам еще один Толстой, даже если он Лев Николаевич? Мое скромное мнение, к примеру, таково. Да не нужна мировой литературе еще одна эпопея, подобная «Войне и миру». Первая гениально закрыла все, что связано с проблемами и войны, и мира. Не говоря уже о том, что не рождаются такие шедевры, как «Война и мир», каждый день. И даже каждый век не появляются на свет. Роман Льва Николаевича Толстого возвышается в тысячелетней человеческой культуре, словно скала-исполин, а сами скалы, подобные толстовской, можно пересчитать по пальцам одной руки: «Божественная комедия», «Дон Кихот», Шекспир с его лучшими пьесами, «Фауст», «Тихий Дон». Пожалуй, и все!

Что отнюдь не остужает дерзновенный пыл все новых и новых поколений писателей, мечтающих во что бы то ни стало покорить литературный Олимп и обязательно сотворить свои шедевры, которые могли бы стать вровень с гениальными творениями прошлых веков. И что самое удивительное — многие ведь и сотворяют, оставаясь при этом таинственным образом невидимыми и неслышимыми для своих современников. Ну, или почти невидимыми и неслышимыми. В положенный срок эти люди уходят в мир иной. Ну,

а дальше… Все в полном соответствии с заветом Вильяма нашего Шекспира: *«Дальнейшее — молчанье»*.

Что ж, самое время рискнуть и нарушить молчанье. И все исключительно ради того, чтобы поделиться с читателями скромными медитациями об одном из таких авторов, причем именно в аспекте перевода. Что же до самого автора, то готова засвидетельствовать где угодно и когда угодно, что написанный им рассказ (Да! Всего лишь рассказ, но разве этого мало?) стоит наравне со знаменитым рассказом Льва Толстого «После бала». А как лично на мой вкус, так он много выше и сильнее означенного произведения признанного всеми гения. Так что есть, есть! — в нашей литературе авторы, могущие на равных посоревноваться с великим яснополянским старцем. Но обо все по порядку.

Честно признаюсь. По справедливости, именно этой последней истории и следовало бы открыть цикл переводческих баек, причем на вполне законных основаниях. Но как это часто бывает в жизни, первоначальный толчок к возникновению всего замысла так и остался просто толчком, да и сам замысел претерпел существенные трансформации. В результате получилось то, что получилось. А вообще-то идея поделиться с читателями воспоминаниями по, так сказать, сугубо профессиональным проблемам перевода и всем тем, что с ними связано, возникла у меня в мае 2014 года, и вот в какой невеселой связи.

Как-то раз, рано утром шерстя информационные сообщения на портале TUT.BY, я вдруг неожиданно натолкнулась на скромный некролог, извещающий пользователей интернета о том, что 8 мая сего года скончался известный белорусский прозаик Анатоль Кудравец. Ну, и как водится в некрологах последних десятилетий, с обязательным уточнением: «после тяжелой и продолжительной болезни». Помнится, у меня вдруг больно заныло сердце. Во всяком случае, в тот момент я точно почувствовала, что оно у меня есть.

Что было довольно странным, ибо я никогда не встречалась с писателем при его жизни и не имела счастья знавать его лично. Все мое общение с Анатолием Павловичем свелось к двум или трем весьма непродолжительным телефонным разговорам и небольшому презенту, который прозаик передал для меня через Олега Алексеевича Ждана: отксеренный *беларускамоўны* вариант рассказа «Поздние яблоки» с дружеским автографом на память.

И вот мысли мои как-то вдруг сами собой плавно двинулись вспять и очень скоро извлекли из-под завалов памяти погожий летний день 2006 года. Я сижу в редакции журнала «Всемирная литература» и веду нескончаемые, по своему обыкновению, литературные разговоры сразу обо всех литературах на свете. Повод для визита в редакцию самый тривиальный: принесла очередной перевод. Повод для литературных медитаций — более весомый, ибо совсем недавно на страницах шестого номера журнала появился русскоязычный вариант рассказа Анатоля Кудравца «Поздние яблоки», впервые опубликованного в журнале «Маладосць» еще на стыке шестидесятых — семидесятых годов прошлого века.

Вальяжно устроившись в тесной комнатке, где размещается сразу весь редакционный коллектив, за исключением главного редактора (который, впрочем, услышав мои громкие вопли, тоже заглянул к нам на огонек), я с придыханием в голосе осыпаю всех присутствующих своими восторгами по поводу свежей публикации. Потому как, заявляю я безапелляционным тоном, рассказ Кудравца принадлежит к числу моих наилюбимейших во всей мировой литературе. Быть может, он даже самый любимый. И все они, коллектив журнала «Всемирная литература», — большие молодцы, что извлекли рассказ из небытия, снова напомнив читателю о его существовании.

Тем более что за время, прошедшее после последней публикации, выросло уже целое поколение новых читателей, и не одно! Наверняка никто из них ни сном ни духом не ведает о существовании такого полноценного отечественного шедевра. По моему скромному разумению, продолжаю кричать я истошным голосом, рассказ точно входит в десятку лучших рассказов всех времен и народов. Наряду, скажем, с «Кармен» Проспера Мериме, или «Пышкой» Ги де Мопассана, или «Анной на шее» Антона Павловича Чехова. Ну, еще с пяток новелл можно подверстать под этот высочайший художественный уровень, но в любом случае без белорусского *masterpiece* в этом списке — ну, никак! — не обойтись.

Сотрудники слушают меня со скептическими улыбками на устах. Нет, безусловно, рассказ им тоже очень нравится, иначе зачем бы они его печатали у себя в журнале? Но что бы вот так — лучший среди лучших… Явный перебор — читаю я в их взглядах.

И распаляюсь еще больше. Начинаю долго и нудно объяснять, что, к сожалению, сегодня современную белорусскую литературу за рубежом знают далеко не по самым лучшим ее произведениям. Иные добытчики грантов, вечные плакальщики о родном отечестве, согреваемые мыслью о том, что чем больше гадостей они напишут о своих мытарствах «здесь», тем больше сладостей им отвалят «там», плюс всякие соискатели всяких политизированных премий и наград, словом, вся эта публика пиарит себя сама, и довольно успешно, надо сказать. А другой писатель напишет шедевр и сидит себе скромненько в тени. Никто и не знает о том, что он сотворил литературное чудо. Не торопятся к нему зарубежные издатели с просьбой купить авторские права на публикацию и переводчиков своих не спешат засылать…

Переводчиков! И тут меня осенило. Как же я, право дело, забыла! Ведь у меня же собственный друг-приятель, коллега-переводчик, имеется за бугром. Почему в разговоре с Мартином Дьюхерстом я ни разу не упомянула о существовании такого замечательного произведения? Не порекомендовала ему обратить внимание на прозу Кудравца? Не посоветовала перевести для начала хотя бы этот, один-единственный, рассказ на английский язык и запустить его в полноценное обращение в мировой литературной среде? Мартин успешно переводит русскую классику, на его счету переводы Чехова и Тургенева. Наверняка и с текстами белорусского автора он справится в два счета. Самое время устранять собственный промах. Тем более что и русскоязычный вариант «Поздних яблок» подоспел весьма даже кстати.

Воодушевленная своей скоропалительной идеей, я тут же поделилась ею с присутствующими. Дескать, не отказал же мне английский коллега в прошлом году, когда мои студенты корпели над переводом рассказа Льва Толстого «После бала». Помог! Да еще как! Вот я и отблагодарю! Предложу в качестве компенсации за оказанную помощь и высокую оценку студенческих усилий просто отличный переводческий материал. Мечта для любого серьезного переводчика.

В тот момент из моей головы странным образом начисто выветрились всяческие мысли о том, что переводчик вообще-то профессия весьма зависимая. Я бы даже сказала, очень зависимая, и подавляющее большинство переводчиков, включая самых именитых, никогда не обладали и не обладают правом принятия самостоятельного решения касательно выполняемых ими переводов. Все вопросы, связанные с тем, что переводить и для кого переводить, решают совсем другие люди. Конечно, рекомендации ты свои можешь выдать, и к ним даже прислушаются, быть может (сужу по собственному опыту), но и только.

Во всем же остальном, повторюсь еще раз, решения принимаются на ином уровне и с учетом множества самых разнообразных факторов. Здесь и общая редакционная политика, и самоокупаемость проекта, и потенциальный читательский спрос, и цена авторских прав, и литературная мода, которая всегда диктует свои законы в книгоиздательском бизнесе, и много чего еще другого.

Но я, повторюсь, забыв про все на свете и закусив удила, уже неслась галопом по будущим Европам, предвкушая триумф и славу, которая одномоментно свалится на голову моего потенциального протеже. Да, но с чего начать? Как приступить к реализации дерзновенных планов? С автором рассказа я лично не знакома. Пожалуй, могут и выставить за дверь, если дело дойдет до личной встречи. Скажут: а ты кто такая и откуда явилась-не запылилась… Без разрешения же автора браться за такое предприятие как-то негоже.

Помнится, мужской коллектив редакции отнесся к моей в общем-то безумной идее со снисходительным пониманием, но безо всякого энтузиазма. Я уже всем изрядно надоела с постоянными призывами к членам литературного сообщества самостоятельно продвигать свои творения на международные книжные рынки. Наверное, тысячу раз в самых разных аудиториях я твердила одно и то же: нужно самим озаботиться составлением хотя бы синопсисов (в англоязычной версии, разумеется) своих книг, а еще лучше — иметь небольшие фрагменты текстов, переведенные на английский язык, и вот с этим богатством стучаться во все мировые книжные двери. Словом, действовать в полном соответствии с 7-й главой Евангелия от Матфея: *«Просите — и получите, ищите — и найдете, стучите — и вам откроют»*.

Скепсис моих собеседников был не только очевиден, но и вполне понятен. Хорошо тебе верещать, читала я во взглядах членов редколлегии. Составить синопсис на английском языке — это ведь не заявление в ЖЭС настрочить. Требуется привлечение профессионалов. А профессионалы, как известно, не любят работать бесплатно. Еще не известно, какую такую сумму могут выставить потенциальные исполнители заказа за перевод фрагмента текста или того же синопсиса, который вначале надо еще самому написать на русском языке. Словом, как в той старинной армейской песне: *«Гладко вписано в бумаги, да забыли про овраги, а по ним шагать…»* Причем никакой гарантии, что в итоге все усилия (плюс материальные издержки) не окажутся затраченными впустую.

— Если хотите, могу вам посодействовать, — неожиданно подал голос Олег Алексеевич Ждан, кстати, самый неразговорчивый сотрудник редакции. Не скрою, я даже слегка побаивалась этого внешне строгого молчуна. — Мы с Анатолием Павловичем изредка перезваниваемся. А потому я готов позвонить ему самолично и прозондировать почву.

— Еще как хочу! — запылала я с утроенной энергией. — Голубчик Олег Алексеевич! Позвоните ему прямо сегодня, не откладывая на потом. У меня как раз студентка в августе собирается в Лондон. Вот я бы и передала через нее рукопись Мартину, если, конечно, Кудравец согласится поучаствовать в прожекте.

Кудравец согласился. Олег Алексеевич перезвонил мне буквально на следующий день, сообщил домашний телефон писателя и добавил, что Анатолий Павлович ждет моего звонка. Для дальнейших объяснений, так сказать. Я тоже не стала тянуть и вечером того же дня отзвонилась по указанному номеру.

— Слушаю вас! — услышала я негромкий глуховатый голос на другом конце провода и, набрав в легкие побольше воздуха, начала свой монолог. Довольно неумело обрушила на Кудравца водопад собственных восторгов, которые его, судя по всему, совершенно обескуражили. Хочется думать, что искренность моих интонаций он точно оценил, а в остальном же…

Ну, что тут сказать? Не привык наш брат литератор к славословиям в свой адрес. Во всяком случае, Кудравец точно не привык. То, что обильными похвалами писатель не обласкан, я поняла сразу же, почувствовав усталое удивление в голосе. У нас ведь как бывает? Уж если возьмутся кого-то любить, то только его одного, родимого, и любят аж до посинения. С ним одним только и беседуют досужие журналисты о смысле жизни и прочих высоких материях, у него одного только и интересуются творческими планами на будущее, с ним одним только и советуются, с кого нам, сирым, делать свою скромную жизнь, и прочее, прочее. Вот такая вот избирательная любовь царит на информационном поле, если смотреть на него со стороны.

Впрочем, вполне возможно, я ошибаюсь, и нравы культурной среды несколько иные. В конце концов, я ведь всего лишь переводчик. А это круто меняет весь ракурс обозрения! Хоть и заявляли иные дерзкие умы, что *«переводчик от творца только именем рознится»*, но при всей лестности такого определения переводческой профессии для нас, переводчиков, сделанного когда-то Василием Тредиаковским, вынуждена оспорить сей тезис классика.

Потому что в имени как раз-то все и дело! Взять, к примеру, того же Михаила Лозинского. Блистательно перевел «Божественную комедию» на русский язык, но все же не Данте, увы и ах! Прямо как в том фильме, в котором великая Нонна Мордюкова озвучивает свой вердикт главному герою: *«Хороший ты мужик, но не орел»*.

Но вернемся к нашему телефонному разговору с Анатолием Павловичем. Сразу же признаюсь: пафос моих речей изрядно понизился, как и градус надежд на успех всей затеи. Я не стала лукавить и честно объяснила писателю все как есть. Да, мой английский коллега — очень хороший переводчик, но всего лишь переводчик. Ждать от него судьбоносных поступков не стоит. Но все же вдруг случится чудо из чудес, и рассказ понравится не только ему, но и потенциальным издателям. Или он сможет заинтересовать каких-то литературных агентов, о которых у нас еще и понятия никто не имел в те годы. А уж расторопный агент может действительно сотворить чудо. Что было бы не просто здорово, а очень-очень здорово.

Разговаривать с Кудравцом было на удивление легко. Он, сам руководивший долгие годы и издательством, и журналами, моментально улавливал мои недомолвки и прекрасно понимал их. Но оба мы сошлись в том, что попытка — не пытка, а потому рискнуть стоит. На сей полуоптимистической ноте мы и распрощались. В положенный срок Олег Алексеевич передал мне текст рассказа, и я отправила его по назначению — в Лондон. И стала ждать вестей. Увы-увы!

Самое время повторно процитировать известную реплику Гамлета из его предсмертного монолога: *«Дальнейшее — молчанье»*. Ни ответа, ни привета не получила я из славной столицы *of Great Britain*. Почему? Не раз задавалась я этим вопросом, и всякий раз находился вроде бы вразумительный ответ. Приболел мой приятель, очень занят, не до того ему, бедолаге. Или с чисто европейской немногословностью дает мне понять, что этим делом он заниматься не желает и не будет. Наконец, и последний аргумент. Рассказ попросту ему не понравился. Или он не понял все хитросплетения наших реалий бытия. Что очень похоже на правду, ибо большинству иностранцев наша жизнь и непонятна, и неинтересна, причем ни в большом, ни в малом.

«Но пусть и так. Все кончено, Гораций».

Эти горестные слова я не раз и не два мысленно повторила вслед за Принцем Датским, но сделала вид, что ничего такого страшного-ужасного не произошло. Обидно, конечно, что задумка так и осталась всего лишь задумкой, но не смертельно же, уговаривала я себя, всячески пытаясь приглушить тле-

ющую обиду на давнего друга. Каюсь, даже перестала контактировать с ним. А зачем? С английскими текстами я и без подсказок из Лондона справлюсь. Справлялась ведь до знакомства с ним, и совсем даже неплохо.

Но шли годы, а сей досадный эпизод с попыткой наладить культурно-творческие связи, так сказать, на частном уровне не забывался. Более того, всякий раз, когда в масс-медиа всплывала очередная информация о том, что вот какого-то имярек (из тех, кто творит на постсоветском пространстве) перевели на английский язык и издали где-то там, в том прекрасном далёко, куда мы с Кудравцом так и не смогли пробиться, я испытывала жутчайшее чувство собственной неполноценности и даже зависти, будто это не писателя, а меня обошли и задвинули в самый дальний угол за профнепригодностью. А потом подоспел и некролог…

И все же, думается мне, пока еще рано ставить окончательную точку в этой истории. Ведь верующие люди не без основания утверждают: *«Бог сохраняет все»*. Что-то благостно утешительное есть в этих словах. Как-то спокойнее становится на душе при мысли о том, что где-то там, в небесных высях, в целости и сохранности есть все-все-все: и первозданный вариант моей любимой «Данаи» еще до того, как ее облили кислотой, и фрески Джотто не осыпаются со стен райских базилик, и утраченные на земле клавиры и партитуры разложены по строго пронумерованным папкам. Наверняка в этих божественных запасниках есть и второй том «Мертвых душ». И много чего еще, уничтоженного, сожженного, превращенного в пепел и тлен. Но рукописи ведь не горят, по справедливому замечанию классика.

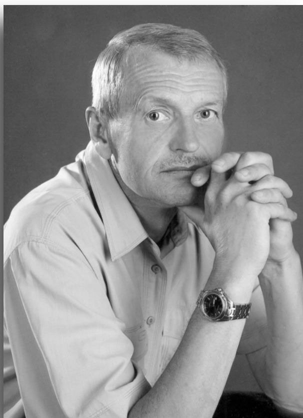
Да, они просто терпеливо ждут своего часа. Вот и давний подарок Кудравца, кажется, дождался своего часа. Ибо дерзаю обратиться непосредственно со страниц журнала к родственникам и душеприказчикам покойного писателя.

— Дорогие мои! Разрешите перевести рассказ Анатолия Павловича «Поздние яблоки», воистину один из лучших рассказов в мировой литературе, на английский язык. Обещаю, я буду делать свой перевод с белорусского языка и только с белорусского. Я ведь *тутэйшая, і добра ведаю мову*. Уверена, мой перевод будет честным и максимально английским, но при этом ни одна наша национальная реалия в нем не будет искажена, попрана или просто опущена за ненадобностью. А потом, когда работа будет завершена, мы вместе с вами разместим перевод на одном из международных литературных сайтов, сделав образчик творчества покойного писателя всеобщим достоянием. Есть ли у меня опыт по части перевода книг на английский язык? Есть, и немалый! Мои англоязычные переводы публиковались в Штатах и даже выходили отдельными изданиями. Так что не волнуйтесь! Работу я не завалю. Да! Совсем забыла! Перевод я сделаю, разумеется, *free of charge*, то есть совершенно бесплатно. Из любви к искусству, так сказать.

А почему обращаюсь к вам не по телефону, а со страниц журнала «Нёман»? Так *маю рацыю*, ей же богу! Лишний повод напомнить читателям журнала, что Анатолий Павлович Кудравец целых двадцать лет, с 1978-го по 1997 годы, возглавлял «Нёман», и насколько мне помнится, то были отнюдь не худшие годы в истории журнала.

Так что жду ответа, как соловей лета. С уважением, З. К.





ЮРИЙ МАТЮШКО

Этот день наполнит счастьем целый год

* * *

В небе, в этой летней сини звонкой,
Надвигалась черная гроза.
Тучка, что казалась жеребенком,
Превращалась в лошадь на глазах.

В страхе перед лошадью сердитой
Ветер стал к земле деревья гнуть.
Попадем ли под ее копыта,
Или обойдется как-нибудь?

В реку бьют увесистые капли.
Дождь уже уверенно идет.
Из-под тента виден серой цапли
Взлет и неуверенный полет.

Понеслось, ударило, задуло,
Пеленой закрыло окоем...
Барабанный бой сменился гулом.
Гул сменился дьявольским вытьем.

Лошадь дождевая машет гривой,
Фыркает, дрожит и громом ржет,
На дыбы становится строптиво
И ушами в ярости стрижет...

Обошлось... Утихнул топот громкий,
Засветилась чистая листва.
Лошадь, сбросив мокрые постромки,
Поскакала в новые места.

* * *

Речка течет на юг в тиши полевой.
Бросишь весло, объявишь себе перекур.
Небо в реке синее, чем над головой,
И облака белоснежней, чем там, вверху.

К дальнему лесу доставит тебя река.
Все остальное сегодня уже не в счет.
И берега убегают назад, пока
Речка послушно лодку твою несет.

Ты позабыл, что печаль у тебя остра.
Скрылась она в туманах прошедших дней.
Душу излечит свет твоего костра.
Много ли надо, чтоб сделался мир родней?

* * *

В костре моем погасли угольки.
Угомонился ветер над рекою.
Сидеть бы у излучины реки
В безмерности вечернего покоя.

И ничего не делать. Ничего.
Застыть,
Забыть про все на белом свете.
Забыть, который час, который год...
Какая нынче эра на планете.

А в небе облака бегут, бегут
По-прежнему откуда-то куда-то.
И женский силуэт на берегу
Впечатан в пламя дальнего заката.

* * *

События снова ускорят свой ход.
В зеленые листья оденется сад.
Потребуют много труда и забот
Мой маленький рай и мой маленький ад.

Что может быть проще: гряда да гряда...
Казалось бы — просто: копай да копай...
Но требуют много забот и труда
Мой маленький ад и мой маленький рай.

Все нужно жене: и капуста для щей,
И лук, и морковь, и фасоль, и укроп...
А я вообще не люблю овощей.
Трудиться люблю. (Но не очень-то чтоб...)

* * *

Первые майские дни,
Легкая ласка тепла.
Солнце в зените звенит.
Облачность в сини бела.

Чувствуя собственный рост,
Высказать что-то спеша,
Первые листья берез
Учатся внятно шуршать.

Что же они скажут мне
О замечательном дне?

* * *

Тут я ходил, ходила ты.
Цвели сады. Росли цветы.
Летели дни. Шмели жужжали.
Дорожки наши не сближались.

Но озарял вечерний свет
Тревогу юношеских лет,
Когда порой бывало страшно
Гадать по-детски на ромашке.

* * *

Бывает прозренье в мгновениях лета,
Когда ты из собственной памяти стерт,
Но вдруг замечаешь, как ежемоментно
Вокруг все живое растет и цветет.

Что это такое? Наверное, счастье —
Вот здесь и сейчас, а не где-то вдали...
И ты понимаешь, что тоже причастен
К загадочной жизни и тайне земли.

* * *

Бежим сквозь заросли малины —
Дорожки к дому нет иной.
Нас ливень начал сечь по спинам,
И гром хохочет за спиной.

А дом-то брошенный и страшный.
Пыль. Паутина по углам.
Открыты двери нараспашку,
Куда ни глянь — повсюду хлам.

Застыл здесь запах запустенья.
Нет шевелящихся теней.

Не знали, видно, эти стены
Ни лучших лет, ни ярких дней.

Пройдет гроза, возьмем поклажу,
Покинем временный приют...
Вернутся призраки и скажут:
— Тут без живых — такой уют!

Этот день

Над землей висит сегодня серый день.
Непрозрачна пелена на небесах.
Даль похожа на зеленый гобелен,
На котором четко вытканы леса.

Здесь над поймой испаряется туман,
Пряным запахом окутаны стога,
И травинки гибко тянутся к ногам.
И мы радуемся собственным шагам.

Не жалеем ни о чем и ни о ком.
Этот день наполнит счастьем целый год.
Мы шагаем по тропинке босиком,
И заманчив каждый новый поворот.

Мы уходим по тропинке за ручьем,
Уносящим полевых цветов венок.
Серый день особым светом освещен,
Потому что он любовь узнать помог.

* * *

Исчезла в дали далекой
Большая монета солнца.
Заплавали над затокой
Туманные волоконца.
Рождая смятенье в лицах,
Не ждавших никак испуга,
Шальная ночная птица
В ольшанике стала ухать.

Струятся тумана плети,
Ползут по затоке старой
Туда, где в закате светел
Обрывистый берег Щары.
Где быстро роса упала
На травы, под наши ноги,
И медленной белой лавой
Туман затопил дорогу.

Рыбацкое

Пока еще не надоело,
Хотя и поза неловка,
Сидеть и злиться то и дело
На неподвижность поплавка.

Перед глазами омут с тиной,
Для карасей — сплошной уют,
Но рыбы совести не имут:
Все не клюют и не клюют.

Сижу и жду.
Надежды тают.
Застыла удочка в руках.
Поклевок нет. Дурная стая
Шныряет мимо червяка.

Пора усесться поудобней.
На травах — капельки росы.
Закат сегодня бесподобен,
Но будешь ли закатом сыт?

Тростник вздохнет, склоняясь туго,
И мир приблизится ко мне,
И красноперка белым брюхом
Сверкнет, играя в глубине.

* * *

Я гляжу, как спешат по тропинке своей муравьи.
Я пытаюсь понять разговор деловитых синиц.
Человечьи проблемы исчезли из мыслей моих.
В книге жизни так много еще неоткрытых страниц...

Я не Бог, не пророк, не знаток комариной судьбы.
Вот сижу и смотрю, как сплетается липкая сеть...

До чего ж хорошо, когда ноги гудят от ходьбы,
Среди жизни в траве хоть десяток минут посидеть.





ЕВГЕНИЙ ГАЛАЙДИН

Письма

Рассказ-воспоминание

— Ребята! Письма!!!

Таким возгласом мы всегда встречали старшину Медведева или ординарца командира роты Банникова, появляющихся в расположении взвода с увесистым вещевым мешком за плечами.

Письма! На передовой, как мне казалось, люди ничего так не ждали, как конца войны и... писем. Но письма не всегда приходили регулярно и вовремя. То передислокация, то что-то где-то разбомбили, то еще что-то, чем так богата фронтовая жизнь, и порой мы подолгу не получали их. Письма скапливались на полевой почте, а потом их приносили в подразделения целыми мешками. Надо отдать должное полевой почте — письма не терялись.

Написанные красивым и некрасивым почерком, неуверенной старческой рукой или детскими каракулями, эти треугольнички были одинаково дороги, они обнадеживали и согревали наши души. На какое-то время, пусть даже очень малое, они отвлекали нас от однообразной суровой действительности и уносили в прошлый, ставший для нас таким далеким, но бесконечно дорогим, мир домашнего уюта.

Полные тревожного ожидания и трогательной заботы письма от матерей, тоскующие и обнадеживающие от жен, цветистые и обещающие от невест и трогательные милой наивной непосредственностью письма от детей.

Все они действовали на нас, как, может быть, действует на измученного обессилевшего путника глоток живительной влаги. Они вселяли надежду и уверенность — там, откуда они пришли, тебя по-прежнему любят и с нетерпением ждут твоего возвращения к родному очагу. Ждет и украдкой молящаяся за тебя мать, и измученная одиночеством и изнуряющей работой жена, ждет своего счастья невеста и с нетерпением ждут своего отца дети.

А дома, пишут они, слава Богу, все хорошо. А если что и плохо, жена не напишет, а если и напишет, это место вымарает цензура. И вымарает такой густой и черной краской, что не прочтешь, как бы ты ни старался.

И только следы упавших на тетрадный листок слезинок иногда невольно выдают ее святую ложь. Нет, она не напишет, как ей от темна до темна приходится работать на колхозном поле и в жару, и в ненастье, или по двенадцать часов стоять за беспрерывно гудящим станком. А дома малые дети. Как их накормить, во что одеть?

Она знает — мужу, там, на этой войне, и так очень тяжело и опасно, и любое его письмо может оказаться последним. Видимо, стало уже традицией русских солдаток — не жаловаться на трудности и на горькую судьбу. Русские солдатки! Кто еще в мире может подать такой пример долготерпения и самоотверженности?

Я читал эти святые письма только потому, что одной из особенностей нашего фронтового бытия было отсутствие тайны переписки. Во взводе. Сначала, конечно, письмо читал адресат, потом его мог читать самый близкий товарищ адресата, а иногда письмо читалось вслух для всего взвода. Скрывать было нечего и не от кого. Даже Коновалов давал читать письма своей девушки. Читали, очень серьезно обсуждали и приходили к выводу: Валя пишет разумно, и после войны Володьке, если останется жив, не придется искать невесту. Она уже есть. И Коновалов воспринимал сей приговор как должное. И что характерно, какая бы интимность в письме ни встречалась, никто не позволял себе даже намекнуть на двусмысленность.

На передовой долго маскироваться не будешь, каким бы ты ни был артистом в жизни. Смертельная опасность моментально сорвет с любого маску. Люди, пребывающие в опасности, в конце концов душевно самоочищаются от всякой фальши, от ненужных условностей, стремятся обрести моральную поддержку друг у друга. Быть может, эта душевная обнаженность и опасность и обуславливает доверие друг к другу. Когда все знают, кто есть кто, скрывать нечего.

Вот почему письма не только читались, но обсуждались. Иногда это делалось для того, чтобы посоветовать приславшей матери или жене добиться чего-то в колхозе или на производстве. Как поступить с сыном, который уже окончил семь классов? Работать или учиться дальше? А иногда обсуждали только потому, что хотелось продлить наше пребывание в мире дорогого нам прошлого.

Но приходили и такие письма, которые читали только вслух, но никогда не обсуждали. Это письма от тех, кому из военкомата приходила страшная бумажка, в которой было написано: «...Пал смертью храбрых...» Мы называли эти извещения похоронками.

Не было случая, чтобы после гибели кого-то во взводе нам не написали его мать или жена, отец или сестра. Эти письма приходили, и в них родные просили описать все подробно. При каких обстоятельствах погиб, что говорил перед смертью, где похоронен. И в каждом таком письме сквозь строки сквозило: а может быть, похоронка — ошибка? Может быть, сын жив? Быть может, погиб однофамилец? Может быть, в части ошиблись? Мать написала, что гадалка ей ворожила и утверждает: ее сын жив и похоронка пришла по ошибке.

Мы знали — не ошибка это, и писали подробное письмо. Мы отвечали, а письма приходили снова. Там, откуда они приходили, все еще не верили в гибель самого для них дорогого человека. Там все еще продолжали верить в ошибку и продолжали спрашивать. И мы отвечали на это горькой обнаженной правдой. Особенно было тяжело описывать подробности гибели. Кто ее знает, может быть, завтра придется писать такие же подробности о любом из нас.

С родины погибшего, в большинстве своем, прекращали писать тогда, когда получали фотографии и письма погибшего. Но это не всегда удавалось.

Иногда, правда, очень редко, нам приносили письма другого рода. Это были отпечатанные на машинке листки со многими подписями. Это были письма от каких-нибудь организаций или учащихся. Просили нас крепче бить фашистов, а они ответят на это ударным трудом и отличной учебой. Дальше перечислялись их достижения, в том числе — сколько они отработали в фонд обороны и сколько собрали денег на танк. Мы вполне серьезно относились и к этим письмам, но нас они почему-то меньше тревожили и волновали, чем письма от семей погибших. Может быть, потому, что об этом писали в каждой газете, или потому, что они были написаны по-газетному. Дети не могли написать так чисто, так грамотно и так практично...

Письма!!! Банников стоит у мешка и, улыбаясь, вытирает пилоткой лоб. Мы немедленно окружаем его. Но никто не лезет к мешку, никто не суетится: здесь даже получение писем — твердо установленный ритуал. Письма из мешка вытряхиваются на плащ-палатку. Банников и кто-нибудь из добровольных помощников берут треугольники по порядку и выкрикивают фамилии адресатов. Мы так поступаем всегда, когда письма приходят после долгого перерыва. Вызванный берет письмо и остается на месте: возможно, будет и второе. Не может быть, чтобы за три недели ему написали только одно письмо.

— Коновалов! — Володя подходит и с улыбкой принимает первый треугольник. Он твердо знает: его вызовут еще несколько раз. — Еще — Коновалов!

— Сколько же ему будет писем?

— Штук двенадцать, должно быть, — уверенно отвечает он.

И действительно, на этот раз ему пришло одиннадцать писем от Вали и три от мамы.

— Красильников!

Приземистый, круглолицый уралец на этот раз получил всего пять писем. Четыре от жены и одно от дочери. Коновалов и Красильников получают больше всех. Один от жены, другой от невесты.

— Митька, — спрашивает Красильникова Ильичев, — кем твоя жена работает и где?

— В колхозе.

— Кем?

— Куда пошлют. Знаешь, поди.

— И так часто пишет, — крутит головой Ильичев, — и дочка уже на выданье, и тоже находит время написать отцу.

Ильичев у нас единственный человек, кто называет всех только по именам. Каждый раз он становится в первых рядах ожидающих, и я вижу, с какой завистью он смотрит на получивших письма.

— Симаков!

Симаков неловко подходит к Банникову. Они земляки, и письма Симакова уже отобраны и связаны.

— Тебе, Иваныч, целых два от Карповны и одно от сынка.

— Вот же поганец, вот же лайдачина, — счастливо улыбаясь, шепчет Симаков. — У матушки, вишь, времени больше. Ну, Петяшка...

Он протискивается из круга и садится под куст. И тут Симаков не спешит. Он раскладывает письма по срокам их отправки, для чего внимательно просматривает штемпеля. Потом бережно открывает каждое из них, читает. Читает долго, потом еще дольше думает над каждым из них.

Коновалов пристроился рядом. Он читает быстро, нетерпеливо. Прочитав письмо, хватается за другое, потом перечитывает уже прочитанное.

— Володя, ты хоть раз прочитал мамино письмо раньше Валиного?

Коновалов недоуменно смотрит на Пантелеева и молчит.

— Ты, сынок, на меня не обижайся. Это я молодость свою вспомнил, посмотрев, как ты читаешь письма. Точно такой же вопрос мне был задан еще в шестнадцатом году, и тоже на фронте. Значит, время идет, а человеческая душа мало меняется. Так, значит, надо, чтобы одна родила и вырастила, а другая управляла, только потому, что люба стала. Природой, значит, так заказано.

— Смотря какой муж. А то науправляет…

— А какой бы ни был. Женишься, даст бог, узнаешь.

— Войну бы кончить, а потом уж и о женитьбе думать.

— Война, она сама кончится. Об этом думать не надо. Кому на носу зарублено жениться после нее, никакой снаряд, никакая пуля не возьмет. И думать об этом не надо. Ну, читай, читай. Не буду мешать.

Пантелеев отошел от Коновалова. Этот пожилой человек очень переживал за свою семью, оказавшуюся в оккупации на Смоленщине. Иногда Пантелеев не выдерживал и рассказывал о своих внуках, говорил, что часто видит их во сне. И все мы понимали, раздача писем — дополнительная соль на его мучительно болящую душевную рану. Ему давали читать письма, но после этого он становился неразговорчивым, замкнутым. Помочь ему мы не могли ничем.

— Попов! Попов — раз. Попов — два. Попов — три. Отваливай!

Пантелеев и Ильичев жадно смотрят на оставшиеся на плащ-палатке треугольнички, как будто ожидая чуда. А вдруг Банников крикнет:

— Пантелеев! Ильичев!

Но Банников продолжает выкрикивать другие фамилии. Знакомые, но не их. А кучка писем катастрофически уменьшается...

Вдруг выкрикивают мою фамилию. Я даже растерялся. Беру письмо. Обратный адрес — Томск.

Месяц тому назад мне вручили фронтовую посылку. Посылка как посылка. Теплые носки, кисет и четвертинка водки. Такие посылки приходили часто от совершенно незнакомых людей, и мы всегда благодарили их за эти скромные подарки. Но в этой посылке было коротенькое письмо-просьба: вручить посылку самому молодому командиру в части. А поскольку таким оказался я, мне ее и вручили. В тот же день я написал коротенькое письмо девушке, выславшей посылку. Я поблагодарил ее за посылку и сообщил, что посылка была вручена самому молодому командиру. Написал и не то чтобы забыл об этом письме, а не придал ему никакого значения.

И вдруг — ответ. Первое письмо за пятнадцать месяцев. Не захочешь, а растеряешься, как говорят.

Почерк округлый, пишет грамотно, и что мне нравится — сдержанность и ясность изложения. Она учится и работает. Ее брат тоже на фронте. Благодарит за письмо и довольна, что командиры выполнили ее просьбу. Мне пожелала возвратиться домой с победой. И все. И письмо как письмо, от незнакомого человека. И все же я в душе благодарен ей. Мне хочется за этими строками разглядеть ее лицо, ее намерения, ее мечты. Кто же она?

По такой же причине получил письмо и Титов. В письме вопрос ставился прямо — женат ли?

— Я бы ответил хорошим письмом ей, — Алексей возвращает мне письмо из Томска, — сразу видно — девушка серьезная.

— Напишу. Все равно писать некому. А ты будешь писать ответ?

— Честно говоря, не хочется.

— Напиши, что женат и имеешь двоих детей.

— Идея. Отмалчиваться неудобно.

— А врать удобно?

— В таком случае лучше соврать. Все же не обидишь.

— Курянков! Два.

Курянков водит пальцем по листку и блаженно улыбается. Пришло письмо от трехлетнего сынка. Весь листок был исчерчен карандашом, а внизу приписка жены: писано тогда-то и то-то. Отец долго рассматривал это письмо, показывал его другим, а потом бережно сложил, вложил в красноармейскую книжку и сунул в нагрудный карман гимнастерки.

— Что, Петро, вместо талисмана?

— Не говори...

— Мамедов! — Спохватившись, Банников виновато смотрит вокруг и бережно откладывает письмо в сторону.

— Давай мне, — говорит Курянков, — я все отпишу.

Письмо опоздало на двое суток. Хаким погиб при минометном налете. Злым шмелем осколок впился в грудь. Хаким что-то хотел сказать, но кровь хлынула горлом, и через несколько секунд его глаза остановились. Все письма, фотографию жены с маленьким сыном мы отправили в штаб для пересылки домой.

Во взводе все хорошо знают друг друга, при случае делятся впечатлениями, новостями, хотя их мало и приходят редко, делятся заботами и радостями. И все же у каждого есть еще свой самый близкий друг, с которым можно говорить о чем угодно. Таким другом у Хакима был Курянков. Они и спали вместе, ели из одного котелка, как говорят. Вот почему Курянков взял письмо жены Хакима. Он исполнит последнюю волю погибшего. Так уж повелось — гибнет друг, живой все подробно описывает родным.

— Малкан!

Устин спокойно подходит, берет письмо и сразу же отходит. Он знает — второго письма не будет. Получает он письма редко и считает — этого достаточно. Он никак не может понять одного: зачем люди так часто и так много пишут в письмах. Раз сказанное он считает достаточным чуть ли не на всю жизнь. И пишет он всего половину странички крупными полупечатными буквами. Отвечает ему сын, который учился в фактории.

— Зачем много писать? — рассуждает Устин. — Война кончай, домой ходи и все говори. Много говори.

— Елагин!

— Только одно? — удивляется Елагин. — Уж не случилось ли чего?

— Придет еще. Случилось, случилось...

Кто читает, кто разговаривает, и только Ильичев как-то затравленно поглядывает вокруг себя. О чем он думает? Что вспоминает? Конечно же, вспоминает жену, детей, свой дом, если он сохранился вместе с семьей. Он видел, что делают немцы на занятой ими территории.

А остальные где-то далеко и тоже в родных местах. Кто в Вологодчине, кто на Урале, кто в Сибири, на Тамбовщине. Кто где...

— Что же это такое?! Братцы!!! — Елагин швырнул листок в сторону и вскочил на ноги. Лицо его вытянулось и посерело.

— Что случилось?!

— Умер кто?!

— Убили?!

— Стер-р-ва!!! Писать такое!.. Елагин в изнеможении опускается на землю и обхватывает руками голову. — Что ж ты наделала...

Мы читаем это письмо-отраву. Да, таких писем еще никто в роте не получал, и лютому врагу не пожелаешь получить такую чуму. Еще совсем недавно, в предыдущем письме жена Елагина писала, что ей тяжело, приходится много работать, но она понимает — все это временно и наступит тот день, когда ее Коленька возвратится домой и все невзгоды кончатся. Что она очень скучает по нему и дети ждут отца домой. И вдруг такой удар. Из-за угла: «...Я нашла себе человека и жду от него ребенка», — читает вслух Титов и поглядывает на Елагина. Тот только кивнул — читай, мол, дальше. «...Ничего больше нас не связывает. Мой муж позаботится о моих детях. Он усыновит их...» При этих словах Елагин снова вскочил на ноги:

— Гнида! Если приду, я ему усыновлю!..

— А ты его знаешь?

— А как же. Еще в школу вместе ходили.

— А почему он дома?

— От роду хромой. Ну и присосался к торговле. И мужичишко-то, соплей перебить можно. А вот поди ж ты...

— Сука она подзаборная, — зло плюнул Катаев.

— Однако, шибко дурной баба, — Устин взял из рук Титова письмо, зачем-то покрутил его в руках и отдал обратно, — совсем хромой голова. Худой мужик ходи дурной баба, детишка дурной роди. Никола, война кончай, хороший баба бери. Дети приди тебе, Николо.

Это была самая длинная тирада, произнесенная Устином за все время пребывания во взводе. Выговорившись, он тут же закурил свою трубочку. Впервые мы видели Устина таким взволнованным.

— Коля, — Ильичев положил руку на плечо Елагина, — дети останутся твоими детьми, а эту стерву ты из головы выбрось. Дети будут гордиться тобой и придут к тебе. Может быть, и лучше, что все проявилось сейчас, а то бы и после войны грел змею подколодную, суку подзаборную. А эту тыловую гниду... Он что, вдовец, холост?

— Женат, и дети есть, — тихо отвечает Елагин, — двое или трое, а теперь, может, и четверо.

— Сколько бы их ни было, а потерял он их... И чужих не найдет...

— Тяжко мне. Ох, как тяжко, ребята... Как обухом, — глаза его наполнились слезами, — дети... Сашка уже в четвертом, а младший во втором и... — он не договорил и, обхватив голову руками, зарыдал. Неудержимо, трясясь всем телом. Это было настолько неожиданно для нас, что мы как завороженные смотрели на рыдавшего и молчали. В эту минуту было такое чувство, как будто каждый из нас наступил на что-то неприятное, гадкое. Как будто все мы были виноваты в случившемся. Все молчали. Было жалко смотреть на Елагина и в то же время неприятно за этого с виду сильного тридцатипятилетнего мужика, рыдавшего, как маленький ребенок. Эта слабость показалась мне совершенно неуместной здесь, где в любую минуту могло случиться с каждым из нас непоправимое...

— Елагин! Прекратите!

Но он совершенно не реагировал на мои слова. Быть может, он даже не услышал их. В этом состоянии, а это было состояние почти прострации, как я тут же понял, он не мог ничего ни слышать, ни понимать. Но многие после моего окрика еще ниже опустили головы.

— Пусть плачет, командир, пусть, — шепнул мне Титов.

— Пусть плачет, — согласился я, поняв свою ошибку.

— Оно, товарищ лейтенант, само пройдет, — Катаев даже привстал от возбуждения, — дело такое. Накопилось у человека, а тут больно ударили. Вот и выливается. Тут не только жена и дети.

— А что? Что-нибудь еще?

— А как же, товарищ лейтенант. И жизнь без семьи, и думки о детях, и бессонные ночи, и... На нейтралке, когда от страха потом обливаешься, — разве все это даром проходит? Оно вроде как на весах. И груз большой, а не тянет, а подкинь грамм — и перетянет. А тут подкинули такое, что и сломаться можно. Пусть плачет. Со слезами часть горя исходит. После слез, все говорят, легче.

— Пусть.

А Елагин уже не рыдал. Он только вздрагивал всем телом и отрешенно смотрел в одну точку.

— Ну что, боец, прошло?

— Не знаю... Так больно ударить, и за что? — лицо его вновь стало кривиться.

— Ну-ну, Микола, негоже.

— Успокойся, посиди без думок и пройдет.

— Если бы можно было без думок, — Елагин горько усмехнулся.

— Можно, — не унимался Катаев. — Ты об одном подумай, потом вспомни другое. Когда мысли прыгают — легче. Вроде как у дурачка.

— Ну, ты скажешь...

— Я знаю, потому и говорю.

— Эх, сюда бы его, злодея постельного. Посидели бы рядком да поговорили бы ладком. — Симаков покрутил своими огромными кулачищами. — Ты, Коля, напиши ей так: ты, стерва, можешь выходить замуж хоть каждый день, а детей не замай! Дети уже не твои...

— Если бы не дети, Вася...

— Дети вырастут и все поймут. Ты только... Того... Держись. Все перемелется. Все мукой будет.

— Товарищ лейтенант, а может, попробовать ему отпуск выхлопотать?

— Только не сейчас.

— Ни в коем разе, — поддержал меня Титов, — он же такое может натворить, что никакой шапкой не закроешь.

— И то правда.

— Когда перегорит, можно попробовать?

— Вряд ли это выйдет. Еще ни одному красноармейцу отпуск с передовой не давали. Дело это дохлое, и нечего о нем говорить.

— А стерва она законченная. Это ж надо было додуматься послать сюда такую чуму. Такое может сделать только очень мстительный и паскудный человек.

— А это письмо сохрани.

— Зачем? Не хватало еще эту вонючку носить под сердцем.

— Тогда напиши ответ.

— Пока не могу. Может, вы напишете?

И мы написали. Это было единственное письмо, которое мы писали всем взводом.

И все равно тяжесть с души снята не была. Вроде бы случилось несчастье у Елагина, а мы все чувствовали, как будто между нами пробежала черная кошка. Никто никому не дал прочесть письма, никто ни с кем не поделился ни своими радостями, ни горестями. Как будто мы стали чужими.



Великой Победе верны

Юбилей… Даже не верится, что литературному объединению «Доблесть» при Центральном Доме офицеров — 60! Эта «учебка», созданная в свое время по инициативе Народного писателя Беларуси Ивана Мележа для начинающих литераторов, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, вот уже не одно десятилетие плодотворно трудится на ниве военной литературы. Курсантами «Доблести» были многие писатели-фронтовики, среди них — замечательный прозаик Николай Круговых и известный поэт-песенник Михаил Ясень. По «путевке» «Доблести» были приняты в Союз писателей Беларуси — генералы Юрий Иванов и Михаил Токарев, полковники в отставке Николай Иванов, Леонид Лукша и Вячеслав Варламов.

Члены литобъединения ежемесячно собираются в читальном зале Центральной библиотеки ЦДО, читают и обсуждают свои произведения, знакомят со своими новыми книгами, встречаются с именитыми писателями.

Евгений КОРШУКОВ,
руководитель Военно-художественной
студии писателей.

АНДРЕЙ БОКЗА

Гость

Ветеран приехал в часть,
Где служил когда-то, —
Жить по-взрослому учась
В качестве солдата.
Простенькое пальтецо
Да рука на трости.
Только светится лицо —
Он приехал в гости.
— Вам кого? — на КПП
Уточнил помощник.
Старичок оторопел:

— А к кому тут можно?..
Пропустили. На этаж.
Был там до отбоя.
Память — прослезился аж –
Унесла с собою.
Побывал среди солдат,
Молодежи нашей,
Скинул лет так пятьдесят,
Угостился кашей.
Вышел ветеран за дверь,
Да повел он бровью:
«Буду к ним ходить теперь
Поправлять здоровье».

НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

Полоцкие кадеты

Полоцкий кадетский корпус за время своего
существования с 1835 по 1913 гг. дал образование
и воспитание 3000 офицерам, покрывшим
себя ратной славой на полях сражений.

Над Двиною в начале лета
Соловьиные трели вновь.
Ходят полоцкие кадеты
Средь могучих седых дубов.

В них бурлит молодая радость
И дыханье самой весны,
Они знают: и к генералам
Прилетят, словно птицы, сны —

Про старинный и вечный город,
Что учил их любить свой край,
Помнить и доброту, и горе,
Их хватило здесь через край.

Чтоб идти сквозь беду и бурю,
И в огне, и в седой пыли,
Стать героями Порт-Артура,
Сыновьями родной земли.

Они в памяти вновь живые,
Тут и песня о них, и стих,
Там, где башни святой Софии
Вдохновляли на подвиг их.

Перевод с белорусского автора.

* * *

Над обелиском — птиц полет,
Жизнь вновь над смертью торжествует.
И память светлую, святую
Несет с букетами народ.

И аисты приносят вновь
Сыночков и дочушек в хаты.
За них сражались здесь солдаты,
Что спят в объятиях цветов.

Перевод с белорусского автора.

СЕРГЕЙ ЗАКЛАДНЫЙ

Призвание

Городок среди берез и сосен
Дорог в жизни каждому из нас.
Повстречал здесь кто-то свою осень
И влюбился, может, в первый раз!

Каждый здесь нашел свое призванье
В трудных ратных буднях и делах.
Спросят нас: «Где служите, славяне?»
Мы ответим с гордостью: «В Печах!»

Полигоны, стрельбища, тревоги,
В расставаниях мятежный сон.
Где бы ни был, все ведут дороги
В Печи — наш любимый гарнизон!

Сами жизнь мы выбрали такую,
Посвятив профессии одной:
Защищать свою страну родную,
Охранять, беречь ее покой!

И враги чтоб тронуть не посмели,
Заслоним от нечисти и зла.
Ведь у нас нет благородней цели —
Беларусь чтоб крепла и цвела!

* * *

Все в суете, в безудержной все спешке
Мучительно безрадостные дни.
Напрасно жду я от друзей поддержки,
Подножку не поставили б они.

О помощи я их просить не стану,
Не протяну за подаяньем длань.
Я с ними отдаю лишь дань стакану,
А мне отдать бы памяти всей дань.

Хотя б на миг в ушедшее вернуться,
На три десятка лет помолодеть.
И в музыку живую окунуться,
Оркестра нашей молодости медь...

Я знаю, это — просто ностальгия
И горьким не унять ее вином.
И мы теперь совсем не те, другие —
Мальчишки, в измерении ином.

ТАМАРА ЗАЛЕССКАЯ

Встреча

Воскресенье. Армейский клуб.
Новобранцы сидят в бушлатах.
К ним поэты сейчас придут,
Почитают стихи ребятам.

В зале — сотни серьезных глаз.
Ветеран говорит, волнуясь:
«Вот таким же, как вы сейчас,
Молодым ушел на войну я.

Что вы знаете о войне?
Кинофильмы, музеи, память...
А она до сих пор во мне —
Кровью, взрывами, голосами.

Мы должны были победить,
Нас любимые ждали дома.
Вам спокойней сегодня жить,
Ну а служба — она ненадолго».

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Страницы летописи войны

Был в те дни мотив тревоги.
Но как будто мир тогда оглох.
Вопреки всему
ведь многих
Первый день войны застал врасплох.

Отступали от границы
До Днепра,
до Западной Двины.
Черные вплелись страницы
В летопись чудовищной войны.

Память с Буйничского поля
Всколыхнула прошлое опять,
Где стояла насмерть воля —
Не было приказа отступать.
Память стонет в сердце болью.
Рвы, траншеи...
Лемехом войны
Перепаханное поле
Вмиг зерном засеяно стальным.

Приднепровская полоска.
Правый берег.
В поле, у реки,
Полыхали ржи колосья,
Из огня глазели васильки.

Дальний рокот канонады,
А вблизи —
зловещий посвист пуль.
Могилев в кольце блокады.
В знойной дымке плавился июль...

Братская могила

Голубеет купол неба.
Вербы рано зацвели.
Обнажились из-под снега
шрамы раненой земли.

Вдоль глухой опушки леса
извивается змеей
под березовым навесом
след траншеи фронтовой.

В сорок первом это было...
Дожила до наших дней
безымянная могила
в битве павших сыновей.

Перед нами — та же местность,
светит солнце, как тогда,
только подвиг в неизвестность
смыла вешняя вода.

Кто остался здесь и сколько?
Звезды тайну стерегут...
По стволу березы горько
слезы ржавые текут.

ЕВГЕНИЙ КОРШУКОВ

Вера

Всю жизнь свою от «А» до «Я» измерил:
Не избежал я горестных потерь...
Я так в страну свою большую верил,
Да нет ее, большой страны, теперь.

В беде был стоек,
Не стенал, не охал.
За правду и сегодня поборюсь.
Сурова и жестока к нам эпоха,
Но я, как прежде, верю в Беларусь!

Май 45-го

Военный май... Все ближе к лету.
Уже цветет колхозный сад.
А мы бежим: и стар и млад,
Бежим на митинг к сельсовету.

Там речь торжественно звучала...
Но помнятся три слова мне:
— Товарищи! Конец войне...
Был день — всех мирных дней начало.

Сны

Может быть, и удивят кого-то
Эти непридуманные сны:
До сих пор ты снишься мне, пехота
Самых первых, страшных дней войны.
По шоссе, что с деревенькой рядом,
Шли и шли усталые бойцы.
Провожал я их печальным взглядом,
Словно были все мои отцы.
Мое сердце горестно сжималось...
Не случайно память ворошу:
К тем израненным солдатам жалость
И сегодня я в душе ношу.

Семейная реликвия

Его храним мы много-много лет,
К нему не потеряем интереса:
Простой кусочек рваного железа
Принес отец с войны, как амулет.

Тот час сражений так уже далек!
Отцовская судьба —
Не Божья ли награда?
Осколок от немецкого снаряда
За малым не попал ему в висок...

ЛЕОНИД ЛУКША

Слово ветеранов

Солдатское емкое «Есть!»
Звучит, как начало успеха,
Как символ победы... Как эхо —
Слились в нем зов сердца и честь.

И если прикажет страна,
Мы снова наденем погоны.
И станем железно в колонны —
Как раньше, как в те времена...

Как прежде, ответим мы: «Есть!»
Пусть ноют военные раны...
Кому-то нелишне учесть —
На страже стоят ветераны.

МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ

В Печах

Отбивая шаг, прошли солдаты,
Все стройны, красивы как один.
Вслед гляжу... И счастлив: ведь когда-то
Здесь и мой служил-учился сын.

В этой школе мужества и жизни
Он взрослел и волею крепчал.
Беларуси – дорогой Отчизне
Он на верность гордо присягал…

Я иду и всматриваюсь в лица.
Возле стелы памятной стою...
Рядом с ней березам не грустится —
И они прописаны в строю.

На душе заметно потеплело...
Здесь во всем за многие года
Время навсегда запечатлело
Беззаветность ратного труда.

Городок окутывает вечер
Чуткою, звенящей синевой.
Мой поклон вам благодарный, Печи, —
Школа нашей Славы боевой.

Вечер на заставе

У заставы березы шумят,
Где проходит державы граница.
Не по возрасту здесь у солдат
И строги, и задумчивы лица.

Здесь в жестоких кровавых боях
В сорок первом погибла застава...
Помнит Родина о сыновьях,
Никогда не увянет их слава.

Эту память высокую тут
Берегут благодарно и свято
Те, кто службу сегодня несут, —
Молодые такие ребята.

Как минута молчанья грустна
У плиты с именами героев...
В этот час на солдатских устах
Каждый клятву немую откроет.

В этой клятве я слышу душой
Верность долгу и память живую,
Что звенит и звенит тишиной,
Отдаляющей боль огневую.

Пограничный уходит наряд,
В небе — яркие, чистые зори...
Спит родная страна, но не спят
Пограничники наши в дозоре.

ВАЛЕНТИНА ПОЛИКАНИНА

* * *

Нынче, сын, День Победы мы встретим с тобой
На высотке, у братской могилы.
Это поле распахано было войной
И засеяно пулями было.

Ты пойми это поле, как дед понимал,
Как слезою и я понимаю:
Раньше пыль бедовую здесь смерч поднимал,
А теперь здесь трава горевая.

Мы пройдемся с тобою по краю межи
Да погладим те травы рукою.
Это поле — длиною в солдатскую жизнь,
И в солдатскую жизнь — шириною.

НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ

Ракетчики

Глядят в просторы дальние
Суровые ракеты.
Стоят у края Родины
На страже тишины.
Мы слушаем внимательно
Биение планеты
И мирное дыхание,
И пульс родной страны.

Дни службы не забудутся,
Не сгладятся годами,
И мы шагаем ротою
И весело поем.
Свети нам, солнце яркое,
Сияй, звени над нами,
Над белыми березками,
Где милый отчий дом.

МАТВЕЙ РЕЙЗИН

Жене офицера

Жена офицера. Ведь это непросто.
Не каждой под силу подобная ноша.
Ведь это труднее, пожалуй, раз во сто,
Чем просто женою быть, даже хорошей.

Расставшись всерьез со своими мечтами,
Сменив городскую прописку на пропуск,
Ты с мужем идешь войсковыми путями,
И только в мечтах и пригрезится отпуск.

Ты рядом идешь, как бы ни было тяжко,
С любимым ты даже встаешь по тревоге —
Подать поскорее шинель и фуражку
И, если успеешь, обнять на пороге.

Ты все испытаешь. Но ты не страшись
Ни радости встреч, ни разлуки ненастья.
Все это и есть настоящая жизнь
И, трудное пусть, но огромное счастье.

МИХАИЛ ТОКАРЕВ

Прямой дорогой

Что гибель нам?
Мы даже смерти
Выше.

Николай Майоров

О чем грустишь,
Товарищ политрук?
Вновь до утра
Умолкли пулеметы.
Ракета чертит четкий
Полукруг,
И замерли
В сырых окопах
Роты.
К чему слова о долге,
О судьбе?
Что гибель нам?
Мы даже смерти
Выше.
Кто жизнь провел
В горенье и борьбе,
Тот только долгом
И живет, и дышит.
И, навсегда покинув
Отчий кров,
Охваченный вселенскою
Тревогой,
От хлебородных пашен
И станков,
От школьных парт
И от своих стихов
На смертный бой
Мы шли
Прямой дорогой.

НИКОЛАЙ ШАШКОВ

Признание

Моим признаньям нет упрека.
Служил, как долг повелевал:
сухой паек тянул — до срока,
и в марш-бросках не отставал.
Твердил уставы, шел в наряды,
не раз ходил в учебный бой...
И было высшею наградой —
сияли звезды надо мной.

Моим признаньям нет предела.
Извечен мир. Всесилен род.
Служили прадеды и деды,
взгляну на небо — столько звезд.
Отцы служили, и над ними,
(о том не ведали они),
едва для глаза уловимо,
рождались новые огни.

Моим признаньям нет забвенья,
как нет случайных в небе звезд...
Пусть чаще встречный ветер веет,
светлее будет небосвод.
И, ясных дат не забывая,
за этот свет — на том стою —
я вечно звездам присягаю,
я славлю армию мою!

МИХАИЛ ЯСЕНЬ

Кровью сердца

Не сочинял я ни стихов, ни песен,
Когда судьба свела меня с войной,
Где среди мхов, болот и рыжих сосен
Я стыл в окопе раннею весной.

Визжали мины... Бухали снаряды...
Свистели пули, взбив песок у ног,
И не до песен было мне, солдату, –
Я шел сквозь вьюги огненных дорог.

Но сердце я держал всегда открытым
Своим веселым фронтовым друзьям,
И мирным песням, с детства не забытым,
И милым чистым девичьим глазам.

Снега скрипели, и метели пели,
И на столбах гудели провода,

И эшелоны на фронты летели
Со мной по жизни этой сквозь года.

Но день настал, когда войны все звуки,
Все образы ее, что я встречал,
Собрались вместе... Взял перо я в руку
И кровью сердца песню написал.

...И снова снились ночи фронтовые.
Траншеи в соснах... Талая вода...
Там цену жизни я постиг впервые.
И это не забыть мне никогда!..

От Москвы до Берлина

От Москвы до Берлина
Обелиски стоят.
Путь к Победе был длинным
У советских солдат.
Дули ветры шальные
На бескрайних полях.
Шли бойцы молодые
Сквозь огонь, смерть и страх.
День и ночь,
День и ночь
Сквозь огонь, смерть и страх.

Шли бойцы молодые
Сквозь огонь, смерть и страх.
Вслед глядела Россия —
Избы в синих снегах.
Вслед глядела и знала:
Скоро грянет весна.
А вокруг полыхала,
Грохотала война.
День и ночь,
День и ночь
Грохотала война.

А вокруг полыхала,
Грохотала война,
Молодых не считала,
Что убила она.
Список скорбный и длинный
Наших павших солдат.
От Москвы до Берлина
Обелиски стоят.
День и ночь,
День и ночь
Обелиски стоят!



ДЖО АЛЕКС

Скажу вам, как погиб он

Роман

От переводчика

Джо Алекс (Мацей Сломчински, 1920—1998) — англист, профессор Краковского университета, человек, который перевел на польский язык всего Шекспира. А кроме того, произведения Мильтона, Марлоу, Киплинга, Свифта, Стивенсона, а еще — Джойса. Джойс писал «Улисса» семь лет. Сломчински переводил «Улисса» четырнадцать. Профессиональные литературные переводчики знают, что значит переводить Джойса. Существует всемирный клуб переводчиков Джойса. Там только асы. Мацей Сломчински был одним из них.

Впрочем, он был асом во всем. В том числе и в буквальном, первоначальном смысле этого слова. Во время Второй мировой войны он был пилотом-асом RAF и сбивал над Ла-Маншем фашистские самолеты, пока сам не был сбит.

— Я болел лишь один раз в жизни, — говорил мне в 1996 году этот стройный 75-летний мужчина, попивая коньяк и покуривая трубку, с которой был неразлучен, — это произошло после того, как, выпрыгнув с парашютом из сбитого самолета поздней осенью, я целые сутки проболтался в Ла-Манше, прежде чем меня выловили. Но не подумайте, что я простудился, — Боже упаси! Просто этот чертов фашист прострелил мне легкое.

Когда в начале 60-х годов в тогдашней ПНР появились первые романы, автором которых значился некий английский писатель Джо Алекс, литератор и эксперт Скотленд-Ярда, сначала помогающий своему другу инспектору Бену Паркеру раскрывать загадочные и таинственные убийства, а затем подробно описывающий в своих произведениях ход и метод их раскрытия, невозможно было поверить, что их автор не коренной англичанин.

Великолепный, тонкий знаток английской культуры и литературы, профессор Мацей Сломчински, кавалер Ордена Возрождения Польши, даже отдыхая в промежутках между переводами классиков, снова показал себя асом.

Под псевдонимом «Джо Алекс» он написал серию замечательных, чисто английских криминальных романов, которых не постыдились бы ни Конан Дойл, ни Агата Кристи. В подтверждение этого достаточно лишь одного факта: Скотленд-Ярд дважды награждал Мацея Сломчинского медалями за выдающуюся литературную деятельность в области криминального жанра.

Роберт СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ

Клитемнестра:

И вот стою я перед вами.
Исполнено деяние мое!
Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен.
Теперь открыто и бесстрашно скажу вам, как погиб он.
Сперва я плотной тканью укутала его, как сетью,
чтобы не смог он избежать удара иль уклониться от него.
Затем ударила подряд два раза, а он, два раза вскрикнув,
упал и сразу умер. И вот тогда, когда лежал он,
а жизнь уже покинула его, я третий нанесла удар —
священный, жертвенный, в благодаренье Зевсу,
властителю в подземном царстве мертвых...
Так пал он и погиб, а через рот открытый
душа его из тела устремилась с потоком крови
настолько сильным и могучим,
что окропил меня он
с ног до головы, подобно черному дождю.
И тут внезапно испытала я неслыханное наслажденье,
сродни тому, что чувствует иссохшая земля во время ливня,
когда во чреве ее разбухают
готовые ко всходам семена...

Эсхил. «Орестея».

I. Перед поднятием занавеса

В тот день Джо Алексу исполнилось тридцать пять лет, но он никому не сказал об этом, и даже сам чуть не забыл. Утром, взглянув на календарь, он припомнил дни детства, торт, в котором ежегодно прибавлялась одна новая свеча, лица родителей, расплывчатые очертания подарков, а потом внезапно сверкнуло яркое воспоминание о том дне, когда, подлетая над облаками к пылавшему внизу немецкому городу, он увидел под солнцем тень истребителя с крестами на крыльях и подумал, что сегодня у него день рождения и что через минуту он может погибнуть как раз в годовщину того дня, когда появился на свет. Но это было много лет назад. С тех пор Джо Алекс давно избегал размышлений обо всех личных праздниках. Он остался один во всем мире, и ничто не указывало на то, что это положение вещей могло бы когда-нибудь измениться. Тем более сегодня.

Он невольно глянул на полку камина. Там, на подносе, лежали два билета в театр, помеченные сегодняшней датой. Он хотел пойти с Каролиной на постановку «Макбета». А хотел он этого по двум причинам. Во-первых, с некоторых пор он почувствовал, что его симпатия к ней ослабевает. Они познакомились давно, даже, быть может, слишком давно. Каролина была умной и красивой. Джо знал, что он ей не совсем безразличен. Впервые она посетила его квартиру около года назад. Потом они провели вместе неделю у моря в Брайтоне. Узы, которые их связывали, были хрупкими, слабыми, и возможно, именно поэтому никто из них не стремился их разорвать. Некоторое время им даже было хорошо вдвоем. Джо, находясь уже в том возрасте, когда инстинкт начинает подсказывать человеку, что пора бы ему, пожалуй, отыскать себе подругу жизни, даже подумывал как-то пару раз мимолетно, что если бы он захотел жениться, такая девушка, как Каролина, очень бы ему подошла. Уютный, чистый дом, красивая, сдержанная хозяйка этого дома, спокойный, ровный жизненный путь. Да, но было, пожалуй, еще кое-что, чего он никогда в жизни пока не испытывал. Любовь. А Каролину он не любил и считал, что если когда-нибудь ее и полюбит, то для этого впереди еще много времени и возможностей.

Тем не менее, когда в последнее время Джо стал ощущать, что отдаляется от нее все больше, он вдруг осознал, что это его беспокоит. Одновременно он знал, что стоило бы ему лишь захотеть, стоило бы лишь заставить себя поверить, что он и в самом деле не хочет ее потерять, — она бы осталась. Но он не умел вызвать в себе это чувство. Он прибегал к полумерам. И то, что он отправил Каролине открытку с приглашением на сегодняшний вечер в театр, как раз такой полумерой и являлось. Быть может, в этой открытке, среди вежливых общепринятых слов, должен был бы где-то затаиться восклицательный знак или даже просто подчеркнутая строка. Но Джо не сумел этого сделать. Поэтому он стоял теперь одетый и готовый к выходу, грустный, но одновременно с каким-то непонятным чувством облегчения. Если Каролина не позвонит, значит, наверно, она не позвонит уже больше никогда.

Второй причиной сегодняшнего намерения пойти в театр было желание увидеть Сару Драммонд в роли леди Макбет. Но и эта причина не была однозначной и простой. Ни игра великой актрисы, ни три часа, проведенные с глазу на глаз с бессмертными проблемами измены и честолюбия, не смогли бы заставить его выйти сегодня из дому. Просто он должен был увидеть Сару, потому что это было ее последнее лондонское выступление в этом сезоне, а послезавтра утром он сам намерен был отправиться в ее имение, куда его пригласил Иэн Драммонд, муж Сары. Джо не хотелось очутиться под крышей ее дома, признавая при этом, что ни разу не видел ее в этом году на сцене. Это было бы неприлично.

Иэн, Алекс и нынешний инспектор Скотленд-Ярда Бен Паркер в течение пяти лет были больше чем друзьями. Они составляли часть экипажа бомбардировщика, который, возвращаясь с налета на один из оккупированных французских портов, загорелся уже над Англией и рухнул на землю с высоты шесть тысяч футов. Из семи находящихся в нем людей только трое успели выпрыгнуть и раскрыть парашюты. С той поры они не расставались. И лишь мирное время разлучило их. Драммонд, который был молодым и очень способным химиком, но хотел во время войны служить своей стране лишь на фронте и употребил тогда все свои связи, чтобы попасть в авиацию и не допустить, чтоб его вернули в лабораторию, вернулся туда сам после окончания военных действий, и вскоре его имя стало широко известным в научном мире.

Алекс стал автором детективных романов. Он не чувствовал никакого призвания к этой профессии, но знал, что после пяти лет на войне он уже никогда не сможет вернуться в офис, который покинул девятнадцатилетним парнем — юным, начинающим чиновником с хорошими перспективами на будущее. Теперь ничто уже не связывало его с тем парнем. Он попытался писать и к своему изумлению обнаружил, что его романы идут нарасхват. К счастью, он прочел довольно много хороших книг, чтобы эта сомнительная слава могла вскружить ему голову. Тем не менее он старался писать свои романы как можно лучше.

И здесь, между прочим, таилась еще одна причина его плохого самочувствия в этот вечер. Маленькая, плоская пишущая машинка «Olivetti» стояла на столе открытой, а на вложенном в нее листе виднелись два слова, аккуратно напечатанные в разрядку:

«Глава первая».

И все. Уже две недели этот лист торчал в машинке. Уже две недели Джо разгуливал по комнате целыми часами, подходил к столу, садился, потом вставал и снова начинал ходить от стены к стене. Он точно знал, какой должна быть эта книга, хотя пока еще не было даже плана ее. Джо чувствовал, что идея превосходна: загадка, предлагаемая читателю, ясна и невероятно проста, но в то же время так упрятана в лабиринте ложной

видимости, что к ее разгадке ведет лишь одна-единственная узкая тропинка, хоть и снабженная честно всеми необходимыми указателями, но скрытая во мгле...

Джо вздохнул. То, что он ощущал, не имело ни малейшего значения, раз не удается начать книгу. Быть может, в тихом Саншайн Мэноре, стоящем на морских скалах в кольце вековых деревьев, окруженном деликатной заботливостью Драммондов, он, наконец, сдвинется с мертвой точки. Он знал: главное — начать, а дальше все пойдет хорошо.

Джо взглянул на часы, потом на телефон. Если в течение пяти минут Каролина не позвонит...

Телефон зазвонил. Джо снял трубку.

— Добрый вечер, — сказала Каролина.

— Добрый вечер. Я уже начал опасаться, что ты не получила мою открытку.

— Получила... — в голосе Каролины прозвучало едва уловимое колебание. — Мне очень жаль, но я сегодня уезжаю. — Снова колебание. Джо молчал. — Я уезжаю надолго. Звоню, чтобы сказать тебе: до свидания, Джо.

— До свидания, Каролина. Желаю тебе счастливого пути.

— Спасибо... — Пауза. — Ты был очень мил, Джо. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся.

— Разумеется! — сказал он с любезной уверенностью...

Пауза.

— До свидания, Джо.

— До свидания, Каролина.

Джо Алекс медленно опустил трубку, но в ту минуту, когда она коснулась аппарата, телефон снова зазвонил. Джо резко поднял трубку.

— Слушаю.

— Это ты, Джо?

— Я. Это ты, Бен, верно?

— Да, конечно. Ты что сейчас делаешь?

— Что я делаю? По идее я должен быть огорченным. Но я не огорчен, и меня огорчает то, что я не огорчен. Понимаешь?

— Понимаю. Или ты полагаешь, что у полицейских не бывает личных огорчений?

— Не уверен... — пробормотал Джо. — Может, зайдешь ко мне? Я как раз собираюсь в театр и...

— То есть, у тебя есть два билета на «Макбета» и ты не знаешь, куда девать второй...

— Приблизительно... — Сказал Джо и вдруг осознал: — А откуда ты знаешь, что на «Макбета»?

— Просто угадал...

— Гм...

— Что — «гм»?

— Ничего. А хочешь пойти?

— Не знаю. Сегодня я одинокий полицейский, — сказал Бен Паркер. — Я полицейский, одетый в самый что ни на есть вечерний костюм. Честно говоря, я хотел вытащить тебя из дому. В Ист-Энде есть один довольно приличный ресторан, куда стоило бы заглянуть. Я хочу сказать — можем совместить приятное с полезным. Впрочем, это не срочно. Обычная профессиональная рутина. Но раз уж у тебя билеты на «Отелло»...

— На « Макбета».

— Тем более! Эта пьеса мне решительно подходит. Есть преступление, есть мотивы и есть глубокий анализ психологии преступника. Я мог бы немало туда добавить, если б владел белым стихом.

— То есть, ты готов пойти?

— Да. А потом мы могли бы заглянуть куда-нибудь на рюмочку. У меня к тебе небольшая просьба.

— Личная?

— Нет.

— Это интересно, — сказал Джо Алекс. — У нас двадцать минут до начала спектакля, а по дороге мне еще надо купить цветы. Куда за тобой заехать?

— Никуда, — прозвучал спокойный ответ. — Я в баре напротив твоих окон, и если ты отодвинешь занавеску, то увидишь у этого бара черный автомобиль. За рулем сидит толстощекий молодой человек в серой шляпе. Его зовут Джонс, и он — сержант.

— Это означает, что в настоящую минуту ты находишься на службе, верно?

— Я всего лишь слабый человек, — рассмеялся Паркер.

Но Джо, знавший его много лет, знал также, что Бен скорее пустит себе пулю в лоб из служебного пистолета, чем употребит служебную машину в личных целях.

— Уже выхожу! — крикнул он в трубку, поправил перед зеркалом волосы и вышел в прихожую, размышляя о том, откуда Бен знает, что он собирался сегодня посмотреть «Макбета», что Каролина не пришла и что...

Надо плотно застегнуть плащ — вечер нынче холодный. Джо ощутил легкое возбуждение. Плохое настроение прошло.

II. «Спасите их!»

В заполненном до последнего места зале стояла полная тишина. Сара Драммонд подняла руку к глазам. Алексу показалось, что в круге света от установленного наверху невидимого прожектора он действительно видит красное пятно на ее руке.

— Это запах крови! — произнесла актриса тихо и почти спокойно. — Все благовония Аравии не заглушат запаха этой маленькой ладони. О!

Это последнее восклицание выражало тихое изумление, но одновременно было преисполнено такого безумия, что Алекс протер глаза. Он никогда даже не предполагал, что целые тома трудов по психологии, всю человеческую муку и всю отдаленность исступленного разума от реального мира можно выразить в одном-единственном возгласе, произнесенном к тому же так тихо, что если бы в зале не стояла абсолютная тишина, никто бы его не услышал. Он искоса глянул на Паркера.

Инспектор сидел, слегка наклонившись вперед, глаза его были прищурены, а на лице застыло выражение такой сосредоточенности, будто он был ученым, наблюдающим феномен, от которого зависит судьба всех его исследований. Тем не менее он почувствовал взгляд соседа и медленно повернул голову. Алекс с удивлением увидел в его глазах не восхищение, а как бы тревогу.

Когда занавес опустился и наступил антракт перед последним действием, Паркер легонько толкнул Алекса локтем.

— Ты точно хочешь остаться до конца? Леди Макбет мы больше не увидим, а финал и так нам известен еще со школьных лет, — он мимолетно усмехнулся. — Я всего лишь полицейский, но мне кажется, что на остальных актеров жаль терять час нашей жизни. Странный спектакль! Эта женщина настолько царит здесь над всем, что, честно говоря, меня гораздо меньше трогает судьба ее мужа.

— Ладно, — сказал Алекс. — Пошли.

Спустя полчаса черный автомобиль остановился у дома Алекса. Инспектор очнулся от размышлений.

— Мы же собирались в Ист-Энд! Я забыл сказать сержанту, и он привез нас обратно. Но, быть может, это к лучшему. Не поздно будет зайти к тебе на минутку?

— Ну разумеется, нет, — сказал Алекс. — Ведь ты все еще не сказал мне того, что собирался.

— Я? А, ну да, конечно, — Паркер умолк.

Лифт мягко поплыл вверх. Когда они вошли, Алекс вынул из маленького холодильника, укрытого между полок, заполненных книгами, две бутылки и, держа их в обеих руках, показал инспектору.

— Коньяк или виски?

— Виски. И без содовой, если можно.

Они сели. Алекс налил. Выпили молча. Алекс снова налил. Инспектор отрицательно покачал головой.

— Я думаю, — сказал он озабоченно, — что ты едешь к Драммондам, чтобы поработать над книгой. Я не хотел бы мешать тебе в этом... Вообще-то, у меня нет никакого права...

— Бен, — Алекс встал, — я понимаю, что если человек — превосходный сыщик, он не может вести себя, как, скажем, учитель греческого языка или владелец магазина игрушек. Но если позволишь, я хочу попросить — не веди себя, пожалуйста, как персонаж второсортного криминального романа.

— Да, я идиот, — искренне сказал инспектор и развел руками. — Но я действительно очень обеспокоен и действительно не знаю, что тебе сказать.

— Если ты начнешь говорить, мы в конце концов придем к какому-то результату. Так мне, по крайней мере, кажется...

— Вероятно, ты прав... — Инспектор залпом выпил второй стаканчик виски и снова умолк. На этот раз Джо решил его не прерывать. Он был и вправду заинтригован. Но при этом в его глазах все еще стояла маленькая, стройная фигурка на сцене. «Все благовония Аравии...»

— Если бы не тот факт, что Иэн Драммонд, ты и я были когда-то друзьями и, полагаю, остаемся ими по-прежнему, я бы никогда не пришел к тебе с этим, — начал Паркер. — То, о чем я тебе скажу, является служебной тайной. Ну, быть может, не совсем, потому что я получил согласие своего руководства на разговор с тобой об этом...— Он опять остановился. Алекс по-прежнему молчал. — Не знаю, прав ли я, но мне кажется, что Иэну грозит опасность... — сказал, наконец, инспектор. — Серьезная опасность. Быть может, не меньшая, чем тогда, когда он вместе с нами летал над Германией. Более того, быть может, даже большая, я бы сказал, потому что тогда мы точно знали, что нам грозит. Мы были вооружены, бдительны, обучены и имели столько же шансов, что и атакующие нас истребители. Теперь все иначе.

Облик Сары Драммонд исчез из воображения Джо Алекса, и на его месте появилось смеющееся лицо в офицерской фуражке набекрень. Таким был тогда Иэн. Впрочем, он не очень изменился. Может, немного поправился, но по-прежнему выглядел юношей. Большой, гениальный мальчик с обезоруживающей улыбкой, и ничего удивительного, что он покорил этой улыбкой и величайшую актрису Великобритании.

— То есть, как? Иэну?..

— Да. Как ты знаешь, Иэн — химик. Ты также знаешь, что он добился того, что в других профессиях именуется большой карьерой. Однако в среде ученых не употребляют таких терминов. Тем не менее Иэн пользуется мировой известностью среди тех, кто работает в области создания син-

тетических материалов. Он и его ближайший сотрудник Гарольд Спарроу работают сейчас над синтезом серы. Не могу рассказать тебе об этом подробнее, ибо я не специалист. Впрочем, ты тоже. Важно то, что их исследования могут произвести настоящий переворот в промышленности. Если то, над чем они работают, принесет плоды, область применения пластических масс неимоверно возрастет. От дешевых синтетических домиков до легкой пуленепробиваемой танковой брони и корпусов сверхзвуковых самолетов. Я повторяю тебе лишь то, что слышал. Разумеется, все это более чем военная тайна... хотя, как выясняется, о ней знают слишком многие.

— Понимаю.

— Я думаю, ты уже начинаешь догадываться. И Драммонд, и Спарроу не только ученые, но еще и бизнесмены. Проводя свои исследования под патронатом одного из наших полуправительственных концернов, они ни перед кем не отчитываются. И все же дело раскрылось.

— Откуда ты знаешь?

— Отсюда, — сказал инспектор и вынул из внутреннего кармана пиджака конверт. — Я был уверен, что ты об этом спросишь. Хочу тебе кое-что показать. Если уж тайна стала известна кому-то совершенно постороннему, то не вижу причин, чтобы не открыть ее тебе. Впрочем, у меня нет выхода.

Он протянул письмо Алексу. Джо вынул из конверта обычный небольшой листок с машинописным текстом и начал читать вполголоса:

В Скотленд-Ярд.

Мистеру Иэну Драммонду и мистеру Гарольду Спарроу грозит опасность. Речь идет об их исследованиях. Они кому-то очень нужны. Ученых пытались купить. Теперь попытаются заставить их молчать. Это ужасно. Спасите их!

Друг Англии.

Алекс рассмеялся.

— Это похоже на письмо сумасшедшего, который прочел слишком много комиксов, — сказал он искренне. — Я не так представлял себе серьезное предупреждение. Думаю, вы ежедневно получаете сотни подобных писем. Наверняка угрожают убить королеву, взорвать парламент или подложить бомбу под иностранное посольство. Таких маньяков сотни, а может, даже тысячи. Нет. Я бы не относился к этому серьезно.

— И я тоже, — сказал инспектор, — если бы не пара моментов, которые эту версию исключают. Во-первых, маньяк, который знал бы, например, что сегодня ночью мы собираемся проводить испытания летающей подводной лодки, был бы не совсем маньяком, если бы время было указано точно, а дело хранилось в глубочайшей тайне.

— Ты хочешь сказать, что тебя беспокоит, откуда автор этого письма з н а е т о работе Драммонда и Спарроу, не так ли?

— Да. Во-вторых, он знает также, что были попытки переговоров с обоими учеными. Их вели представители одного очень дружественного нам государства, которое также весьма интересуется развитием знаний в области искусственных материалов. Попытки эти были весьма общего характера, и казалось, что, скорее всего, те просто что-то разнюхали, но совсем не уверены, над чем действительно работают наши ученые. Мы предприняли самые серьезные меры предосторожности, потому что, хотя дружба между народами и является делом весьма похвальным, однако здесь речь идет о первенстве на мировом рынке и об огромных государственных инвестициях. Когда видишь то, чего я в окружающей действительности достаточно насмотрелся, понимаешь, что человеческая жизнь — это всего

лишь одна из цифр в математическом уравнении. Иногда уравнение требует, чтобы эта цифра была самой важной, и тогда человек становится бесценным. Но в иных случаях уравнение не решается без изъятия этой цифры, и тогда человек вычеркивается из этого уравнения так тщательно, будто его там никогда и не было. Я не хотел бы... Мы не хотели бы, чтобы Драммонд и Спарроу были вычеркнуты лишь потому, что государство, которое является нашим большим другом, имеет отрасли промышленности, которые не выносят конкуренции. Можно было бы считать это письмо письмом маньяка, но, к сожалению, оно содержит слишком много правды. Кроме того, — и это третье, что меня беспокоит и заставляет отнестись к делу серьезно, — автор письма знает, что Драммонд и Спарроу работают в тесном сотрудничестве. Мало того, — он знает, что их исследования, в той фазе, в которой они сейчас находятся, могут лечь в могилу вместе с авторами.

— Я полагаю, ты не пытаешься меня убедить, что нынче стало обыденным явлением убийство ученых дружеской страны лишь потому, что у них родилась какая-то хорошая идея? Так не делается.

— Ты прав и не прав. Трудно определить, какое влияние окажет работа наших ученых на формирование мирового рынка. Она ведь может полностью разорить тех, кто в силу обстоятельств вынужден будет пользоваться иными, уже устаревшими методами производства. Она может нанести удар по мировым производителям стали, по магнатам металлургической промышленности, да мало ли по кому еще?! Не знаю... Одно только мне здесь не совсем ясно...

— Что именно? — спросил Алекс.

— А то именно, что в таких случаях убийство людей является, как мне кажется, самой последней крайностью. Из этого письма следует, что какие-то могущественные силы знают об исследованиях Драммонда и Спарроу и хотят остановить ученых. Так вот, это немного расходится с логикой.

— Почему?

— Да потому, что гениев не убивают, как мух. Даже если их исследования могут привести к перевороту в промышленности, то таких людей всегда сначала можно попытаться купить, нейтрализовать, использовать в своих целях. Ведь они представляют огромную ценность для каждого, кто сможет их использовать. А мертвыми они будут стоить столько же, сколько два умерших чиновника. Подобных попыток подкупа, нейтрализации или использования ни один из наших ученых до сих пор на себе не ощущал. Кроме того, честно говоря, все это имеет несколько фантастический привкус. И если бы не...

— Понятно. Если бы не тот факт, что автор письма представляется человеком, находящимся слишком близко ко всем этим делам, вы бы не принимали этого всерьез?

— Примерно. Есть во всем этом что-то непонятное, что требует объяснения. Даже если мы вообразим себе некое государство или концерн, которым исследования Драммонда и Спарроу чем-то угрожают, то все равно такое еще ничем не спровоцированное покушение на их жизнь кажется весьма неправдоподобным во второй половине двадцатого века. Ведь еще даже не известно, в какой степени и действительно ли их труды окажутся важными. Мы лишь предполагаем, что это так. Оба ученых верят в это, но у меня есть информация, что их работа еще не закончена и что имеется ряд трудностей, да и, наконец, абсурдно было бы предполагать, что производители керосиновых ламп должны были убить Эдисона, который изобрел электрическую лампочку, а производители сальварсана — Флемминга, который объявил об открытии пенициллина. Промышленность не защищается от технического прогресса, а скорее стремится использовать его в своих интересах.

— Следовательно?

— Вот именно! Почем я знаю? В конце концов, все возможно. Об авторе этого письма мы не знаем ничего, кроме того, что написал он его на портативном «Ремингтоне» и опустил в почтовый ящик в Лондоне. Официально мы не придаем слишком большого значения письмам такого рода. Но когда речь идет о наших крупнейших ученых, ничего нельзя оставлять без внимания. Тем более, если письмо такого характера.

— Ну, хорошо, — сказал Алекс и невольно улыбнулся. — Получается, что пока им вроде бы ничего не угрожает, но если в одно прекрасное утро они оба будут найдены в своих постелях с большой дозой мышьяка в желудках, Скотленд-Ярд не очень удивится.

— Напротив, очень удивится! — Паркер встал. — Удивится, ибо к задачам Скотленд-Ярда относится, например, и то, чтобы граждан этой страны никто не кормил перед сном мышьяком. Послушай, Джо, — он подошел к другу и положил руку на его плечо, — сейчас я буду с тобой совершенно откровенен.

— Стало быть, до сих пор — не был?

— Был. Но не совсем. Это письмо поступило к нам две недели назад. За это время мы сделали все, что обычно делается в таких случаях. Мы поговорили с обоими учеными — исключительно деликатно, разумеется, — и окружили Саншайн Мэнор незаметной опекой. К счастью, усадьба удалена от больших поселений, и потому можно, не привлекая ничьего внимания, контролировать все передвижения посторонних лиц в ее окрестностях. К сожалению, на мое предложение поместить в доме одного из моих людей Драммонд ответил категорическим отказом. Надо признать, что ни он, ни Спарроу вообще не проявили ни малейшего беспокойства по поводу этого письма. И вот тут-то...

— Начинается моя роль?

— Да. — Паркер сел и налил себе виски, но отодвинул стакан и почти весело взглянул на стоящего перед ним Алекса. — Разумеется... гм... я получил разрешение на просмотр корреспонденции обитателей Саншайн Мэнор. Неделю назад я прочел письмо, в котором Иэн приглашает тебя в гости, а три дня назад — твой ответ, в котором ты благодаришь за приглашение и сообщаешь, что послезавтра приедешь туда на две недели.

— Гм... — сказал Алекс. — Учитывая, что законы нашей страны запрещают властям вмешательство в личную жизнь граждан и гарантируют, между прочим, тайну переписки...

— У нас есть параграф, касающийся общественной безопасности. В некоторых особых и мотивированных случаях он может быть применен. Нам показалось, что это как раз один из таких случаев, а Министерство внутренних дел признало наше решение правильным. Так что я читал эти письма, как бы это сказать, от имени Ее Величества Королевы. Разумеется, если бы не тот факт, что ты несколько раз спас мне жизнь...

— А ты — мне!

— Не в этом дело! — Инспектор махнул рукой. — Если бы не тот факт, что ты несколько раз спас мне жизнь, что мы вместе во время войны выполнили ряд совершенно секретных летных заданий и что, наконец, я лично поручился, что доверяю тебе, как самому себе, ты бы никогда обо всем этом не узнал.

— Понимаю. — Алекс сел, налил себе виски и пригубил. — Ты хочешь, чтобы я находился в Саншайн Мэнор как твои неофициальные глаза и уши. Но смогу ли я ими быть?

— Не знаю. Я не прошу тебя ни о чем особенном. Честно говоря, я разговаривал с Иэном пару дней назад, и он очень сердечно приглашал меня в гости, упоминая при этом, что пригласил и тебя. Его очень радует

мысль о том, что мы усядемся втроем все вместе у камина и припомним былые времена. Разумеется, он отдает себе отчет в том, что я буду там как бы частично по службе, но, судя по его словам, я — единственный полицейский, которого он может вынести под своей крышей. К сожалению, я смогу приехать туда лишь на следующей неделе, потому что несколько дел задерживают меня в Лондоне. А судя по этому сумасшедшему письму, если только вообще можно принимать его всерьез, — опасность, которая якобы грозит нашим ученым, уже близка. Из самого ритма фраз следует, что автор знает о чем-то, что как бы висит в воздухе. Я хочу от тебя двух вещей: во-первых, ты взрослый, натренированный мужчина и друг Иэна, стало быть, после всего, что тебе стало известно, ты — наш союзник, который, будучи на месте, может в каком-то неожиданном критическом случае предотвратить то, чего я сейчас даже не могу определить. Во-вторых, я хотел бы, чтобы в качестве одного из гостей ты на месте сориентировался в ситуации. В настоящий момент в Саншайн Мэнор находятся шесть человек, не считая прислуги. Точнее, в данную минуту там находятся пять человек, но Сара Драммонд, талантом которой мы сегодня восхищались, как раз закончила свои выступления в этом сезоне и поедет к мужу на двухнедельный отдых. В имении также находятся Спарроу и его жена Люси.

— Они живут там?

— Нет. Точнее, Спарроу почти живет, потому что вместе с Иэном они устроили себе в Саншайн Мэнор что-то вроде частной лаборатории, в которой проводят большую часть года. Люси Спарроу — хирург.

— А-а-а! — Алекс тихо присвистнул. — Так это она! Люси Спарроу! «Самый красивый хирург Великобритании!» Иэн не говорил мне, что она — жена Спарроу.

— Наверно забыл. Ты же знаешь ученых. Так вот, очаровательная Люси Спарроу сейчас тоже там, и пробудет еще несколько недель, отъезжая при этом раз в неделю в Лондон. Судя по тому, что мне известно, ей следовало бы вообще не покидать Саншайн Мэнор.

— Ты имеешь в виду безопасность ее мужа?

— Ну, можно это и так назвать... — Паркер улыбнулся. — Возможно, это всего лишь сплетня, одна из тех, о которых в подобных обстоятельствах Скотленд-Ярд должен знать, но которая не имеет особого значения... Тем не менее я хочу, чтобы, отправляясь туда, ты знал как можно больше. Так вот, насколько мне известно, Спарроу находится... как бы это сказать... под большим впечатлением от обаяния жены своего друга и нашей незабываемой звезды сегодняшнего спектакля.

— Ты хочешь сказать, что за спиной Иэна его жена и его коллега...

— Не знаю. Может, это не совсем так. Возможно, Сара просто испытывает потребность подчинять себе всех мужчин, попавших в ее орбиту. А быть может, именно потому, что жена у Спарроу такая знаменитая красавица, Саре захотелось померяться с ней силами. Во всяком случае, во время детального изучения биографий этой группы людей, я наткнулся на какую-то неизвестную никому из их близких прогулку вдвоем на автомобиле, на какую-то встречу в Шотландии и еще на два-три менее значительных факта, которые указывают на дружбу несколько более горячую, чем принято испытывать по отношению к друзьям своего мужа. Но это было в прошлом году. Остается ли эта дружба такой же и сейчас, да и вообще, имеет ли она какое-нибудь значение в жизни этой маленькой группы людей, я не знаю. Ведь бывает и так, что мужчина и женщина внезапно испытывают друг к другу влечение вопреки всем официальным узам, а затем отдаляются друг от друга, и это не оставляет никакого следа в их психике. Что касается Сары Драммонд, то с ее именем не связан ни один скандал, хотя ее биография полна довольно бурных событий.

То, о чем я тебе рассказываю, — информация, которая является собственностью Скотленд-Ярда, но не общественности. Я думаю, что ни Драммонд, ни Люси даже на подозревают о том, что их супруги когда-то пережили такое приключение. Надо сказать, что Спарроу — человек честный, порядочный, и для него это должно было стать серьезным потрясением. Я имею в виду не то, что у них было с Сарой Драммонд, а скорее то, что он пережил, предавая дружбу, жену и так далее. Он не относится к тем людям, которые могут спокойно жить под чьей-то крышей и соблазнять жену хозяина.

— И все же?

— Вот именно. Поэтому я предполагаю, что он оказался тогда в сложном положении, а быть может, находится в нем и сейчас. Однако, если эта история не имела никаких последствий и осталась глубокой тайной, то, по-видимому, лишь благодаря Саре, которая по-своему любит нашего друга Иэна и никогда бы его не оставила. Возможно, она нашла способ убедить Спарроу скрыть все, что произошло, и продолжать сотрудничество с Иэном, будто ничего не случилось. Но это всего лишь мои предположения. Быть может, я вообще ошибаюсь. Эти их встречи могли быть значительно более невинными, чем на то указывает моя информация. Люди склонны преувеличивать подобные вещи.

— Бедный Иэн... — вздохнул Джо. — И все же она — гениальная актриса. Не знаю, прав ли я, но мне кажется, я мог бы простить ей такие слабости.

— Не знаю, был бы ли Иэн того же мнения, но если говорить о Люси Спарроу, то это тоже очень яркая личность. Сам факт, что такая красивая женщина стала столь великолепным хирургом, тоже не так-то легко объяснить. Казалось бы, красивые девушки имеют в своем распоряжении тысячи других занятий в жизни, по крайней мере, до тех пор, пока не увянет их красота.

— Интересная компания... — пробормотал Алекс. — Ну, хорошо, если ты уже закончил поливать грязью жен наших друзей, скажи мне, кто там еще находится?

— Есть там еще секретарь обоих ученых. Вообще-то он не секретарь — он тоже химик, — молодой и очень способный ученик Драммонда. Правильнее было бы называть его ассистентом. Его имя Филипп Дэвис, ему двадцать восемь лет, у него мать и двое младших братьев; он очень симпатичен и по уши влюблен в Люси Спарроу.

— О Господи! — вздохнул Алекс. — Когда же эти люди совершают свои великие открытия, если они постоянно заняты чем-то совсем другим?

— Вероятно, умеют совмещать приятное с полезным. Насколько я мог выяснить, Люси Спарроу даже не знает о бурных чувствах ассистента своего мужа. А я узнал о них из его письма к матери. Он пишет о своей тихой, безнадежной любви.

— Это уже лучше, — Джо Алекс выпил свой виски. — Ко мне возвращается вера в общество. Молодое поколение не столь цинично. Что дальше? Кто еще?

— Кроме того, там находится приглашенный Иэном еще зимой профессор Роберт Гастингс из Университета штата Пенсильвания в США. Он приехал неделю назад и намерен уехать послезавтра. У него уже заказан билет на самолет в Нью-Йорк. Это ученый крупного масштаба, а его интересы близки к интересам наших исследователей.

— Не ошибаюсь ли я, предполагая, что когда ты говорил о дружественной нам державе, которая могла бы понести потери в результате исследований Драммонда и Спарроу, то имел в виду Соединенные Штаты?

Паркер развел руками.

— Если бы ты находился на государственной службе, а не был бы презирающим политику автором криминальных романов, то знал бы, что такие вопросы неуместны. Я не уполномочен беседовать с тобой на эту тему. — Он улыбнулся. — Во всяком случае, я был бы признателен, если б тебе удалось завоевать симпатии этого милого господина.

— Ты не совсем уверен, что он приехал в Саншайн Мэнор лишь ради отдыха?

— В моей профессии уверенность достигается исключительно путем очень кропотливых расследований и исчерпывающих доказательств. Там, где нет таких доказательств, нет и уверенности. Джо, если ты писатель с воображением, не требуй от меня дальнейшего углубления в беседу об этом человеке, который может оказаться для тебя предметом любопытнейшего психологического исследования. Было бы интересно, если б тебе удалось узнать хотя бы часть его ценных мыслей. Господин профессор Роберт Гастингс — очень известный человек. Я бы хотел, чтоб в тебе вдруг обнаружилась слабость к известным людям.

— Понимаю. И это все?

— Все, не считая прислуги. Но прислуга пока не входит в расчет. Есть там еще наш старый приятель Мэлахи и две местные женщины. Обе вне всяких подозрений, как мне кажется.

Джо Алекс вздохнул.

— Я собирался в Саншайн Мэнор, чтобы написать там книгу, — сказал он беспомощно. — Я хотел тишины и спокойствия — сегодня я порвал с женщиной...

— С мисс Каролиной Бикон, я знаю. Завтра она поселится в городке Торки в отеле «Эксельсиор».

— О Господи! Так ты и за мной шпионишь?

— Ну что ты! Просто, когда ты получил приглашение от Иэна, я обязан был проверить круг твоих знакомых. Ты ведь, сам того не ведая, мог быть использован с какой-то целью, которой бы даже не знал. Это вовсе не было проявлением недоверия к тебе. Но если эта анонимка содержит хоть слово правды, то те, кем бы они ни были, несомненно, должны были познакомиться с биографией Иэна и списком его друзей. Быть может, они пытаются выйти на контакт с ним, или ищут возможность внедрить в его окружение своего человека, либо просто собирают информацию о его жизни. Тебя никто не расспрашивал об Иэне?

— Нет, — Алекс покачал головой. — Никто, никогда... — он задумался. — Нет, точно нет.

— Вот-вот, — Паркер встал. — Это интересно, что никто из друзей Драммонда или Спарроу и никто из их родственников не стал целью изучения тех, кто мог бы им навредить. Я проверил это довольно тщательно, потому что оттуда могли протянуться нити, ведущие к предполагаемому клубку. Однако ничего подобного не происходит. Надо признать, что противник, если он, конечно, вообще существует, очень ловок. Поэтому любая информация будет для нас бесценной.

— Но смогу ли я...

— Я ведь читаю твои книги. В них есть наблюдательность и математический расчет. Порой они бывают более близки к действительности, чем тебе самому кажется. Кроме того, ты — толковый парень, который коечто испытал в этой жизни. Ну и, наконец, речь идет об Иэне. И наверно, это не тот случай, когда его друзья могут позволить себе легкомысленно отнестись к грозящей ему опасности, даже если предполагать, что это всего лишь плод чьего-то больного воображения. Мой домашний телефон у тебя записан?

— Да.

Инспектор вынул из кармана плотную карточку.

— Это мой телефон в Ярде, а этот второй — номер отделения полиции в Мэлсборо. Насколько я помню, это небольшой городок в двух милях от имения Драммондов. Если ты скажешь им, что хочешь со мной поговорить, они немедленно тебя соединят. Они найдут меня сразу, потому что знают, где искать. А через неделю я сам загляну на пару дней в Саншайн Мэнор. Я потребовал от Иэна, чтобы он никому не говорил о моей профессии. Приеду как его однополчанин со времен войны. Впрочем, старый Мэлахи знает и тебя, и меня еще по тем временам. Тебе тоже придется об этом помнить.

— Это будет нетрудно, — сказал Алекс. — По крайней мере, это то единственное, что не будет трудным.

Он проводил гостя к лифту, а потом подошел к окну и увидел черный автомобиль, тихо удаляющийся среди ночи по вымершей, ярко освещенной улице.

III. Ребенок на шоссе

Рокот автомобильного двигателя, приглушенный двойными стеклами закрытого окна, удаляясь, стих. Мелкий, бесшумный дождь медленно опускался с черного неба на лондонские крыши. Джо Алекс закрыл глаза. В комнате стало теперь тихо, так тихо, что он услышал спокойное, ровное дыхание и на секунду напряженно застыл — ему вдруг показалось, что это дышит кто-то другой, стоящий за его спиной. Но он тут же понял свою ошибку, рассмеялся и медленно вернулся от окна к столику. Он налил себе еще виски и опустился в мягкое кресло. С минуту Джо сидел, погрузившись в размышления, потом поднес стакан к губам и, не отдавая себе отчета в своих действиях, поставил его обратно на поднос нетронутым.

— Воображение! — произнес он вполголоса, стараясь вложить в это слово как можно больше пренебрежения. — Стоит лишь твоему старому другу, который по воле случая стал полицейским, попросить тебя о мелкой услуге и произнести при случае несколько слов о своей работе, показав письмо, написанное на машинке «Ремингтон» одним из тысячи безобидных сумасшедших, которые каждый день опускают сотни подобных писем в почтовые ящики во всех концах бескрайней Англии, — как немедленно твое воображение тут же начинает рисовать полные крови и трупов картины ближайшего будущего, в которых самым интересным оказывается образ другого твоего друга, товарища по оружию и одного из самых благородных людей, с которыми тебе удалось познакомиться. Значит, все же внутри тебя что-то тоскует по таким картинам. Тебе ужасно хочется, чтобы после приезда в Саншайн Мэнор там начали происходить всякие жуткие события, в которых ты сыграл бы решающую и героическую роль. Будем искренни — тебе *хочется*, чтобы те, кем бы они там ни были, ринулись в атаку и чтобы ты спас обоих ученых и заслужил восхищение всех присутствующих, не исключая Сары Драммонд, о которой не перестаешь думать уже пару часов, точнее, с той минуты, когда, увидев ее на сцене, ты осознал, что уже послезавтра встретишься с ней в очаровательном старинном поместье, окруженном романтическим парком. Тебе хотелось бы стать в ее глазах героем, и потому твое воображение подсовывает тебе сейчас образы темных фигур, крадущихся ночью по освещенному луной парку. Они уходят с планами изобретений Драммонда и Спарроу. Но тут ты преграждаешь им путь. Вспыхивают огоньки выстрелов, взлетают испуганные птицы, люди-тени молча сражаются не на жизнь, а на смерть, слышится крик боли. Пересекая освещенную луной клумбу, во дворец возвращается лишь один человек. Он весь окровавлен, его одежда изорвана, волосы растрепаны. Но он несет спасенную папку с бесценными рукописями. Этот

человек — ты. Он входит в круг света. Все (и прежде всего Сара) смотрят на тебя. Ты устало прислоняешься спиной к стене и протягиваешь папку. «Вот она», — говоришь ты скромно, и в этих двух словах скрыт весь твой героизм, ибо все видят и понимают, что произошло минуту назад во мраке парка. А уже после того, как ты выполнил свой долг, прибывает опоздавшая полиция, вбегает Бен Паркер со своими людьми, и только сейчас тебя покидают силы. Ты пошатываешься... Тебя поддерживают, и чья-то миниатюрная рука протягивает стаканчик виски. Маленькая ладонь... «Все благовония Аравии...»

Он громко рассмеялся и взглянул в угол комнаты, где стояла открытая пишущая машинка, а в ней бессмертный лист с заголовком «Глава первая».

— Вот именно! «Глава первая»! Вместо того чтобы воображать все эти глупости, надо их как-то пристроить туда, в эту новую книгу, которая все еще ждет своего написания. Но я знаю, почему ты не можешь ее начать. Это Каролина во всем виновата. Да, давай будем между собой откровенны. Мы ведь одни в этой комнате — я сам с собой. Но люблю ли я Каролину?

Он секунду подумал и покачал головой.

— Нет. Пожалуй, нет. Я не люблю Каролину. Я никогда ее не любил и, наверно, никогда не полюблю. Впрочем, полагаю, что для этого у меня уже не будет случая. Но мне ее жалко. И себя жалко. Жалко бессмысленно протекающей жизни. Сегодня мне исполнилось тридцать пять лет, и за эти тридцать пять лет не произошло ровно ничего, что оправдывало бы мое существование в этом мире. Ну, разве что война. Вот тогда я знал, что нужен. Я защищал от гибели страну, в которой родился, и стиль жизни, который мне близок. Но когда мы, наконец, защитили Англию, я потерял этот смысл жизни в тот же день, когда снял военный мундир. И с тех пор мне так и не удалось его найти. Может, если бы Каролина... У нас мог бы появиться ребенок, даже двое детей. Я жил бы для них. Это уже было бы много. Очень много. А этот дом никогда не был бы так пуст, как сейчас. Я не совсем в этом убежден, но если бы она сейчас позвонила...

Он глянул на телефон. И снова телефон зазвонил, словно события этой ночи таили в себе какую-то неизбежную целенаправленность, которой человек не в состоянии противостоять.

Алекс вскочил и на секунду застыл, будто подыскивая слова, которые он должен сказать сейчас Каролине. Прозвучал второй звонок. Джо быстро снял трубку и, чувствуя ускоренное сердцебиение, сказал:

— Слушаю, это Алекс.

— Добрый вечер...

Нет. Каролина не передумала. Голос был женский, низкий и очень мелодичный. Он показался знакомым, хотя не ассоциировался ни с какими известными чертами лица.

— Простите, что звоню так поздно, но после спектакля я была на ужине с друзьями и только сейчас вернулась домой. Благодарю за розы. Они очаровательны.

— Это миссис Сара Драммонд? — спросил Джо, хотя уже точно знал, что это она, и вопрос показался ему дурацким.

— Да, и я звоню не только для того, чтобы поблагодарить вас за цветы. Я получила телеграмму от Иэна. Он пишет, что вы собираетесь к нам. Когда?

— Я намерен выехать послезавтра утром.

— Ага! Но Иэн пишет: «Позвони Джо. Если он может выехать днем раньше, захвати его». Так вот я звоню, чтобы взять вас с собой.

Джо хотел сказать в ответ что-нибудь изысканное, но в голове царила полная пустота.

— Это очень мило. Благодарю вас...

— Итак? — спросил низкий голос. — Я готова заехать за вами завтра прямо в девять утра.

Джо секунду колебался. Вообще-то в Лондоне его ничего не удерживало. Он сообщил Иэну о приезде послезавтра лишь потому, что какую-то дату надо было назвать...

— Я не хотел бы вас утруждать...

— Пустяки. Кроме меня и моего чемодана, в автомобиле никого не будет.

— В таком случае...

— В таком случае я заезжаю за вами в девять. Это не слишком рано?

— Если я скажу вам, что ежедневно просыпаюсь на рассвете и в семь утра сажусь за работу, то это несколько разойдется с истиной, — сказал Алекс, постепенно восстанавливая утраченное равновесие, — но девять утра — в самый раз. А может, поедем на моем автомобиле? Я отдал его на профилактику, и как раз завтра утром он должен быть готов. Правда, чуточку позже.

— Нет. Я предпочитаю на своем. Я люблю водить автомобиль, но особенно люблю возить мужчин. Один пассажир-мужчина приносит мне больше удовлетворения, чем пять женщин. Может, потому, что пару последних тысячелетий нас постоянно возили, и мы не имели ни малейшего понятия, что без этого можно обойтись.

— В таком случае буду искупать вину моих предков.

— Я отвратительно пунктуальна. Прошу ждать в девять у подъезда. А теперь — спокойной ночи. Уже очень поздно. Женщина в моем возрасте должна высыпаться. Это превосходно сохраняет кожу.

И прежде чем Джо успел решительно возразить насчет возраста, она положила трубку.

— Ну вот! — сказал он, с удивлением ощутив внезапный прилив энергии, затем пошел в ванную и открыл кран с горячей водой. Почувствовав, что проголодался, Джо отправился на свою маленькую кухню и заварил чай. Безнадежность тридцать пятого дня рождения вдруг исчезла, будто ее никогда и не было. Он думал о завтрашнем дне.

Джо по-прежнему продолжал о нем думать после ванны и холостяцкого ужина, состоявшего из хлеба с маслом, сардин, сыра и банки лимонного сока, и даже когда лег в постель и завел будильник на восемь утра. Да, это было как раз то, что ему сейчас нужно. Сдержанный и мягкий юмор Иэна, старинная усадьба, комната, в которую сквозь распахнутые окна доносится шум деревьев рядом и шум моря вдали, утренние прогулки по обрывистому берегу... Когда же он там был в последний раз?.. Сейчас он старался не думать о том, чего ему так хотелось — чтобы уже наступило утро и началась эта короткая двухчасовая поездка в обществе невысокой, смуглой женщины, великой актрисы, жизнь которой Паркер разукрасил столь огромным количеством вопросительных знаков. «Бедный Драммонд», — подумал Джо, однако мысль эта была слабой и невыразительной. Драммонд был вовсе не бедный, а счастливый. Такая женщина должна была сделать мужчину счастливым, даже если делала счастливым не только его.

Постепенно лица Иэна и Сары, а вместе с ними и картина будущего, которую рисовало его воображение, стала меркнуть и покрываться мглой. Он закрыл глаза.

Ему показалось, что он едва успел сомкнуть веки, как будильник зазвенел. Джо вскочил с дивана и в пижаме подошел к окну.

После мрачного дождливого вечера над городом вставало теплое и солнечное утро. Мокрые крыши домов испаряли влагу и сверкали ярким голубым отражением висящего над ними безоблачного неба. Глядя на

тротуар и запертую дверь бара напротив, Джо вдруг вспомнил вчерашний разговор с Паркером. Но улица внизу уже не была той ночной улицей, что вчера. Солнце, проникающее сквозь распахнутое окно, голубое небо над крышами, шум воды, быстро наполняющей ванну, и свист закипающего чайника на кухне, сливаясь вместе, звучали безмятежной прелюдией к той минуте, когда часы пробьют девять, а он выйдет на улицу и увидит модный кремовый «мерседес» Сары Драммонд, подъезжающий к дому. Почему кремовый и почему «мерседес», он не смог бы объяснить, но у нее должен быть именно такой автомобиль. Посвистывая, Джо занялся утренним туалетом.

Когда, наконец, Алекс умылся, побрился, позавтракал и взглянул на часы, он с ужасом обнаружил, что уже без двадцати девять. Молниеносно распахнув шкаф, Джо стал выбрасывать оттуда рубашки, галстуки, пижамы, носки и носовые платки. Он быстро укладывал их в чемодан, выбирая самые любимые. Теперь свитеры... Так... И второй чемодан с костюмами... Наконец папка с письменными принадлежностями... пишущая машинка и... Он огляделся... Вроде все. Нет, не все... Джо подбежал к письменному столу и, выдвинув средний ящик, вынул оттуда лежащий на самом дне тяжелый предмет в кожаном футляре. Он расстегнул футляр... Все было в порядке... Он вынул из другого ящика стола две запасных обоймы. Это не был его пистолет со времен войны, это был длинноствольный парабеллум, который он привез из Германии, где их эскадра стояла в последние недели перед окончанием войны. Он сунул пистолет и обоймы под костюмы и закрыл чемодан... Глянул на часы... Без пяти девять! Джо выбежал на лестничную площадку, вызвал лифт, погрузил в его кабину свои чемоданы и спустился вниз. Выйдя на улицу, он огляделся по сторонам, но кремового «мерседеса» нигде не было видно. Тогда он подвинул свои чемоданы к самому краю тротуара, остановившись напротив черного «ягуара», припаркованного на противоположной стороне улицы, и глубоко вздохнув, вытер платком пот со лба. Ровно девять. Теперь можно спокойно ждать. Он начал размышлять о какой-нибудь эффектной фразе, которую произнесет, приветствуя подъехавшую Сару.

— Здравствуйте! — прозвучал знакомый низкий голос. — Вы собираетесь ехать с кем-то другим?

Джо вздрогнул. За рулем черного «ягуара», в двух шагах от него, сидела Сара Драммонд и усмехалась, явно позабавленная выражением его лица.

— О, доброе утро! — Джо подошел к дверце с опущенным стеклом. — Воображение... — сказал он и развел руками. — Мне показалось, что вы приедете на совсем другом автомобиле. И я настолько утвердился в своем...

— То есть, вы об этом думали? — Из автомобиля на него глянули темные блестящие глаза. — Это хорошо. Всегда хорошо, когда о нас думают. — Она протянула маленькую смуглую ладошку, которую он пожал. «Все благовония Аравии»... Джо пошел за чемоданами. — Положите их на заднее сидение. Вот так. А теперь, наконец, садитесь. Я не могу дождаться приезда домой!

Он сел рядом, и они тронулись.

«Я вижу ее третий раз, — подумал Джо, — и каждый раз она совершенно другая».

Они познакомились три года назад в день ее свадьбы с Иэном. Она была тогда красивой, скромной и счастливой невестой, идущей ровным и уверенным шагом, опираясь на руку своего мужа, глядя на него влюбленными глазами, так, будто и не замечала сверкающих вокруг них вспышек фотокамер репортеров обоих континентов, которые торопились запечатлеть

для своих воскресных приложений сцену бракосочетания великой драматической актрисы и одного из крупнейших британских ученых. Второй раз он встретил ее год назад, когда она вместе с Иэном была в Лондоне и они условились с ним пообедать вместе в его клубе. Тогда он увидел типичную британскую молодую даму, одетую и ведущую себя подобно всем другим молодым дамам этого круга, с той лишь разницей, что посетители клуба обращали на нее гораздо больше внимания, чем на всех остальных дам вместе взятых. Теперь же он краем глаза видел сидящую рядом молоденькую девушку, которая только что окончила среднюю школу и получила в подарок от отца первый автомобиль. На вид ей можно было дать лет девятнадцать, ну, максимум двадцать. Смуглая, черноволосая и темноглазая, она была одета во все черное, вопреки моде на контрасты и на белый цвет, который подчеркнул бы стройность ее шеи и нежность кожи. А ведь еще вчера вечером она стояла на сцене измученная и сломленная, внезапно постаревшая в течение часа, безумная и тоскующая по смерти, которая принесла бы ей покой и забвение... Сколько же ей лет на самом деле? Она на сцене уже давно, по крайней мере, лет десять. Может, ей тридцать? А может, как и ему, все тридцать пять? Впрочем, какое это имеет значение? Джо глубоко вздохнул.

— Вчера я был потрясен, — сказал он, чтобы нарушить молчание. — Я никогда не видел вас в этой роли и никогда не предполагал, что можно сыграть нечто подобное. Думаю, если б вы жили во времена Шекспира, он написал бы для вас «Гамлета», но не о датском принце, а о принцессе. Жаль, что вы не встретились!

— А мне не жаль, — рассмеялась Сара. — Автомобиль остановился на перекрестке, ожидая смены огней светофора. — Меня бы уже не было. А ведь единственное, что важно, — это быть. Но если бы он меня посетил, я бы сказала, что люблю его, как самого Господа Бога, и иногда даже молюсь ему. — Автомобиль тронулся.

— Интересно, он бы поверил?

Сара Драммонд на секунду оторвала от дороги взгляд своих лучистых темных глаз.

— Поверил бы! — сказала она настолько уверенно, что Джо невольно рассмеялся.

Теперь они выехали на длинную улицу, по обеим сторонам которой тянулся бесконечный ряд красивых двухэтажных и трехэтажных домов.

— Вот сейчас проедем Кройдон, — пробормотала Сара, взглянув на спидометр, — и выберемся на шоссе.

— Сколько времени вы обычно едете до Саншайн Мэнор?

— Час до Брайтона, а потом еще минут пятнадцать по приморскому шоссе, если нет большого движения. А там уже остается несколько минут. Мэлсборо — и сразу за городком наш дом.

Она нажала на педаль. «Ягуар» мягко ускорил ход и бесшумно обогнал два идущих впереди автомобиля. Дома поредели, и с левой стороны открылось широкое пустое пространство. Аэродром. Джо глянул в ту сторону. Большой четырехмоторный пассажирский самолет вынырнул из-за далеких домов предместья и, медленно набирая высоту, свернул на юг.

— Вы теперь никогда не летаете? — спросила Сара, не отрывая глаз от дороги. Вопрос прозвучал как-то по-детски, скороговоркой, будто не имело никакого значения, будет ответ положительным или отрицательным.

— Никогда. Я стараюсь не летать, даже отправляясь на отдых к морю.

— Почему?

— Сам не знаю. Может, у меня слишком много воспоминаний? Впрочем, пару попыток я сделал. И всякий раз думал о войне и о тех, кто не вернулся. А думать об этом бессмысленно. Вы правы: самое главное — это

быть. Прошлое ведь в действительности не существует. Зачем же к нему возвращаться?

Самолет все уменьшался в голубом небе и стал теперь всего лишь маленьким белым пятнышком. Джо проводил его взглядом. Курс на Париж. Нет, на Амстердам. До самого конца своей жизни он будет точно знать, в каком направлении летят самолеты из Лондона. Он знал каждый курс, он летал в ту сторону днем и ночью бесконечное количество раз, по всем направлениям, идущим из Англии. Он перевел взгляд на шоссе и заметил, что Сара наблюдает за ним, насколько это позволяло управление автомобилем. «Ягуар» снова ускорил бег. Джо взглянул на спидометр — шестьдесят миль. Хорошая скорость для такой оживленной магистрали. Сара одной рукой держала руль, а другую протянула к нему.

— Передайте, пожалуйста, сигареты. Они в тайничке перед вами.

Он открыл тайничок и с удивлением увидел пачку голубых «Галло».

— Эти?

— Да. Возьмите, пожалуйста, одну и вложите мне в губы. На шоссе порядком транспорта, и я не хотела бы врезаться вместе с вами в дерево. Подайте мне еще зажигалку.

Джо сделал все, о чем она просила, — вынул тлеющую раскаленным концом зажигалку и приложил к сигарете Сары.

Теперь автомобиль мчался еще быстрее.

Алекс, который не любил слишком быстрой езды, почувствовал себя немного неуютно, но понадеялся, что Сара этого не заметит.

— Что вы будете играть осенью?

— Еще не знаю, но почти наверняка в «Орестее» Эсхила.

— Кассандру?

— О Господи, конечно же нет! — рассмеялась она. — Зачем мне играть эту плаксивую корову!?

— Но ведь не Клитемнестру?

Вместо ответа она нажала на педаль газа и продекламировала:

— *«И вот стою я перед вами. Исполнено деяние мое!*
Свершилось, наконец, веление судьбы: удар нанесен,
и теперь открыто и бесстрашно скажу вам, как погиб он.
Сперва я плотной тканью укутала его, как сетью...»

Она резко затормозила. Джо заметил, как побелели ее пальцы, крепко сжимающие руль. Автомобиль с визгом проехал немного вперед, потом его сильно занесло. Всего в одном шаге от передних колес, посреди шоссе, стояла маленькая двухлетняя девочка и, закрыв лицо ручками, плакала, не отдавая себе отчета в том, что лишь доли секунды решали, остаться ли ей среди живых. Сара выскочила из машины. Джо последовал за ней. Он увидел бегущую со стороны дома молодую женщину в белом переднике.

— Элизабет! — кричала женщина. — Элизабет!

Сара взяла малышку за руку и отвела к дорожке, ведущей в сторону дома. Мать подхватила ребенка на руки.

— О Господи, — прошептала она, — я все видела из окна... Как же она открыла эту калитку?..

— В следующий раз будет лучше, если вы зададите себе этот вопрос раньше, потому что может случиться так, что Элизабет уже никогда больше не откроет никакой калитки. Я бы велела вашему мужу побить вас, если б он был здесь. Но он, вероятно, сейчас работает и не знает, что его жена — идиотка. Заберите этого ребенка и немедленно займитесь калиткой, чтобы он не мог ее открыть. Вы поняли?

— Да, — пролепетала женщина. — Конечно... Простите... — Она повернулась и быстро направилась к дому, держа на руках Элизабет, кото-

рая перестала плакать и глядела большими светлыми глазками на женщину, отдающую приказы.

Сара вернулась к автомобилю.

— Это была бы моя вина, — пробормотала она, — я ехала восемьдесят миль в час. Но я ей здорово всыпала. Держу пари, что теперь она будет запирать эту калитку на сто задвижек!

Они поехали. Алекс, все еще переживая недавнее событие, глянул на Сару, молча ведущую машину.

Вдруг Сара рассмеялась. Заметив его удивленный взгляд, она сказала:

— Это я над вами! У вас было такое забавное лицо... Вы так учтиво слушали, когда я стала декламировать. И вдруг — тра-а-ах... Вы даже не смотрели на шоссе — вы смотрели на меня!

— И вы действительно заметили все это и успели затормозить, чтобы не сбить девочку?

— Разумеется. А мне ничего больше и не оставалось, кроме как изо всей силы жать на тормоз и крепко держать руль, чтобы нас не выбросило в кювет. Впрочем, я знала, что собью этого ребенка, если не будет иного выхода. При такой скорости я не могла рисковать тем, что мы влетим в ров. Но вы смотрели на меня. Это, пожалуй, самый лучший комплимент, который достался мне за всю жизнь.

Автомобиль снова увеличил скорость. Сара спокойно сидела за рулем и слегка улыбалась. Алекс не ответил. Он смотрел на нее.

— О чем мы говорили? Ах да, я декламировала Клитемнестру. Именно ее я хочу сыграть. Я уже много лет наизусть знаю эту роль. Очень красивая история: она убивает мужа, а затем бесстыдно, гордо и спокойно выходит к народу, чьего короля лишила жизни, и заявляет, что отныне будет царствовать вместе со своим любовником. Великолепная женщина. И я сыграю это отлично! Приходите — сами убедитесь! — На секунду отпустив руль, она хлопнула в ладоши, как ликующий ребенок, и воскликнула: — Сейчас будет Брайтон! Сегодня мы едем довольно быстро. Объедем город с запада. Там дорога немного хуже, но короче.

Алекс, который как раз подумал, что сейчас он проедет через город, в котором год назад был с Каролиной, облегченно вздохнул, когда перед первыми домами они свернули направо и поехали медленнее.

— Много людей сейчас в Саншайн Мэнор? — спросил Джо, осознав вдруг, что он еще ни разу не поинтересовался Иэном и его гостями.

— Иэн, Гарольд... то есть мистер Спарроу, которого вы, кажется, знаете?

— Нет... — покачал головой Джо. — Не имел удовольствия. Я знаю его лишь по рассказам Иэна во время того нашего обеда в прошлом году.

— Это очень симпатичный человек, — равнодушно сказала Сара, — а его жена, Люси Спарроу, моя лучшая подруга. Это замечательная девушка! Вы ведь о ней наверно слышали?

— Она хирург, да?

— Да. Гениальный нейрохирург. О ней говорят, что она не оперирует, а творит. Очевидно, она родилась с этим талантом, потому что уже во время учебы получила массу наград и премий. Ее операции посещают все наши знаменитости, а с континента приезжают седые, бородатые профессора. У нее даже свой собственный метод проведения операций. Подумайте только — какая это замечательная профессия: работать внутри человеческого мозга! Кроме того, она бессмысленно красива. Бессмысленно, потому что ведь в ее профессии это совершенно не нужно. Я хотела бы выглядеть так, как она. У нее все данные молодой королевы. Она и выглядит, как молодая королева, когда встает утром с постели или играет в теннис. Она ест горошек, как молодая королева, и моет руки, как молодая королева. Сколько

я на нее ни смотрю — не нахожу другого определения. Если б вы знали, как много труда я вкладываю, чтобы выглядеть на сцене, как особа из хорошей семьи, а тем более, как королева, то поняли бы, почему я так много об этом говорю. Кроме того, она мила, остроумна, начитанна и холодна как сталь. Прямо восьмое чудо света!

— Мистер Спарроу должен быть очень счастлив, имея такую жену, — рискнул заметить Джо.

— Что? — она вглядывалась в шоссе, бегущее теперь мимо шеренги старых деревьев. — Наверно! — Она вдруг оживилась, — О! Смотрите — море! — Далеко впереди Джо увидел огромную темно-голубую поверхность, которая как бы наклонно поднималась к горизонту. Сара нажала на педаль газа.

— «Наша огромная, нежная мать...» — процитировал Алекс.

— Это Джойс, — улыбнулась она. — Единственный писатель, которого я могу читать без перерыва. Ох, простите... вы ведь...

— Ну что вы, не будем об этом говорить. — Алекс смотрел на приближающееся море, которое медленно опускалось перед капотом автомобиля и становилось все более плоским. — Я не писатель и никогда им не буду. Ремесло, которым я занимаюсь, выбрано лишь потому, что оно позволяет мне вставать утром, когда захочется, не вскакивать, увидев директора, и зарабатывать столько, сколько нужно для того, чтобы жить удобно, много читать и при желании путешествовать. И это все. Однако мы говорили о ваших гостях...

— Есть там еще ассистент Иэна, Филипп Дэвис, красивый молодой парень, который вместо того, чтобы бегать за девушками или позволить девушкам за ним бегать, окончил химический факультет и теперь работает как лошадь, с утра до ночи. Он боготворит Иэна, а кроме того, составляет шахматные задачи. Думаю, что он тайно влюблен в Люси. Но я также думаю, что все мужчины должны влюбляться в нее более или менее тайно. С вами это тоже может случиться.

— Не думаю, — сказал Алекс и тут же добавил: — Хотя я ничего не имел бы против. Я хотел бы кого-нибудь полюбить.

Теперь они выехали на приморскую автостраду, бегущую вдоль обрывистого берега. Слева, внизу, в двухстах футах под ними, шумело море. Издали виднелись белые гребешки волн, направляемых косым ветром в сторону белых меловых скал. Шоссе вошло в тоннель, и минуту они сидели в темноте, разреженной лишь мельканьем убегающих назад ламп, расположенных вдоль стен. Впереди сверкала яркая арка, которая все увеличивалась, и наконец, они снова вылетели на дневной свет.

— А с вами этого еще никогда не случалось? — в голосе Сары прозвучал явный интерес.

— Нет. То есть, несколько раз мне казалось, что это так, но в конце концов выяснялось, что я дорожу этим значительно меньше, чем хотелось бы.

— А вам хотелось бы, чтобы вы этим дорожили?

— В определенном возрасте мужчина ищет любви. Позже это проходит.

— Вы так полагаете? — Они миновали уже второй маленький городок. — Шорхэм... — с грустью сказала Сара. — Я была здесь когда-то с моим первым женихом. И тогда у меня были те же иллюзии, что и у вас. — Она вдруг рассмеялась. — Ну и лгуны же мы с вами! Ведь человек всю свою жизнь с того момента, когда начинает осознавать, и до того мгновения, когда перестает чувствовать, видеть и слышать, не занимается ничем другим, кроме поисков любви! Вы, я, все люди в этом городке, да и во всем мире — мы все ищем, ошибаемся, падаем, встаем и снова ищем, пока у нас хватает сил, пока мы живы. Нет такого возраста, в котором это проходит.

И не надо иллюзий. Только любовь связывает нас с истиной. Только любовь позволяет нам быть писателями, актерами, вождями, столярами и бороться за то, чтобы добиться большего, чем у нас есть. Без нее мы ничего не значим и даже сами себе не нужны. А вот и Мэлсборо! Сейчас будем дома!

Алекс молчал. Маленький городок, красивый и утопающий в садах, построенный вокруг небольшого готического храма с древней каменной башней, состоящий из домиков, стены которых крест-накрест пересечены дубовыми досками, помнящими еще времена Тюдоров, приближался, поблескивая вывесками небольших, чистеньких магазинчиков.

— А что, старик Мэлахи Ленеган все еще присматривает за своими розами? — спросил Джо. — Я познакомился с ним во время войны, когда проводил отпуск после ранения в гостях у Иэна. Мы тогда оба были контужены, он, наверно, рассказывал вам об этом?

— О том вашем прыжке с горящего самолета? Да, он говорил о нем так, будто выпрыгнул в сад из окна первого этажа. Кажется, тогда еще осколок зенитного снаряда пробил ему руку? Вы прыгали ночью, правда? И был еще с вами кто-то третий?

— Бен Паркер, — сказал Алекс.

— Вы с ним видитесь?

— Иногда...

— Иэн говорил мне, что он теперь инспектор Скотленд-Ярда. Вроде бы... — Она поколебалась. — Вы спрашивали о старом Мэлахи. Да, он такой же, как всегда... Я люблю его, и мне кажется, что он тоже когда-нибудь меня полюбит...

Вдруг она резко затормозила.

— Господи! Хорошо, что вы мне напомнили!

Она развернулась на месте, задев покрышками тротуар, и помчалась обратно в Мэлсборо.

— Что случилось? — спросил Алекс.

— Табак! — Она затормозила перед ближайшей лавочкой. — Выйдите, пожалуйста, вместе со мной и помогите мне выбрать табак для него. Меня не было дома две недели. Не люблю приезжать с пустыми руками.

Они вошли. Джо попросил завернуть большую голубую пачку «Медиум плейерс» и купил от себя хорошую, простую трубку.

— Подождите, пожалуйста, меня еще минуту возле машины, — попросила Сара и быстро зашагала вверх по улице.

Он смотрел на ее маленькую, удаляющуюся легким, упругим шагом фигурку, и к своему изумлению, подумал: неужели она и в самом деле сбила бы ту девочку... Он знал, что сам бы свернул обязательно, даже на самой большой скорости, если б только успел. Ведь всегда есть шанс спастись. А у ребенка, которого на такой скорости ударит машина, — нет...

Он увидел Сару. Она вышла из магазина с двумя одинаковыми свертками в руках.

— Это для девушек, — сказала она, — для Кейт и Норы. Для Кейт светло-голубой ситец, она молоденькая и у нее золотистые волосы, а для Норы серый с белыми цветочками. И на ярд больше, потому что Нора в последнее время жутко растолстела. Это наша кухарка. А Кейт — горничная. Ну вот, теперь все.

Они снова поехали.

— Вы действительно переехали бы ту девочку, если б не удалось затормозить? — спросил Джо.

— Да. На такой скорости «ягуар» не удержался бы при резком повороте. Не было места. Мы влетели бы в ров, за которым через каждые пять ярдов дерево. В одно из них мы бы угодили. И тогда, вероятнее всего, мы оба погибли бы. Я не имею ни права, ни причины ценить жизнь чужого

ребенка выше, чем мою и вашу. Но я сделала все что могла, чтобы этого не случилось.

— Но ведь вы ехали с превышением скорости.

— Причиной несчастного случая было бы не превышение скорости, а отсутствие присмотра за ребенком.

Алекс не ответил. Некоторое время они ехали молча.

— Хоть в глубине души вы разочарованы, что я не выгляжу рыцарем без страха и упрека, но сами знаете, что я права. Взявшись вести эту машину, я приняла на себя обязательство охраны наших жизней в той же степени, в какой эта мать, рожая ребенка, приняла на себя обязательство заботы о нем. У меня был только один выход: сделать все, чтобы спасти ребенка, не убив при этом вас и себя. Однако не будем об этом... — Она неожиданно рассмеялась. — Между мужчинами и женщинами есть определенная фундаментальная разница: мы никогда не анализируем того, чего не случилось. Мы приехали.

Автомобиль замедлил ход и свернул на узкую асфальтовую дорогу, ведущую к расположенной на берегу моря большой группе деревьев.

Шоссе здесь отклонялось на север, огибая имение широкой дугой; внутри этой дуги находились парк и дом, стоящий фронтоном к парку, а тыльная его часть была обращена к обрывистому берегу, от которого его отделял большой двор, окруженный каменной балюстрадой. «Ягуар» проехал в распахнутые ворота, возле которых с наружной стороны Джо заметил небольшую туристическую палатку, поставленную на траве под могучим, ветвистым дубом. Они медленно въехали в широкую аллею, Сара нажала на клаксон и, не снимая с него пальца, подъехала к самому дому, непрерывно сигналя.

— Я всегда так делаю! — воскликнула она. Ее глаза светились радостным темным блеском.

Они остановились перед низкой террасой, на которую выбежала женщина в белом платье, а за ней высокий светловолосый мужчина в белом пиджаке. Джо узнал в нем Иэна Драммонда. Не говоря ни слова, Сара открыла дверцу, взбежала на террасу и повисла на шее у своего мужа.

IV. Джо Алекс находит убийцу

Первой мыслью Алекса, когда он вышел из автомобиля и начал подниматься по широким ступеням на террасу, было яркое и острое воспоминание о том дне, когда он с рукой на перевязи и забинтованной головой однажды поздним вечером высадился из зеленого джипа, принадлежавшего Королевским военно-воздушным силам, и вместе с Драммондом и Паркером остановился перед этим домом. Только по узеньким полоскам света, проникавшим сквозь щели в плотных шторах, они могли тогда убедиться, что дом по-прежнему обитаем. Это было пятнадцать лет назад... нет, точнее, шестнадцать. Тогда шел дождь, резкий и косой, подгоняемый налетавшим с моря штормом. Не только этот дом, но и вся Англия была в то время погружена во тьму. Над островом бушевала гроза войны, и каждую ночь эскадры с черными крестами тянулись с континента, неся на Англию свой смертоносный груз.

А сейчас светило солнце, и война осталась так далеко, что казалась лишь сюжетом давно просмотренного фильма. Теперь она стала какой-то нереальной, и она, и все павшие на ней. Дом с того дня почти не изменился. Зато изменился Иэн Драммонд. Теперь он уже не был тем молоденьким стройным офицером, он стал гражданским в полном смысле этого слова: высокий, румяный, светловолосый и слегка располневший, он стоял сей-

час в белом пиджаке и прижимал к себе хрупкую темноволосую девушку, которая что-то оживленно рассказывала ему, не обращая внимания на присутствующих. Эдакий добродушный, милый англичанин, около сорока, довольный жизнью, уверенный в себе и порядочный, идущий без колебаний однажды избранным путем. Лишь очень высокий лоб и слегка рассеянные, глядящие вдаль, умные глаза могли подтвердить предположение, что это человек определенно незаурядный — ас в своем деле.

Алекс поднялся на верхнюю ступеньку террасы. Драммонд деликатно освободился из объятий Сары и протянул ему руку.

— Ты не меняешься! — сказал он. — Я скоро стану толстым, морщинистым стариком, а ты, Джо, по-прежнему будешь выглядеть как подпоручик. Хорошо, что ты приехал! — Он обернулся и воскликнул: — О, прости, Люси! Познакомьтесь! Вот это и есть тот самый Джо Алекс, рассказами о котором я надоедал вам, как только вы позволяли мне вспоминать о войне! А это — Люси Спарроу, жена моего друга и коллеги по работе... ну и к тому же, превосходный врач. Наверняка Сара рассказала тебе о ней по пути.

— Разумеется! — сказала Сара. — Я насплетничала о вас всех, включая и тебя. Мы ведь представляем собой довольно занятную группу. А может, это только нам самим так кажется?

Джо пожал загорелую женскую руку с длинными сильными пальцами. И только потом посмотрел Люси в лицо.

Сара была права. Он увидел перед собой высокую, стройную молодую женщину с волосами настолько светлыми, что казались почти белыми. Большие серые глаза, которыми она взглянула на Алекса, были умными и спокойными, но одновременно неуступчивыми, и в них таилось еще что-то, что он назвал бы кроткой гордостью. Будто они знали, что Люси Спарроу всю свою жизнь делает только то, что считает достойным и правильным, и потому не видели причин, по которым она должна была бы их прятать или отводить в сторону. Овальное лицо с немного выступающими скулами было завораживающе красивым, и казалось, его изнутри освещало сияние, подобное тому, какое можно увидеть на портретах задумчивых женщин Вермеера.

— Очень рада с вами познакомиться, — сказала она звучным, мелодичным голосом и улыбнулась. Джо увидел при этом два ряда столь неправдоподобно красивых зубов, что с трудом оторвал от них взгляд. — В рассказах Иэна вы представляетесь чем-то средним между Святым Георгием и Дон Кихотом нашей авиации, — в ее глазах мелькнул веселый огонек. — Вы это подтверждаете?

— Конечно! — Джо Алекс склонил голову. — Чем лучше о нас говорят, тем лучше. — Лишь теперь он смог окинуть взглядом всю ее фигуру. Она была одета в простое, белое ситцевое платье, а ее стройные обнаженные ноги были обуты в сандалии, застегнутые большими деревянными пряжками голубого цвета. Никакого цветка, никакой косынки, только маленький рубиновый кулон на тонкой цепочке сверкал в вырезе платья на слегка загорелой нежной шее. Когда она шевельнулась, рубин блеснул темно-красным пламенем и угас.

— Разве я не говорила?! — сказала Сара, которая стояла рядом с ними, держа Иэна под руку. — Она совершенно необыкновенна!

— Сара, умоляю...— легкий румянец покрыл щеки Люси Спарроу. — Я прошу тебя, дорогая...

— И подумать только, — рассмеялся Иэн, — что взрослые люди позволяют этой девчонке вырезать целые куски из единственного инструмента, который Господь дал им для размышлений! Ну что ж, если мы не можем этому помешать, пошли, по крайней мере, наверх. Я покажу тебе твою

комнату. Вещи оставь в машине. Сейчас их возьмет Кейт, — он указал на молодую полнощекую горничную, одетую в черное платье и белый чепчик, которая появилась в дверях и сделала радостный книксен перед Сарой.

— Большое спасибо! — Алекс вернулся к машине и поставил на землю сперва чемодан Сары, а затем все свое имущество. — Если можно, мисс Кейт, возьмите только папку и пишущую машинку, а с чемоданами я сам справлюсь.

Но Иэн уже подхватил больший чемодан и папку, так что Алексу осталось лишь взять машинку и второй чемодан. Они стали подниматься по лестнице к входной двери, и прежде чем вошли в холл, Алекс обернулся.

— А чья это пишущая машинка? — спросила Люси, стоя на террасе и продолжая разговор с Сарой, которая собиралась снова сесть в автомобиль. — Святого Георгия или Дон Кихота?

— Дракона и Санчо Пансы.

Люси тряхнула головой.

— Настоящая дама ничего не понимает в машинах и убеждена, что их выдумали мужчины, чтобы иметь достаточное количество гаек, которые можно откручивать и закручивать в свободные воскресные вечера. Я, например, не разбираюсь ни в каких машинах, даже пишущих.

— О Господи, — сказала Сара, — в таком случае я поскорее загоню мою машину в гараж и больше не буду о ней вспоминать. — Она помахала рукой, села за руль и захлопнула дверцу.

Люси медленно поднималась по ступеням, направляясь к каменной балюстраде над обрывом.

— Пошли, — сказал Иэн, — если ты, конечно, можешь оторвать взгляд от этой молодой дамы.

— Могу, — Алекс вошел в прихожую. Это был огромный светлый холл, оставшийся, вероятно, со времен, когда Саншайн Мэнор был оборонным средневековым владением, и еще не подвергся всем тем преобразованиям, к которым новые веяния моды и меняющиеся условия жизни вынуждали очередных его владельцев. Холл пронизывал дом навылет, разделяя его на две части, и заканчивался большой, застекленной и зарешеченной мастерским узором двустворчатой дверью, сквозь которую виднелись деревья главной аллеи парка, лежащей на той же оси. Посреди одной из стен находился огромный камин, обложенный каменными плитами и украшенный родовым гербом Драммондов. Рядом с камином куда-то направо вверх вела узкая лестница. Следуя за Иэном, Алекс силился припомнить, куда же эта лестница ведет. Словно сквозь туман, он помнил лишь темные резные балки потолка коридора и надпись на одной из них: *Чти Господа под этой крышей, и она никогда не рухнет на твою голову — год 1689...* Или, может, 1699-й?.. Они миновали поворот. Джо глянул вверх.

— Восемьдесят девятый! — сказал он вслух. — Значит, не забыл!

Иэн обернулся.

— Будешь жить в той же комнате, что и тогда. Я подумал, что тебе будет приятно снова там оказаться.

— Это та, слева?

— Да.

Они поднялись на второй этаж и остановились у наружной двери. Во всю длину дома тянулся узкий, темный коридор, освещенный лишь двумя небольшими окнами, расположенными с обоих его концов. Алекс глубоко вдохнул. У дома был свой аромат. Этот аромат сразу вернулся к нему вместе с остальными воспоминаниями. То была смесь запахов пасты для пола, старой увядшей лаванды, сухого дерева и еще какой-то неуловимой примеси, которую он готов был назвать ароматом веков, чем-то, что остается от многих поколений людей, живших под одной крышей, от их одежды,

домашней утвари, оружия, ковров, картин, цветов, увядших много веков назад, и лекарств с названиями, уже забытыми современной медициной.

Иэн открыл дверь, пропустил Алекса вперед, потом вошел следом и поставил чемодан на пол.

— Даже часы все те же, — сказал Джо. — И точно так же, как тогда, не идут. Я, помню, завел их, и потом они били каждую четверть часа. Такой приятный мелодичный бой, как у музыкальной шкатулки.

Он осмотрелся. Над кроватью висела картина, изображающая джентльмена на коне, пересекающего ручей в погоне за лисой. Всадник был одет в красный охотничий фрак, рядом мчались, свирепо лая, борзые псы. Джо вспомнил, как, лежа в постели и разглядывая эту картину в последнюю ночь перед возвращением в эскадру, он размышлял о своем будущем. Он не верил в то, что увидит окончание войны. Тогда он вообще не мог себе представить, что война закончится. Шел год тысяча девятьсот сороковой, и это было время, когда крыши рушились на голову даже тем, кто свято чтил Господа.

— Боже мой, как все это давно было, Иэн... — сказал Джо, и они глянули друг на друга, улыбаясь с чувством той легкой неловкости, которую испытывают взрослые мужчины, когда вдруг становятся сентиментальными на трезвую голову.

— Да... — Иэн покивал головой. — Но хорошо, что уже закончилось. Ладно, оставляю тебя одного. Примерно через час будет ланч. Познакомишься со Спарроу и молодым Дэвисом, моим ассистентом. Они не встречали вас, потому что заняты в лаборатории. Я тоже иду туда. Если тебе что-нибудь понадобится...

— ...то здесь есть звонок для вызова службы! — перебил Алекс, указывая на скрытую за спинкой дубовой кровати кнопку. — Я помню.

Иэн молча улыбнулся и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Алекс еще некоторое время стоял посреди комнаты, осматриваясь. Потом начал неторопливо распаковывать свои чемоданы. Управившись с этим и умывшись с дороги в маленькой, примыкающей к комнате ванной, выложенной старинным голубым кафелем с изображением греческих богов, одетых в костюмы голландских мещан восемнадцатого века и разыгрывающих сцены из «Метаморфоз», он вернулся в комнату и уселся в удобном кресле за маленьким столом, на который поставил свою пишущую машинку, и открыл ее. Он испытывал странное чувство, будто его в полном сознании погрузили в какой-то давно снившийся сон и велели еще раз заново пережить все то, что уже прошло и закончилось. Он даже ощущал то же самое беспокойство, которое непрерывно мучило его тогда и в котором в те времена он не признавался даже самому себе. Тогда он боялся. Он боялся той минуты, когда снова вернется в эскадру и с наступлением ночи выйдет вместе с другими пилотами на затемненный аэродром, и зашагает к почти невидимой цепочке стоящих там тяжелых боевых машин. Одна из них снова поднимет его в жуткий мир блестящих, как ножи, прожекторов, тихого хруста осколков рвущихся рядом зенитных снарядов и страха перед ночным истребителем, который невидимо приближается в темноте, как приближается молодая летучая мышь к большой, толстой и неповоротливой ночной бабочке. Со временем это прошло. Он даже забыл об этом страхе. И вот сейчас он сидел, крепко сжав пальцами подлокотники кресла, и ждал, когда часы пробьют шесть раз. Именно в шесть часов должен был тогда заехать за ними джип из военно-воздушной базы.

Джо невольно взглянул на циферблат. Но часы молчали. Алекс встал и подошел к ним. Часы были старинные, темно-золотистые, а за стеклянной дверцей находился маятник в виде солнца с лицом девушки, развевающиеся волосы которой были его лучами. Выше, на белом диске, находились

строгие римские цифры, нанесенные голубой эмалью. На самом верху взлетал в небо золотистый крылатый юноша с прижатой к губам длинной тонкой трубой. В нижней части циферблата стояла надпись: «I.Godde a Paris». Алекс открыл часы, сунул палец под маятник и нащупал большой железный ключ. Когда он заводил часы, их механизм тихонько урчал. Джо легонько тронул пальцем лицо-солнце. Маятник качнулся, и раздалось негромкое мерное тиканье. Джо взглянул на свои наручные часы. Без десяти двенадцать. Он установил на соответствующее время стрелки настенных часов, еще раз окинул взглядом комнату и вышел.

Ланч подавали на террасе со стороны парка. У стола стояла Сара, казавшаяся сейчас выше и стройнее в серой юбке, белой блузке и туфлях на высоких тонких каблуках. Она составляла в большой вазе композицию из цветов и беседовала с круглолицей Кейт, которая как раз принесла поднос с бутылками. Саре помогал высокий молодой человек, и Алекс догадался, что это Филипп Дэвис. У него были темные, коротко стриженные и гладко зачесанные назад волосы, небольшие усики и приятные голубые глаза. Филипп без сомнения был привлекательным молодым человеком, хотя сразу было видно, что сам он об этом не очень заботился. Из нагрудного кармана серого фланелевого пиджака торчали четыре карандаша, а галстук, как сразу заметил Алекс, был отвратительно неумело завязан в грубый, бесформенный клубок, который трудно было назвать узлом.

— Познакомьтесь, — сказала Сара, взяв у Филиппа две белые розы. — Это мистер Дэвис, сотрудник Иэна, а это — мистер Алекс, который любит детей и не любит женщин, управляющих автомобилем.

Алекс пожал руку молодому человеку.

— Я люблю и женщин, и детей, и автомобили, — сказал он негромко, — но все они требуют заботы. Правда, хорошо разбираюсь я только в автомобилях.

— Да-да, конечно, — Сара насмешливо помахала розой, которую держала в руке. — Не думайте, что Иэн рассказывал мне только о ваших воздушных приключениях. Мы о вас многое знаем...

— Так значит, вы тоже принимали участие в том знаменитом налете на Пенемюнде! — с уважением сказал Филипп. — Я читал об этом, а мистер Драммонд рассказывал нам когда-то, как это происходило. Вы пилотировали тогда бомбардировщик?

— Да.

Иэн Драммонд показался в дверях:

— Он тогда пилотировал и восемь раз выводил нас на цель. Мы никак не могли пробиться сквозь заслон зениток и истребителей, и целых два часа болтались над Балтикой. Помнишь... мы тогда увидели огни Швеции. Это было совсем как в сказке. Во всей Европе не горела ночью ни одна лампочка, а тут вдруг мы еще издалека увидели освещенные города, неоновые рекламы на улицах и свет фар автомобилей, мчащихся по шоссе... Пожалуй, это была наихудшая ночь в моей жизни...

Иэн подвинулся, пропуская мужчину, которого Алекс еще никогда не видел.

— Мистер Спарроу, — представила Сара, — счастливый обладатель нашей прекрасной Люси.

Спарроу, будто не слыша, подошел к Алексу и подал ему руку. Это была большая, тяжелая рука с короткими, широкими пальцами. Алекс произнес несколько любезных слов, а когда Спарроу подошел к Драммонду и что-то негромко сказал ему, присмотрелся к этому человеку. Гарольд Спарроу был невысоким, но атлетически сложенным мужчиной с очень широкими плечами. Если бы не очки, его можно было бы принять за борца-тяжеловеса. Из-под этих очков смотрели проницательные светлые глаза, оттененные

темными бровями. Вероятно, он был немного старше Драммонда. Глядя на него, Алекс подумал, что, пожалуй, мало есть вещей, которых этот человек не получит, если очень захочет. Вся его внешность выражала решительность, уверенность в себе и волю.

Со стороны парка приближалась Люси в том же белом платье, в котором Джо увидел ее впервые.

— Прошу всех за стол! — Сара кивнула стоящей в дверях горничной. — Я уверена, что все очень проголодались. Когда светит солнце, у людей улучшается аппетит. Не так ли, Люси?

— Медицина ничего об этом не говорит. Но, похоже, это верно. Однако я не хочу вспоминать о своей профессии. Послезавтра у меня очень сложная операция.

— А разве у нейрохирургов бывают простые операции? — спросил Драммонд, потянувшись к салату.

— Да. Но эта будет сложной. — Люси умолкла.

— Ну, расскажи, — Сара отложила нож и скрестила пальцы рук. — Всякий раз, когда ты говоришь об этом, я чувствую себя беззащитной. А это очень и очень приятно — быть беззащитной хоть пару минут.

— Сама операция наверняка бы вас не заинтересовала, — Люси рассмеялась, однако нервно прикоснулась к рубиновому кулону. — Операция — это несколько людей, одетых в белое, и один человек, который спит и не знает, что с ним происходит. Никто, кроме хирурга, который оперирует и атакует болезнь, затаившуюся внутри живого, беззащитного человека, не знает, чего это стоит. Однажды я передала ланцет ассистенту и упала возле операционного стола. Меня полчаса приводили в чувство. К счастью, теперь я уже так не волнуюсь. Но вначале я иногда впадала в панику. Это самое страшное для хирурга. Идет операция, дорога каждая секунда, а тебя вдруг охватывает ужасное предчувствие, что ты заблуждаешься, что вот сейчас у тебя дрогнет рука и что в самый ответственный момент ты промахнешься на сантиметр или даже на миллиметр, что часто одно и то же, — и больной не проснется... — Люси говорила все это совершенно спокойно.

Алекс быстрым взглядом окинул присутствующих. И хотя они сидели под лучами яркого солнца в летний полдень, за накрытым столом, среди клумб с распустившимися цветами, все выглядели так, будто ничего этого не замечали. «Люди всегда слушают такие истории очень сосредоточенно... — мимолетно подумал Джо, — потому что знают: в любой момент это может случится и с ними, и они могут оказаться на том столе. Они хотят знать, о чем думает врач в такие минуты». Он заметил, что Спарроу смотрит на свою жену с явной гордостью. Вторым человеком, который не сводил с Люси глаз, был юный Филипп Дэвис. Казалось, он воспринимал каждое ее слово как божественное откровение. Этот точно влюблен, даже не рассчитывая на взаимность. Алексу вдруг стало жаль этого парня, и как обычно бывает в таких случаях, он ощутил к нему невольную симпатию.

— Это женщина, — продолжала Люси, положив на тарелку ломтик ветчины с блюда, которое подал ей Драммонд. — До недавнего времени она была самой нормальной женщиной в мире. У нее муж и маленький ребенок. К счастью, она начала не с ребенка, потому что в этом случае у нее бы, вероятно, получилось... Однажды, когда муж вернулся с работы, она бросилась на него с кухонным ножом. Ему удалось ее обезоружить, а соседи, вбежавшие в их квартиру на его крики, вызвали врача. Ее доставили в психиатрическую клинику, ибо налицо были все признаки безумия. К вечеру женщина пришла в себя. Она ничего не помнила и ничего не понимала. К ней допустили мужа, соблюдая, разумеется, все меры предосторожности. Они очень любят другу друга, и оба были в отчаянии. На следующий день, когда в комнату вошел санитар, приступ повторился снова. Она бросилась

на него, кусая, пиная и издавая нечленораздельные возгласы. Потом снова все прошло. Ее начали обследовать. Диагноз был все еще неясен, когда она попала ко мне. По некоторым причинам я искала как раз такой случай, потому что мне казалось... — Она умолкла и снова машинально коснулась своего кулона. — Но не в этом дело... У нее небольшая, доброкачественная опухоль, которая давит на мозг. Еще двадцать лет назад она была бы обречена на пожизненное заключение в психиатрической клинике. К сожалению, опухоль атаковала участок мозга, до которого очень трудно добраться... У этой милой, симпатичной женщины прелестная четырехлетняя дочь... Муж в полном отчаянии... Я очень хочу, чтобы мне это удалось... К сожалению, это тот случай, когда есть только «да» или «нет». Либо операция пройдет удачно и пациентка выздоровеет, либо она умрет на операционном столе. Шансы на успешный исход примерно пятьдесят на пятьдесят. Но эти люди мне верят. Муж подписал согласие на проведение операции. Она тоже хочет этого, независимо от последствий. Впрочем, я не удивляюсь — ей, должно быть, очень страшно, когда вот так внезапно она теряет рассудок. К тому же опухоль и так постепенно привела бы к параличу некоторых нервных центров, а потом, очевидно, и к смерти.

— Тогда почему «доброкачественная»? — спросила Сара. — Не является ли такой термин несколько издевательским по отношению к этой несчастной женщине?

— Доброкачественной называется опухоль, которая после удаления не возрождается снова. Однако довольно об этом.

— Хорошо, — рассмеялась Сара. — Я тебя понимаю. Ты думаешь о том же, о чем и я, когда меня спрашивают: «Что вы чувствуете, играя леди Макбет, когда, стоя среди ночи, вслушиваетесь в крик убитого вами мужа?» Иногда я думаю о спектакле, а иногда о новом платье, которое портниха не успела мне сшить. Для нас операция — это экзотика, чуждый и поразительный мир внутри человеческого тела. А для тебя это как бы важный теннисный матч, где надо полностью сосредоточиться и напрячь все силы, чтобы победить.

— Ну, не совсем... — Люси улыбнулась. — Но раз уж мы заговорили о теннисе, может, сыграем сегодня, если ты не устала? Из трех молодых людей, которые до сих пор составляли мне здесь компанию, ни один не играет в теннис.

— Я играю! — возразил Драммонд.

— Но у тебя для этого никогда нет времени, что одно и то же.

— Сразу после ланча — нет, — покачала головой Сара. — Я должна часик полежать. Можем сыграть в два, согласна?

— Вполне!

Подали кофе. Драммонд и Спарроу беседовали вполголоса. Из обрывков фраз Алекс понял, что они говорят об одном из своих последних экспериментов. Филипп прислушивался к их беседе, но было видно, что он обращает больше внимания на то, о чем говорят женщины, которые втянули Алекса в разговор, спросив его мнение о последней повести Франсуазы Саган.

Наконец Сара встала.

— Иэн, — спросила она, — после ланча вы снова будете работать?

— Нет, — покачал головой Драммонд. — По крайней мере не я. Ты же знаешь, что я никогда не работаю после ланча. С утра до полудня и с девяти вечера до полуночи. Зато Гарольд... — он указал на Спарроу, — будет один мучиться над головоломкой, которую мы сами для себя придумали, а теперь не можем найти решения. После ужина я его сменю.

Спарроу молча покивал головой.

— Я останусь с вами, — придвинулся к нему Филипп Дэвис. — Я тут размышлял немного над уравнением «С» и... — он понизил голос. Спарроу

неожиданно ласково обнял его за плечо и, внимательно слушая, удалился вместе с молодым человеком вдоль террасы, бросив всем коротко: — Простите, дела.

— Надо и мне немного полистать свою литературу, — сказала Люси. — Я получила с утренней почтой целый ворох медицинских журналов, и если я сегодня же не просмотрю их, то они покроются пылью, как сотни предыдущих. — Она положила руку на плечо Сары. — Пошли, если ты всерьез хочешь накопить силы перед нашим матчем. Сегодня тебе не удастся выиграть, я уверена!

— Посмотрим! — Сара сложила руки, как боксер, выходящий на ринг, и подняла их над головой. — Я буду сражаться, как львица за своих львят. — Она помахала рукой мужчинам. — Через час можете найти меня на корте, если пожелаете.

Они вошли в дом. Алекс вынул из кармана сигареты и угостил Драммонда.

— По-прежнему «Голд Флейк»? — спросил Иэн. — Знаешь, и я тоже курю их с той поры. — «С той поры» — это, разумеется, со времен их военной жизни, когда сигарет было мало, всего три сорта, из них «Голд Флейк» считался лучшим.

Они закурили и двинулись вокруг дома к террасе у моря.

«Где же этот американец?» — подумал Алекс и сказал:

— Сара говорила мне, что у тебя еще один гость.

— А, Гастингс! — Драммонд улыбнулся и указал рукой на море. — Он отправился на рыбалку со старым Мэлахи. Они взяли лодку и уплыли сразу после завтрака. Он приехал сюда с целым набором всяких американских приспособлений для убийства рыб, словно на войну. Наш Мэлахи только качал головой, глядя на эти чудеса. Потом они отправились на ловлю, и Мэлахи поймал пять превосходных рыбин, а Гастингс — ни одной. Надо было видеть лицо Мэлахи, когда они вернулись! Он выглядел, как олицетворение всех счастливых консерваторов мира, словно хотел сказать: «А что я говорил?! Самые лучшие методы — старые, дедовские». Мэлахи-то взял с собой лишь одну простую удочку, которую получил в подарок от моего дедушки, когда был еще мальчишкой. Он ловил на старые, вонючие куски мяса, надетые на такие крючки, что трудно себе представить, как даже самая крупная рыба может попасться на нечто подобное. Но попадается, представляешь!

Они подошли к балюстраде и остановились, глядя на море. По обе стороны Саншайн Мэнор линия побережья изгибалась, замыкая имение в центре огромного полумесяца падающих почти отвесно белых скал. Далеко на горизонте виднелся дым идущего на запад невидимого парохода. Ближе к берегу море казалось морщинистым и сплошь покрытым мелкими волнистыми барашками. Сверху и с такого расстояния оно выглядело как огромный луг, по которому несутся к берегу бессчетные табуны коней, потряхивая белыми гривами.

— Это лодка? — спросил Алекс, указывая на маленький ярко-красный парус, раскачивающийся на волнах.

— Да, это они. Уже возвращаются.

Лодка медленно приближалась к невидимой пристани, скрытой под обрывом.

— Спустимся к ним, — сказал Драммонд. — Посмотрим, как ему сегодня повезло. Я хотел бы, чтоб он хоть что-нибудь поймал перед отъездом. Иначе его визит будет лишен смысла. Правда, он приехал сюда не только за большой рыбой, однако пока не поймал ничего.

Они двинулись вдоль балюстрады, и там, где она заканчивалась, касаясь громадного валуна, на котором свободно разрослись густо переплетен-

ные кусты дикой розы и боярышника, представляющие собой естественный барьер над берегом, обнаружили начало узкой лестницы с вырубленными в скале ступенями, ведущими крутым зигзагом вниз.

— А что, — спросил идущий следом за Иэном Джо, — этот Гастингс — он тоже химик? Ты не сердись, но я совершенно не знаю знаменитостей в этой области, кроме тебя, разумеется.

— Обо мне говорить не будем! — не останавливаясь, Драммонд развел руками и долю секунды выглядел, как огромная птица на фоне далекого моря и близлежащих скал. — Чем больше я работаю, тем меньше понимаю. В настоящий момент я нахожусь в стадии, когда в моей голове уже распределились по полочкам дела, абсолютно неразрешимые для меня. И с каждым годом их все больше... Так что хватит обо мне. А Роберт Гастингс — великий ученый. Я сказал, что он приехал не только за крупной рыбой. Это правда. Он хотел бы сориентироваться в нашей работе, но даже не это главное. Прежде всего ему хотелось бы, чтоб мы все: Спарроу, я и даже молодой Дэвис оказались в Америке и работали там вместе с ним. Он утверждает, что верит в нас. Это означает, что американская промышленность верит, что сейчас мы немного опережаем их. Я не сказал бы, что это меня сильно беспокоит. Это весьма самодовольная компания, которая убеждена, что весь научный прогресс должен зарождаться только у них. Даже за миллион фунтов стерлингов я не мог бы отказать себе в удовольствии немного опередить их.

Теперь они находились на середине спуска. Лодка приближалась. В ней уже можно было отчетливо разглядеть двух людей, один из которых сидел за рулем с парусным канатом в руке, другой стоял на носу, покачиваясь на широко расставленных для равновесия ногах. Они плыли к тихой пристани, примыкающей к небольшому лоскутку пляжа и скрытой за огромным скальным разломом. Алекс вспомнил, что во время отлива этот пляж значительно увеличивается и по нему даже можно пройти несколько сотен ярдов к месту, где сейчас бушуют волны.

— Кажется, у Гастингса что-то есть! — воскликнул Драммонд и указал рукой. Действительно, человек, стоявший на носу, держал в руке что-то напоминающее большой, продолговатый мешок. Лодка пересекла черту прибоя и, совершив плавный разворот в спокойной воде бухты, зарылась носом в песок. Однако еще прежде чем она коснулась земли, до них долетел радостный крик:

— Наконец-то есть, Иэн! Есть! Я поймал ее! — кричал им Гастингс с лодки. Второй рыболов, сидевший на корме, быстро выпрыгнул, как только лодка коснулась берега, и шагая по колено в воде, ловко подтолкнул ее дальше на берег, используя набежавшую волну. Стоявший на носу спрыгнул на песок, а затем вытащил из лодки на секунду оставленную там добычу. Алекс и Драммонд были уже внизу.

— Глянь! — сказал рыболов. Рыба была на вид жутковатой, почти треугольной, с огромной, отвратительной, зубастой, бессильно разинутой пастью. — Я попал в нее гарпуном! Нам понадобился целый час, прежде чем удалось втащить ее в лодку! Если бы не Мэлахи, я бы ее никогда не поймал. Она вытащила нас в открытое море почти на две мили, несмотря на встречный ветер и поднятый парус. Только там нам удалось попасть в нее второй раз, и тогда она потеряла силы.

— Красавица! — сказал Драммонд, похлопав по хребту рыбу, чешуйки которой больше походили на панцирь средневекового рыцаря, чем на то, что люди обычно именуют рыбьей чешуей. — Познакомьтесь. Это мистер Джо Алекс, мой друг со времен войны, а это — профессор Роберт Гастингс, мой друг и одновременно конкурент в делах, связанных с одним желтым материалом, или точнее, с тем, что можно из него получить.

Алекс пожал руку профессору. Из-под капюшона на него глянули умные, приятные глаза, очень выразительные и спокойные. «Оптимист... — подумал Джо. — Прирожденный оптимист, которому, к тому же, повезло в жизни и который достаточно умен, чтобы понимать: это заслуга не только его самого, но и слепой судьбы». У американца было худощавое лицо с острыми чертами, быть может, и некрасивое, но в целом соответствующее тому, что принято называть мужской красотой и что часто представляет собой смесь загара, энергичности, предприимчивости и радости жизни. «Это один из тех людей, которых любят женщины, собаки и дети. Наверняка охотник, рыболов, возможно, даже хороший пловец или пилот-любитель. Он любит свою работу и хочет достичь в ней совершенства, но одновременно хорошо знает, что жизнь состоит не только из работы...» Обо всем этом Джо подумал, глядя уже не на американца, а на другого человека, который в эту минуту выходил из воды. Из-под капюшона рыбацкого плаща выглянуло старое, сморщенное и обожженное ветром лицо. Но глаза на этом лице были юными, светло-голубыми и чистыми, как у пятилетнего ребенка.

— Подожди, Мэлахи! — крикнул Драммонд. — Мы тебе поможем!

Они дружно подтянули лодку повыше, на сухой песок. Мэлахи выпрямился и взглянул на идущего к нему Алекса.

— Неужели это мистер Алекс? Приветствуем вас в Саншайн Мэнор! Сколько лет! Вы совершенно не изменились, сэр! — Он был явно обрадован.

Алекс сердечно пожал его руку.

— Мэлахи, — спросил он, — вы помните, как мы сиживали здесь, на этой пристани, и разглядывали гуннов, когда они летели из Франции на Лондон? Мы все были озабочены, а вы лишь спокойно попыхивали своей трубкой и говорили, что не то еще выдерживал наш старый, добрый островок, стало быть, и это выдержит.

— А разве я не был прав? — Мэлахи улыбнулся, обнажая ряд белоснежных, здоровых зубов, которые в сочетании с его сморщенным лицом выглядели, как взятые в долг у кого-то намного моложе.

— Вы были правы, — Джо сунул руку в карман. — Мне всегда казалось, что вы курите прямые трубки. Не знаю, верно ли я запомнил? — Он протянул ему коробку с трубкой. — Может, пригодится еще одна?

Старый садовник вытер руки полой непромокаемого рыбацкого плаща и открыл коробку.

— Очень красивая, сэр. Премного вам благодарен. Это хорошо, что вы приехали к нам. Я помню, как вы прибыли все израненные после того несчастного случая с вашим самолетом...

«Сейчас он спросит меня о Бене Паркере...» — подумал Джо, но старик Мэлахи еще раз осмотрел трубку, сунул ее в рот, а потом снова спрятал в коробку.

Все четверо двинулись вверх. Гастингс сам нес свою огромную рыбу, категорически отказавшись от всякой помощи. Он лишь откинул капюшон, и Алекс увидел, что профессор совершенно лыс, но лысина не портила его. Напротив, она придавала ему достоинство, как некогда древним римлянам, чьи лысые мраморные бюсты в глазах наших современников кажутся полными императорского величия.

— Сейчас мы препарируем для вас эту голову, — сказал Мэлахи, — чтоб вы могли увезти ее с собой на память.

Гастингс явно обрадовался этому обещанию и спросил, точно ли ему удастся довезти голову рыбы после столь недолгой обработки, в связи с чем Драммонд тут же припомнил несколько своих трофеев, которые Мэлахи прекрасно законсервировал методом, известным одному ему. Алекс особо не прислушивался к их разговору. «Чего-то тут не хватает, — думал

он. — Но чего? Ага, уже знаю. Он не спросил меня о Паркере. Почему Мэлахи не спросил меня о Паркере?»

— Я хочу посмотреть, как вы будете работать с этой рыбой! — казалось, Гастингс был так этим озабочен, будто решалась судьба главной цели его визита в Англию. — Можно?

— А почему же нет? — улыбнулся садовник. — Пойдемте.

Они двинулись через террасу.

— Поскольку мы не поймали такую рыбу — не будем смотреть на это завистливым взглядом, — сказал Драммонд. — Мы с мистером Алексом немного погуляем по парку. Сегодня слишком пригожий день, чтобы провести его за копчением рыбьих голов. Пошли, Джо!

Он повел Алекса в сторону дома. Гастингс и садовник направились к небольшому домику, стоящему прямо над обрывом и настолько увитому плющом и побегами дикой розы, что, кроме трубы и фрагмента красной крыши, ничего не было видно.

Драммонд и Алекс пересекли холл и оказались на террасе с противоположной стороны дома. Парк сейчас был в самом расцвете лета. Четыре огромных платана, стоящих по обе стороны входа в центральную аллею, словно четверка могучих воинов на страже, сияли на солнце белыми стволами. А дальше парк исчезал за двойным барьером древних лип, под которыми только кое-где виднелись фрагменты исчезающих в глухой тени расчищенных дорожек. Двое мужчин молча вошли в монументальную липовую аллею, которая, как отметил с грустью Алекс, совершенно не изменилась с той поры, когда он увидел ее впервые. «Мне было тогда двадцать лет, — подумал он вдруг почти с отчаянием, — всего двадцать лет... Я был молод...» Но и сегодня он не ощущал себя старым. Каким-то поразительным образом жизнь все время отодвигалась и постоянно оказывалась впереди. Он все еще верил, что настанет день, когда она, наконец, начнется действительно, будто все, что с ним случилось до сих пор, было всего лишь временным состоянием, которое впоследствии сменится стабилизацией и приобретет смысл.

— А знаешь, — сказал вдруг Драммонд, — только совсем недавно я начал верить, что жизнь действительно началась.

Алекс вздрогнул. Иэн произнес это так, будто прочел его мысли.

— Тебе повезло, — ответил Джо, стараясь говорить весело. — Я этого о себе не могу сказать.

— Все еще не можешь себя найти?

— Все еще.

Они снова помолчали.

— И я чувствовал то же самое, когда война окончилась. — Драммонд приостановился, поднял сухую ветку и осторожно убрал с дорожки большую волосатую гусеницу, которая упорно пыталась переползти на противоположную сторону, ничего не зная о ботинках людей. — Поначалу все: моя работа, образ жизни, разговоры в лаборатории и в клубе, улица и все дела, которыми люди занимаются в мирное время, казались мне смешными и бессмысленными. Я смотрел на людей и спрашивал себя: «Что он знает? Что он может понять? Он ведь не летал со мной ночью туда или сюда, не спал в ботинках и комбинезоне в ожидании сирены тревоги и команды “По машинам!”. Ну, что он знает? Что они все знают? Что у меня с ними общего?» А потом постепенно это прошло. Наверно, и ты пережил такое. Тот мир начал блекнуть, стираться и становиться похожим на приключенческий фильм, который вроде бы точно когда-то видел, но в котором, конечно, никак не мог принимать участия я — профессор химии, член Королевского Научного Общества, мирный исследователь, занятый изучением микропроцессов, протекающих внутри почти невидимых пылинок

материи. И, наконец, я в это поверил. Но это было еще не все. Ценность того мира, острота его ощущений и его изумительная, страшная яркость по-прежнему держали меня в оковах. Я непрерывно скучал и тосковал, не мог найти себе развлечений, которые меня бы развеселили, и отдыха, после которого я почувствовал бы себя отдохнувшим. Ты, наверно, не предполагал этого? — спросил он, искоса глянув на друга.

Теперь они шли по узенькой тропинке, которая под прямым углом отходила от липовой аллеи и вилась змейкой сквозь английский парк, поросший кустарником и высокой, давно не кошеной травой, усыпанной полевыми цветами.

— Нет, — искренне ответил Алекс. — Не предполагал. Мне казалось, что ты легче нас всех сумеешь вернуться к жизни и радоваться ей. Даже там... Тогда... Ты не производил впечатления, будто... ну, словно ты все это слишком сильно переживаешь... Потому что я... Знаешь, я боялся тогда... Я жутко боялся, все те годы... — Он тяжело вздохнул.

— О Господи! — Драммонд остановился. — А ты думаешь, я не боялся? Может ли человек не бояться смерти, если он ежедневно, постоянно подвергается опасности погибнуть!? Сначала это может казаться приключением, потом даже страстью, но в конце концов остается один лишь страх. Знаешь, я думаю, что если бы война не закончилась в мае, то в июне я точно бы свихнулся. Я был уже совершенно исчерпан, ну совсем!

— Серьезно?

— Даю тебе слово. Самое интересное — я тогда был убежден, что это именно ты, ты, который всегда был в хорошем настроении и позволял себе шутить даже в самых кошмарных ситуациях... что ты совсем не боишься. Я тебе жутко завидовал. Если б я тогда знал...

— Это очень забавно, — сказал Джо, — что лишь спустя столько лет мы узнаем правду о себе, хотя мы тогда так долго жили под одной крышей и постоянно переносили одинаковые тяготы.

— Я думаю, что все эти годы должны были пройти, чтобы мы нашли в себе мужество сказать правду о своем страхе. Тогда трудно было об этом говорить.

— Да. Тогда трудно было об этом говорить.

Они оказались в точке, где тропинка закончилась, утопая в бездорожье цветов. Здесь стояла деревянная скамейка, а перед ней — низкий каменный столик, покрытый зеленым мхом, на который падал тонкий луч солнца, пробившийся сквозь густые заросли рябинника. Они сели.

— И все же ты отыскал смысл жизни, — задумчиво сказал Алекс. — Наверно, ты прав. Если б я был тобой, я бы его, пожалуй, тоже нашел. У тебя чудесная жена и прекрасная профессия, благодаря которой ты стал тем, кого называют выдающимся человеком. Соединение этих двух факторов, наверно, может дать счастье. Я думаю, мне хватило бы даже одного из них...

— Но ведь и ты наверняка мог бы найти себе чудесную жену, — улыбнулся Драммонд, — и я верю в то, что ты мог бы также рассказать людям много интересного о себе и о них в своих книгах, если бы не писал эти криминальные головоломки. Нет. Я не потому отыскал смысл в жизни. Это понятие, как мне кажется, рождается из того простого факта, что человек, проснувшись однажды утром, говорит себе: «Я хочу жить. Я сам себе нужен. То, что со мной происходит, волнует меня, и я намерен изо всех сил влиять на свою судьбу». Со мной это произошло, когда я уже был женат и приобрел кое-какое имя в науке. В один прекрасный день я проснулся с таким чувством, будто я перестал, наконец, читать длинную, мучительную книгу, которая описывала мои прежние мысли, и взял в руки другую, более веселую, почти детскую. И теперь я счастлив, настолько, насколько взрос-

лый человек вообще может быть счастлив. Ты веришь — теперь я хотел бы прожить сто лет, и для каждого прожитого года я нашел бы полноценное содержание. Мне кажется, человек может сделать много хорошего для себя и других, если действительно захочет. А я — хочу!

Джо Алекс взглянул на него с явным удовольствием.

— Я очень рад! — сказал он искренне. — Я тебе завидую, но, в самом деле, рад за тебя. Верю, что ты будешь счастлив еще очень долго, и пусть это длится как можно дольше. — И как бы устыдившись этого внезапного порыва сердечности, он встал.

Драммонд тоже поднялся со скамьи.

— Интересно, — произнес он после секундного молчания, — а как Паркер через это прошел?

— Не знаю, — Алекс пожал плечами. — Он на восемь лет старше меня. Паркер был уже взрослым, когда мы познакомились. Мне было девятнадцать, а тебе, кажется, двадцать. — Драммонд утвердительно кивнул. — Он был старше нас, — продолжал Джо, — и у него была другая профессия. Он уже тогда работал в Скотленд-Ярде. И в армию он перешел, по-моему, почти по службе. Лучшим доказательством служит то, что до самого конца войны мы не знали, где он работал до 1939 года. Думаю, такие люди, как он, которые постоянно имеют дело с худшей стороной человеческой психики и которые должны постоянно размышлять о том, совершил ли кто-то то или иное преступление, и если да, то почему, вырабатывают в себе инстинкт, подобный инстинкту гончего пса, многократно увеличенному человеческим интеллектом. Я сам иногда ощущаю нечто подобное, когда пишу и пытаюсь вместе с моим вымышленным сыщиком найти и поймать преступника. Бен говорил мне, что тоже испытывает это категорическое внутреннее требование, которое велит ему накладывать на все будничные мысли и дела единственную, стоящую превыше всего, мысль о человеке, которого он должен поймать... — Джо умолк. — Я недавно видел его, — добавил он. — Честно говоря, не далее, как вчера вечером. Мы с ним были в театре, и оба восхищались твоей женой. Она была изумительна.

— А он... — Драммонд заколебался. — Он говорил обо мне?

— Да. Он сказал, что виделся с тобой и что его беспокоит анонимное письмо, полученное Скотленд-Ярдом. Он говорил также, что показывал тебе это письмо.

— Да, — Иэн махнул рукой. — Это полная чепуха! Бен приезжал сюда переодетым, ну совсем как детектив из романа. Сперва он заговорил со старым Мэлахи Ленеганом, который помнит его еще с того нашего отпуска, пятнадцать лет назад. Потом он велел Мэлахи отправиться ко мне и вызвать меня так, чтобы никто об этом не знал. Старик сделал это, причем вел себя так, что когда я потом вспомнил этот эпизод, я не мог удержаться от смеха. Однако в первые минуты я даже встревожился. Мы встретились в домике садовника, том самом, куда пошли сейчас наши рыболовы, чтобы коптить эту голову или, может, делать из нее чучело, не знаю, что там Мэлахи придумывает, чтобы ее законсервировать... В первую секунду я не узнал Бена. Он выглядел, как бродяга, — обросший, в залатанной куртке и грязных теннисных туфлях. Потом мы поговорили. Он, разумеется, категорически отказался от обеда в доме и сразу же после разговора исчез. Он лишь попросил меня, чтоб я показал это письмо Спарроу. Впрочем, чуть позже он по моей просьбе недолго побеседовал с ним. Бен очень просил нас обоих, чтоб мы все сохранили в тайне, ну, то есть, это письмо, но, разумеется, ни Спарроу, ни я не видели никаких причин, чтобы не рассказать об этом Люси, Саре и Филиппу, которому, если уж на то пошло, тоже могла угрожать какая-то опасность, если бы это абсурдное письмо содержало хоть долю правды. А еще Бен просил меня, чтобы я позволил поселиться

одному из его людей в служебной комнате дома — так, на всякий случай, чтобы он был под рукой при необходимости. Я, разумеется, не согласился на это, потому что, во-первых, не желаю жить вместе с полицейским, который за мной присматривает, а во-вторых, само присутствие такого человека рождает определенного рода психоз, который мог бы плохо повлиять на нашу работу. Я лишь согласился дать разрешение двум молодым людям поставить на моей земле палатку прямо возле ворот. Они занимаются ловлей бабочек, но Паркер заверил меня, что день и ночь они будут контролировать доступ в имение, включая лестницу пристани, на тот случай, если бы что-нибудь угрожало нам со стороны моря... — Иэн весело рассмеялся. — Я опасался, что он посадит на одно из деревьев переодетого дятлом полицейского, который будет непрерывно стучать, чтобы оправдать свой наряд. В общем, нас тут теперь охраняют, как жемчужины сераля, да к тому же на ночь Мэлахи еще всегда спускает с цепи двух огромных волкодавов, которые шастают по всему саду, и я не хотел бы оказаться тем любопытным, который с ними встретится. Эти псы натренированы стариком так, что их нельзя даже отравить, потому что они едят только из его рук. Кроме того, Бен сам приедет сюда через пару дней. На это я, конечно, согласился с большой охотой, потому что, независимо от его работы в полиции, он так же, как и ты, один из самых близких мне людей, несмотря на то, что мы так редко видимся. Я думаю, что он, наконец, вздохнет спокойно, когда сам здесь появится... — Иэн снова рассмеялся. — А ты знаешь, что он велел мне обратить особое внимание на Гастингса! Представляешь? Ну неужели они там воображают, что ученый такого ранга всыплет цианистый калий в кофе коллеги?! Но дело даже не в этом. Я был поражен, когда выяснилось, как много Бен знает обо мне и моих исследованиях. О Спарроу, которого он никогда в жизни не видел, он говорил, как о старом знакомом! Впрочем... — тут голос Иэна зазвучал немного язвительно, — если уж говорить о Гастингсе, Бен мог бы меня так настойчиво не предупреждать. У нас и так заведено закрывать на ключ ту часть дома, где находится лаборатория. Туда ведет лишь один путь: через мой кабинет. Ключ к двери кабинета особый, он — единственный, и мы передаем его друг другу из рук в руки, а ночью он хранится у меня в комнате. Кроме того, в кабинете находится прочный несгораемый сейф. Все, что могло бы заинтересовать непрошеных гостей, находится в этом сейфе, а ключи от него только у нас двоих — у Спарроу и у меня. Даже Филипп не имеет к нему непосредственного доступа. Окна всего первого этажа забраны мощными решетками еще сто лет назад, а та часть, где находится лаборатория, оснащена новейшей охранной сигнализацией. Как видишь, наши исследования ведутся в настоящей крепости: собаки, полицейские в палатке, решетки, сейфы, особые ключи! Ну и в довершение всего Бен обязал меня сообщать фамилии всех гостей и предупреждать о тех днях, когда я или Спарроу покидаем Саншайн Мэнор. К счастью, все это уже ненадолго. Я думаю, через месяц мы закончим то, над чем работаем, то есть овладеем технологическими основами нашего метода. Если с одним из нас что-нибудь случится, другой сможет довести дело до конца. А уж потом пусть этим занимается промышленность.

— Я думал, — сказал Алекс, — что химические исследования производятся в каких-то специальных зданиях, а эпоха ученых, работающих дома, давно закончилась.

— Ну разумеется! — Драммонд хлопнул в ладоши — Бог ты мой! Мы проводим массу исследований, но далеко отсюда, то есть не мы сами, — на нас работает целый оперативный штаб. Нам вовсе не нужно находиться там, — мы даем задания и получаем результаты. Каждый второй день именно с этой целью из Лондона прибывает машина. А здесь, на месте, мы занимаемся лишь теоретической работой. Лаборатория нужна нам иногда

только для небольших экспериментов, которые можно проводить на месте. Ею руководит Филипп, и он снимает с нас огромную часть работы при непосредственных опытах, — Иэн умолк. — Думаю, что Гастингс дорого бы заплатил, чтобы узнать, чего же конкретно мы уже добились и далеко ли зашли. Он очень славный человек. Я знаю его давно. Я гостил у него в Америке и пригласил его к себе, если он посетит Англию. Он приехал, и я стараюсь, чтобы ему тут было хорошо. Но он, бедняга, очень хотел бы увезти кого-нибудь из нас с собой.

— Не понимаю, — покачал головой Алекс. — Что это значит?

— Это значит, что может, например, существовать какая-то американская фирма, которая скажет: «Мистер Спарроу, или мистер Драммонд, мы готовы заплатить вам сто тысяч долларов, если вы приедете сюда и отдадите нам свои знания и умение, вместо того чтобы отдавать их кому-то другому. Вы заработаете на своих исследованиях в пять раз больше, чем в Англии, а потом мы готовы заключить с вами еще более выгодный контракт».

— И люди так делают?

— Разумеется! Ну, если бы американский издатель предложил тебе гонорар в пять раз больше английского за первое издание твоей книги, ты бы ее не продал?

— Пожалуй, да... Но в некотором смысле неважно, кто издает книги, однако имеет большое значение, кто пользуется плодами научных исследований.

— Конечно. Поэтому мы и работаем для отечественной промышленности. Но никогда не известно, не окажется ли вдруг, что как раз эта отрасль отечественной промышленности является замаскированной американской собственностью. Это джунгли, мой дорогой! Рядовому химику трудно в них найти дорогу. На этот раз немного легче, потому что мы работаем непосредственно для правительства. Отсюда, вероятно, и проистекает такой интерес Скотленд-Ярда.

— Ну хорошо, — не сдавался Алекс. — А если бы, например, мистер Гастингс переговорил с твоим сотрудником, мистером Спарроу — я, разумеется, говорю это чисто теоретически, — и оба они пришли бы к выводу, что мистер Спарроу не прочь поменять климат и покинуть Англию на годик-другой или просто желает совершить путешествие по Соединенным Штатам, что тогда?

— Ничего, — Драммонд развел руками. — Если он передаст что-либо, что бесспорно является моим открытием, я могу подать на него в суд. Но суд этот будет запоздавшим, потому что секрет уже выскользнул из рук. Поскольку наши исследования общие, я, разумеется, имел бы гарантированный доход со всего, что получил бы Спарроу в качестве практического результата нашей работы. Конечно, все это было бы не очень порядочно с его стороны, но он мог бы, например, сейчас прийти ко мне и честно сказать, что больше его не интересует сотрудничество со мной. Это было бы трудно предотвратить. Наконец, мы могли бы с ним просто поссориться, и результат был бы тот же. Просто в таких случаях заведомо предполагается, что люди начинают работать вместе не для того, чтобы обманывать свою страну и своих товарищей по работе. Но здесь и правда очень многое зависит от этики. Впрочем, если бы Спарроу сказал мне, или я ему, об отказе от совместной работы, но при сохранении тайны и прав собственности на решение проблем, которые мы решили совместно, то отпала бы даже этическая проблема. Я мог бы спокойно отдать свои знания американцам, слегка изменив направление исследований, но, разумеется, пользуясь результатами совместной работы, потому что этого ученый никогда не может избежать. Это очень сложный вопрос... Я говорю об этом лишь вскользь, потому что трудно предположить что-либо подобное. Бедный Гастингс с момента

приезда пытается дать нам понять, что деловые люди его страны носили бы нас на руках. Сам он не только исследователь, но и промышленник, серьезно связанный с производством синтетических изделий. У него блестящий ум! Думаю, что если бы он знал лишь идею, на которой основан наш метод, он очень быстро догнал бы нас. К счастью, он ее не знает. Это все совсем не так просто. Вопреки видимости, наука вовсе не двигается вперед чисто механически. Происходят великие случайности, бывают удачные импровизации, иногда решающими оказываются даже отдельные проблески мысли, вроде тех, которые порой возникают, когда ты уже засыпаешь и, вскочив, наскоро записываешь их в лежащий у постели блокнот... Это прекрасная война умов. И мы, ученые, определенным образом любим ее, потому что это война созидания, а не разрушения. Вот почему это письмо представляется мне абсурдным. Даже если бы наш метод мог бы привести к результатам, превышающим любые ожидания, то все равно — это лишь вопрос времени — пройдет не более двух-трех лет, и все промышленно развитые страны сами научатся применять такую технологию на практике. И после этого тайна уже не имеет такого значения. Речь идет лишь о первенстве в завоевании рынков, о создании хорошей марки данной страны в гонке прогресса. Конечно, в расчет входят огромные суммы за продажу лицензий, и кроме того, остается немного славы для нас, скромных исследователей. Ну и чуточку денег. Даже, честно говоря, много денег. И это все. А через двадцать лет все это окажется безнадежно устаревшим, и на смену придут новые методы и технологии, о которых нам сейчас даже не снится. На том и стоит этот мир. Я прекрасно понимаю, что можно попытаться купить создателей какого-либо интересного производственного метода, я понимаю, что можно действовать в этом направлении. Но угрожать им? Убивать их?! Нет, это абсурд. Никто таких вещей не делает, да и нет в них никакого смысла. Мы можем обвинять крупные концерны во многом, но никогда в бессмысленных действиях. Я не верю во все это.

— Дай Бог, чтоб так было, — вздохнул Алекс. — В конце концов, если ничего не случится, то случится то, что ты предсказываешь. Я тоже не очень верю в такие авантюрные намерения. А если бы они действительно имели какой-нибудь смысл, то я не верю в то, что какое-то постороннее лицо, автор письма, могло быть в это замешано...

— Конечно!

Прогуливаясь, они дошли теперь до восточной стороны парка. Стали слышны удары теннисных ракеток по мячу и приглушенные зарослями голоса.

— Кажется, дамы уже начали игру, — сказал Алекс.

— Точно, — Драммонд взял его под руку. — Джо, хватит рассуждать о всякой ерунде. Поглядим лучше, что происходит на корте.

Он повел Алекса через поляну прямо сквозь кусты фиолетовой сирени. Удары по мячу звучали все отчетливей. Минуту спустя они увидели сквозь деревья сетку, за ней травянистый корт и две подвижные женские фигурки в белом. Обе женщины были в коротеньких шортах и белых майках. На скамеечке у корта сидел Филипп Дэвис и время от времени громко выкрикивал счет.

— Да тут настоящий турнир! — воскликнул Иэн. — Пошли глянем!

— Тридцать—пятнадцать! — крикнул Филипп.

Сара подавала. Она сильно откинулась назад и нанесла мощный удар, который Люси отразила с большим трудом. Сара тем временем была уже у самой сетки. Она бежала стремительно, как мальчишка, — молниеносный удар, и против мяча, посланного в противоположный угол, Люси оказалась бессильной.

— Аут! — сказал Филипп. — По тридцать.

Значит, бросок Сары оказался чересчур длинным. Люси спокойно стояла на задней линии корта, готовясь к приему очередной подачи. Сара подавала снова. Мяч попал в сетку. Вторая подача бывает обычно слабее. Люси на два шага подошла к сетке. Но Сара ударила очень сильно, и мяч, отразившись у самых ног соперницы, не оставил Люси никаких шансов.

— Больше! Подача! — сказал Филипп.

Теперь Сара подала мягче, и Люси отразила мяч длинным кроссом в противоположный угол. Сара успела добежать и резко отразила. Казалось, Люси снова ударит в другой угол, но она подрезала мяч, и он упал прямо за сеткой, даже не подпрыгнув на мягкой траве корта.

— Поровну!

— Прекрасно играют, — сказал Алекс. — Никогда бы не подумал, что никому не известные любители...

— Люси до замужества была одной из лучших юниорок Англии, — рассмеялся Драммонд. — Она великолепно думает во время игры! Я люблю на нее смотреть. Она всегда делает то, что должна сейчас сделать. Сара — это ураган. Если у нее получается — нет противника, который мог бы ей противостоять! Она рубит, как мужчина. Ты бы никогда не поверил, какой сильный удар может нанести эта маленькая ручка. О, смотри!

Люси как раз отразила мяч с конца корта, и казалось, что сопернице ничего не остается, как отразить его с большим трудом обратно, давая Люси возможность сделать с этим мячом все что ей вздумается. Но Сара метнулась как молния и послала мяч в угол, противоположный тому, где стояла Люси, которая отчаянно бросилась к мячу и с трудом сумела отразить его мягким ударом. Пока мяч медленно летел вверх, Сара не сводила с него глаз, подбегая к самой сетке. Ракетка мелькнула в ее руке. Алекс даже не успел заметить всего движения, таким оно было быстрым. Могучим ударом, которого не постыдились бы корты Уимблдона, Сара послала мяч прямо под ноги Люси. Та даже не дрогнула и лишь подняла ракетку.

— Браво! — крикнул Алекс.

Сара улыбнулась.

— Больше! Подача!

И снова удар, отражение, Сара рванулась к сетке, Люси попыталась перехватить мяч, но послала его в аут.

— Состояние геймов: пять—четыре в пользу миссис Драммонд, — крикнул Филипп.

Соперницы поменялись сторонами. Когда они проходили мимо сидящих зрителей, Люси сказала:

— Разбивает меня твоя жена!

Но дышала Люси спокойно, в то время как Сара вся раскраснелась и, склонившись, вытирала лицо полотенцем.

Легкую подрезанную подачу Люси Сара отразила в аут.

— Пятнадцать—ноль, — сказал Филипп.

Вторая подача была мощнее, но Сара отразила ее почти вслепую и с такой силой, что Люси лишь подбросила в руке следующий мяч и перешла на другую половину корта.

— По пятнадцать!

«Она играет как-то отчаянно, — подумал Алекс. — Выигрывает, но играет отчаянно. Она знает, что если перестанет бить по мячу изо всех сил, спокойствие соперницы разрушит все ее атаки и она проиграет. Но это здорово, что она вкладывает столько страсти в игру!»

Люси стояла теперь выпрямившись, у задней линии корта и спокойно смотрела на соперницу. Сара заняла позицию у линии, наклонившись и крепко сжимая рукоятку ракетки обеими руками. Люси подбросила мяч, и к изумлению Алекса, ожидавшего слабого, подрезанного мяча,

который должен был вывести Сару из равновесия, внезапно ударила очень сильно и точно. Сара настолько была застигнута врасплох, что даже не шелохнулась.

— Тридцать—пятнадцать! — объявил Филипп.

Очередную подачу Сара отразила прямо на ракетку соперницы. Люси подала короткий мяч и, когда Сара с большим трудом добежала до него, спокойно прошла вдоль линии, даже не поглядев на мяч.

— Сорок—пятнадцать!

Алекс увидел, что Сара вытирает лицо рукавом. Если сейчас она не соберется, Люси выровняет счет геймов до пять—пять. Он знал, и вероятно, Сара тоже знала, что тогда у нее уже не хватит сил сопротивляться этой точной, хладнокровно мыслящей сопернице.

Люси подала спокойно. Видно было, что теперь она готовится использовать первую же ошибку Сары, чтобы закончить гейм. Но Сара отбила мяч в самый угол корта, вынудив Люси к отчаянной погоне за ним и отражению с большим трудом, а затем с обманчивой небрежностью снова нанесла такой сильный удар в другой угол, что Люси лишь беспомощно развела руками.

— Сорок—тридцать!

Снова подача и снова резкий быстрый мяч в ответ. Люси отразила прямым, точным ударом вдоль линии. Этот мяч должен был миновать Сару у сетки и закончить гейм. Но к удивлению ее самой и зрителей, Сара в фантастическом прыжке отразила мяч. Теперь Люси нанесла мощный удар и рванулась к сетке.

Алекс наблюдал за лицом Сары, которая находилась по ту же сторону корта, где он сидел. Она была сосредоточенна, неподвижна и, несмотря на напряжение, казалось, радовалась. Так, будто борьба только теперь начала приносить ей удовольствие. Не сводя глаз с Люси, бегущей изящными прыжками серны к сетке, она мягко приняла мяч и направила его легкой дугой над самой сеткой. Люси отразила в угол, но Сара интуитивно уже была на полпути, когда ракетка соперницы лишь прикасалась к мячу. И тогда Алекс снова увидел ее настоящий удар. Маленькая, смуглая ручка сделала, на первый взгляд, мягкий округлый взмах, но мяч рванулся, будто вылетев из пушечного ствола. Такого удара не мог бы отразить никто в мире.

— Красиво! — воскликнула Люси, взмахнув ракеткой.

Сара не ответила даже улыбкой. Она стояла, уже готовая принять подачу, склонившись вперед и крепко сжав ракетку.

— По сорок! — Филипп взглянул на сидящих мужчин. — Какой красивый матч, не правда ли?

Теперь подавала Люси. Мяч был легкий, и Сара спокойно отразила его. Люси также спокойно вернула мяч. Наступил обмен простыми ударами: один, второй, бэкхенд, форхенд... бэкхенд, форхенд. Сара, как тигрица, рванулась к сетке и легко срезала.

— Больше у Сары! Сетбол! — Филипп начал нервничать.

Люси была так спокойна, будто игра только начиналась. Она сделала сильную подачу. Сара также сильно отразила на форхенд. Люси сосредоточилась, когда мяч летел к ней, и Алекс понял, что сейчас она сыграет ва-банк. Сара находилась на середине корта, приближаясь к сетке.

Люси нанесла удар, которого не постыдился бы крупнейший мастер, и мяч, словно белая ласточка, мелькнув над сеткой, пролетел в миллиметре от отчаянно протянутой ракетки Сары и упал в нескольких сантиметрах от линии.

— Великолепно! — только теперь Сара улыбнулась и вдруг, подбежав к сетке, перепрыгнула через нее и оказалась на половине корта соперницы.

Люси, опустив ракетку, стояла неподвижно, крепко сжимая левой рукой кисть правой.

— Что случилось?

Алекс и Драммонд вскочили со скамейки, но Филипп опередил их.

— Не знаю... — Люси побледнела. — Кажется, надорвала связку... а может, только растяжение. Ужасно...

— Нет, нет, это пройдет... — Филипп растерянно стоял перед ней, не зная, что делать, и нервно потирал ладони.

— Я думаю об операции, которую мне предстоит делать... — Люси тряхнула головой. — Как болит!

Сара и Драммонд подхватили ее под руки и усадили на скамейку.

— Филипп, — обратилась Люси к Дэвису, пытаясь взять себя в руки и явно превозмогая боль, — будьте добры, принесите мой медицинский чемоданчик. Он в нашем с Сарой гардеробе... — Она повернулась к Саре. — Ты позволишь, дорогая?

— О чем ты говоришь, конечно! — Сара нетерпеливо взмахнула рукой. — Бегите, Филипп!

Филипп Дэвис рванулся будто на крыльях. Сара крикнула ему вслед:

— Это такой черный чемоданчик, он стоит на столике под окном!

— Да, я знаю, — не сбавляя бега, крикнул Филипп и скрылся за деревьями.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Сара, склонившись над рукой Люси. — Это был фантастический удар! Я не удивляюсь, что связка могла не выдержать. Это не очень опасная травма, только пару дней не надо ничего делать больной рукой.

— Не знаю, — Люси покачала головой. Морщась от боли, она прикоснулась кончиками пальцев левой руки к больному месту. — Что-то уж слишком острая эта боль... — пробормотала она. — Боюсь, как бы не пришлось отложить операцию, если наступит ухудшение. — Она выпрямилась и попыталась улыбнуться. — Но идея была недурна. Ты ведь ничего не ожидала такого, правда?

— Даже если б и ожидала, не знаю, что я могла бы сделать. Я не успела даже шевельнуться. Я думала, что ты попытаешься взять меня на бэкхенде. Но это все ерунда, дорогая. Сегодня тебе надо пораньше лечь и не двигать рукой. А завтра посмотрим.

— Если боль уменьшится, а рука не опухнет, — Люси снова прикоснулась к больному месту, — то после нескольких сеансов массажа я буду в состоянии держать в руке нож.

— Нож?! — не поняла Сара. — Ах да, конечно! А я почему-то подумала о еде...

— Нет, хотя за ужином я буду есть, как ребенок, — Гарольду придется все мне резать и намазывать. Но я имела в виду скальпель.

— А вот и я! — закричал Филипп, подбегая. В руке он держал маленький черный чемоданчик.

— Нажмите на замочек вот здесь. Нет, не так — влево...

Он послушно выполнил ее указания, и чемоданчик открылся. Здесь находился набор хирургических инструментов, прикрепленных к стенкам, за одной из перегородок — перевязочный материал, за другой — ряд бутылочек.

— Хорошо, что он всегда со мной, — Люси левой рукой вынула эластичный бинт и заглянула в чемоданчик. — Нет ножничек! Я вынула их утром. Ничего не поделаешь. — Она взяла один из двух длинных острых скальпелей с горбатыми лезвиями. — Будьте добры, разверните бинт! — попросила она Филиппа и протянула скальпель Драммонду. — Отрежь, пожалуйста, примерно полтора ярда.

Филипп растянул бинт, и Драммонд склонился, чтобы его перерезать, но стоило ему лишь прикоснуться скальпелем к натянутому бинту, как тот мгновенно лопнул.

— Никогда бы не подумал, что скальпель такой острый! — сказал Иэн с изумлением.

— Он должен быть даже еще острее, чтобы живая ткань не создавала ни малейшего сопротивления. Это, конечно, преступление, что я режу им бинт. Теперь он уже ни на что не годен... Ну да ладно, натяните бинт здесь, вот так, и медленно обматывайте справа налево, вверх...

Филипп осторожно выполнял ее указания. Когда перевязка была сделана, Люси встала и легонько отстранила мужчин, которые рванулись ей на помощь.

— Ничего, ничего, уже лучше. Даже не очень болит... Через пару минут будет ясно, надо ли делать компресс. Думаю, что, быть может, все хорошо кончится уже завтра. Простите за беспокойство и хлопоты. Но тут, правда, дело не во мне, а в моих пациентах. Малейшая мышечная боль или одно неуверенное движение могут привести к провалу операции и смерти человека.

Выслушивая дружные заверения о том, как все были рады ей помочь, Люси покинула корт, и все направились к дому. Впереди Люси и Сара, поддерживающая ее под руку, за ними Филипп с теннисными ракетками и, наконец, Алекс и Драммонд, который нес чемоданчик.

— Попытаюсь сесть за машинку и что-нибудь сочинить, — сказал Алекс. — На меня прекрасно повлияла наша с тобой прогулка, Иэн. Очень жаль, что мы так редко видимся.

— Мне тоже жаль. Но думаю, что теперь мы как-нибудь восстановим то, что было в старые добрые времена. Через пару дней приедет Бен, и нам надо устроить какую-нибудь общую вылазку. Я мечтаю о том, чтобы выбраться на рыбалку в Шотландию. Мне постоянно не хватает на это времени, но теперь я верю, что оно, наконец, найдется. Можно было бы поехать втроем и остановиться в одном из их мрачных замков, превращенных в отели. Что ты думаешь об этом?

— С удовольствием! — ответил Алекс. — А что ты думаешь о том, чтобы завтра утром мы с тобой отправились на рыбалку здесь и постарались бы поймать что-нибудь еще более отвратительное, чем то, что поймал твой приятель профессор Гастингс?

— Великолепно! Быть может, это и будет маленьким нарушением трудовой дисциплины, которую я сам себе навязал: с восьми утра до полудня, а потом с девяти вечера до полуночи, — но бывает же, что человек нарушает созданные им самим правила. Ладно! После ужина подробнее поговорим о том, в котором часу выедем и какие возьмем удочки. Я покажу тебе мои снасти. — Он рассмеялся. — Я держу их в своей лаборатории, в закрытом на ключ шкафу, на котором собственной рукой нарисовал череп, кости и написал: «Внимание! Не открывать — смертельно опасно!» Только один Спарроу знает, что там удочки.

Они приблизились к дому, вошли в прихожую и один за другим стали подниматься по лестнице.

— Я сейчас загляну к тебе, дорогая! — сказала Сара, задержавшись у двери Люси. — Помогу тебе раздеться...

— Сообщить ли мистеру Спарроу об этом несчастном случае? — спросил Филипп. — Он сейчас в лаборатории или у себя в кабинете.

— Нет. Ни за что. Он не любит, когда его отрывают от работы. Мне все равно сейчас ничем нельзя помочь. Я сама скажу ему, когда он вернется перед ужином.

Левой рукой она нажала дверную ручку.

— Спасибо всем. Если ты будешь так добра, Сара, я подожду тебя.

— Уже иду, — Сара взяла из рук Драммонда чемоданчик и переступила порог. — Я ведь могу пройти к себе через твою комнату. Надо будет только потом спуститься вниз и отдать распоряжения службе... то есть, одной Норе, потому что сегодня суббота, и Кейт сразу после ланча ушла куда-то.

Она вошла, пропустив Люси, и закрыла за собой дверь. Алекс улыбнулся Драммонду и дружески помахал Дэвису.

— Я пошел к себе, — сказал он. — После ужина загляну в твой кабинет.

Он вошел в комнату, остановился и вынул сигареты. В пачке осталось только две. Он вспомнил, что еще одна пачка есть в чемодане, и вынул ее. Но этого не хватит на сегодняшний вечер и на завтра, если придется работать. Он много курил во время работы и тушил сигареты, не докуривая до половины, часто прикуривая следующую от предыдущей.

Джо уселся перед пишущей машинкой. Часы с солнечным маятником за его спиной трижды пробили и утихли. Алекс взглянул на бумагу: «Глава первая».

Он начал размышлять. А что, если... Он вздрогнул, но тема навязчиво возвращалась: тихий, старинный английский дом, лежащий над морем и окруженный с трех сторон густым парком... В доме группа людей: двое ученых, их жены, женщины, знаменитые в своих профессиях — врач и актриса; американский гость, имеющий довольно двусмысленные намерения, плюс к этому — друг со времен войны, автор криминальных романов... Молодой секретарь... Любовные перипетии внутри этой маленькой группы... И вдруг гибнет человек... В полночь звучит выстрел. А может, не выстрел?.. Все просыпаются... подбегают к дверям... Кого среди них нет?

Джо уже знал, кого нет. Он записал на бумажке, лежащей рядом с машинкой, инициалы этого лица. А потом начал размышлять над тем, кто же убил. Пару минут он сидел молча, напряженно перебирая мотивы и их убедительность. Некоторые были очевидными, иные скрытыми, но внезапно его озарила одна мысль. Да! Это был настоящий мотив для криминального романа, мотив простой и ясный, но в то же время скрытый, очевидный и невидимый, ужасающий в своей правдивости. Да. Только этот, единственный человек мог убить!

Джо еще раз склонился над листком и написал две новые буквы. Он уже нашел убийцу. Разумеется, надо будет поменять характеры действующих лиц, быть может, их профессии, возраст, расположение дома и несколько других подробностей. Но весь замысел выглядел очень красиво.

Он склонился над столом, взял новый лист и начал черновое деление будущей книги на части. Фальшивые следы, алиби, мотивы убийства, так, чтобы каждый из присутствующих мог быть подозреваемым. Но убийца будет лишь один... Он может быть только один: именно этот.

— Я тебя нашел! — потер руки Джо. Теперь он знал, что книга скоро будет написана.

Продолжение следует.

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО
при участии Владимира КУКУНИ.



ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

Сон Лейлы

Время, пространство, число...

Реюньон — небольшой остров в Индийском океане, ранее — французская колония, теперь — департамент «заморской Франции». На нем имеется все, что полагается иметь тропическому острову, привлекшему в свое время жадное внимание европейцев, — густые перевитые лианами леса, пышные саванны, вулканы, прозрачные речки, плантации, французские креолы, которые владеют этими плантациями, индийцы и африканцы, которые на них работают. В той колониальной империи, которой Франция когда-то обладала, он представлял собой величину не слишком заметную. Однако Франция обязана ему не только сахарным тростником, кофе и ванилью: остров Реюньон подарил ей одного из крупнейших ее поэтов.

Шарль Мари Рене Леконт де Лиль родился в 1818 году на этом острове от богатой креолки и скромного фельдшера наполеоновской армии. Девятнадцатилетним юношей он, подобно большинству молодых креолов своего класса, отправлен был во Францию продолжать и завершать образование. Тогда Суэцкого канала не было еще и в помине: с Реюньона плыли на юг, огибали Африку, «поднимались» к экватору, пересекали Северный тропик — путешествие было долгим.

Можно представить себе, что этот первый переезд через два океана был не только событием в жизни молодого креола, но и переживанием поэта, что долгое вынужденное созерцание двух бездн — водной и небесной — и длительное ощущение своей затерянности среди них укрепило в его поэтическом сознании те мысли и чувства, которые тяготели над ним на всем протяжении его творчества. Может быть, именно тогда, вглядываясь в огромные тропические звезды, выползающие из-за одного края моря и исчезающие за другим, он увидел то, о чем написано в одном из самых коротких и замечательных стихотворений, увидел, как

Время, пространство, число
С темных упали небес
В море, где мрак и покой.

(Перевод И. Бунина)

Но если это и было так, то по приезде во Францию природу и философию природы заслонил молодому Леконту де Лилю человек — его нужды и его борьба. Несмотря на детство, проведенное в семье плантаторов-рабовладельцев, а может быть, именно потому, что он видел слишком много жестокости и несправедливости в своей среде, он оказался в рядах молодежи великодуш-

ной и передовой, увлеченной идеями утопических социалистов, преимущественно фурьеристского толка.

Как многие молодые люди из «порядочных» семей, Леконт де Лиль изучал юриспруденцию, но заниматься ему хотелось только литературой и журналистикой. Однако сперва пошла полоса неудач, которые и вынудили начинающего законоведа и литератора возвратиться в 1843 году на Реюньон и служить там в суде. Впрочем, всего на два года. Связи с фурьеристами оказались вдруг практически полезными: в 1845 году Леконт де Лиль снова во Франции, в Париже, сотрудничает с газетой «Демокраси пасифик».

Революцию 1848 года Леконт де Лиль принял восторженно. Еще до февральских дней он писал статьи, изобличающие богачей и ратующие за народ, статьи, в которых утверждалось право трудящихся на причитающуюся им долю жизненных благ, а революция именовалась «справедливейшей из войн». Теперь, в первые месяцы революции, он работает в революционных клубах, выступает застрельщиком в петиции республикански настроенных уроженцев заморской Франции, требовавших отмены рабства в колониях. Эта деятельность Леконта де Лиля привела его к разрыву с семьей, материально пострадавшей от освобождения рабов и отрекшейся от мятежного отпрыска.

Неудача июньского восстания парижских рабочих и последовавшее затем поражение революции были для Леконта де Лиля тяжелым ударом. Французские писатели по-разному отозвались на буржуазную реакцию и бонапартистский переворот. Виктор Гюго с гневным презрением ушел за пределы Франции и оттуда продолжал борьбу за свободу. Проспер Мериме сделался сенатором Второй империи. Леконт де Лиль, потерявший веру в народ и его дело, постоянно нуждающийся, скрепя сердце принял маленькую пенсию от правительства Наполеона III, и это вынуждало его к политическому молчанию; он не опубликовал тех антибонапартистских стихов, которые все же писал, но открыто говорил о своем отвращении к современности, в которой видел только прозаическое господство пошлого и прозаического буржуа —

Влача бессмыслицу своих ночей и дней
И в скуке утонув чудовищной своей,
Вы глупо сдохнете, карманы набивая.

Леконт де Лиль, поэт, мыслитель, мечтатель, и ранее искавший прекрасное и высокое в прошлом человечества, имел теперь для этого еще больше оснований. Кроме античности он увлекается эпическими сказаниями и мифами всех народов и всех эпох, которые в середине XIX столетия оказались в сфере внимания европейской филологической науки. Ему открывается Индия вед, Рамаяны и Махабхараты, древнекельтский мир, европейский север Эдды и саг, восток Библии и ислама, легендарное средневековье испанского романсеро и многое другое. Для Леконта де Лиля поэзия — это подруга и соратница истории, особый способ проникать в прошлое и воссоздавать его.

Историческая баллада романтиков — на французской почве прежде всего баллада Виньи и Гюго — всегда была маленькой эпической поэмой. У Леконта де Лиля она приобретает сугубо эпическую строгость: он очищает ее от какого бы то ни было лирического «оценочного», морализирующего комментария, старается раствориться в своих героях, усвоить их психологию, их речевое мышление, передать в своих написанных французским александрийским стихом балладах интонацию тех эпических поэм, легенд и хроник, которыми они были вдохновлены.

Историко-фольклорные увлечения Леконта де Лиля и поэтический стиль в общем не менялись на протяжении всей его творческой жизни, как об этом можно судить по четырем книгам — «Античные поэмы» (1852), «Варварские поэмы» (1862), «Трагические поэмы» (1884) и «Последние поэмы» (вышедшие уже посмертно в 1895 году).

Стихотворения и поэмы первой из них написаны были в основном еще до того духовного кризиса, который постиг Леконта де Лиля после крушения революции. Хотя они тоже обращены к прошлому — эпической традиции Эллады и Индии, но в свете тогдашних фурьеристских чаяний поэта возвышенный, гармоничный и светлый мир, который в них раскрывается, может быть понят как своего рода утопия: память о «золотом детстве человечества» (Энгельс), становящаяся мечтой о его будущем.

В «Варварских поэмах» и в «Трагических поэмах», написанных уже в период духовного кризиса, пережитого поэтом, разорвана связь с мифом и утопией. Богов и полубогов сменяют люди, эпический колорит баллад и поэм Леконта де Лиля становится мрачным, человеческие судьбы, о которых в них повествуется, — безысходными. Источники поэта — по-прежнему эпос, хроника, легенда, но теперь он берет оттуда все самое жестокое и кровавое. Такова для него «поступь истории»; да, род человеческий действительно идет per aspera, но отнюдь не ad astra. Жестокость людей, бессознательно творящих историю, не имеет смысла и оправдания, ибо торжествует всегда то, что грубее, тупее и безобразнее.

Нет поэта, который не отдал бы дани тому, что именуется «лирикой природы». В творчестве Леконта де Лиля природа, и прежде всего родная ему тропическая природа, занимает большое и важное место, но это не лирика, не переживание природы, а повествование о ней. Выполняя данное самому себе задание — быть максимально объективным рассказчиком-живописцем, снять в стихах с природы все личное поэта, все, что он привносит в природу, Леконт де Лиль превращается в щедрого, обстоятельного описателя: поэтический темп становится особо замедленным, строка сменяет строку как бы нехотя, и строки все нагнетаются, чтобы вместить в стихотворение как можно больше предметов видимого мира.

У Леконта де Лиля показано и даже воспето совершенное равнодушие природы к человеку, с которым она не считается, которого она не знает и не хочет знать. И от этого даже самые залитые солнцем пейзажи его таят в себе нечто зловещее и безрадостное. В сущности поэтический сюжет почти каждого такого стихотворения — это повествование о том, как в мире, случайно чем-то потревоженном, снова воцаряются безмолвие и неподвижность.

Все эти приметы поэтического творчества Леконта де Лиля — его формальное совершенство, стремление к зрительной, осязаемой пластичности образа, чеканность стиха — сделали его признанным главой «парнасской школы»: так стали называться группировавшиеся вокруг него молодые поэты, печатавшие свои произведения в сборниках «Современный Парнас» (60—70-е годы).

Неоправданно разочаровавшись в народных силах после революции 1848 года, Леконт де Лиль не изменил своим демократическим убеждениям и фурьеристским симпатиям. Четыре его книги — своеобразный поэтический суд над историей, точнее и конкретнее — над средневековой историей Европы, над христианством и феодализмом, разрушившими примитивный, но благородный, человечный и свободный варварский мир. Ненависть Леконта де Лиля к средним векам так сильна, что ему уже мало «косвенного» эпически-бесстрастного обличения пап, монахов, королей и рыцарей, — он произносит средневековью поэтиче-

скую анафему, где обстоятельно и гневно перечисляются все злодеяния церковника и феодала («Проклятие века»).

Антиклерикальные и даже богоборческие мотивы в поэзии Леконта де Лиля перекликаются с его опубликованным в конце 1871 года памфлетом «Популярная история христианства». Нарочито бесстрастная интонация, с которой излагаются накопившиеся веками изуверства и злодеяния католического духовенства, придает этому памфлету особенно резкую обличительную силу, эрудиция поэта-историка помогает ему находить малоизвестные, но необычайно яркие документы и факты в подкрепление его решительно антирелигиозных позиций. Вообще, после Парижской коммуны, в «младенческий», так сказать, период Третьей республики, Леконт де Лиль вернулся к публицистике. Подобно многим французским писателям той эпохи он не понял значения Парижской коммуны и отрицательно относился к ее деятельности. Однако торжество версальцев, кровавая расправа над коммунарами и наступление реакции насторожили поэта: он выпускает во второй половине того же 1871 года брошюру «Народный республиканский катехизис», в которой требует подлинно демократических порядков, и «Популярную историю французской революции», в которой утверждается право народа на восстание и оправдывается политика якобинцев и их революционный террор.

Противоречивость художественного сознания — свойство почти всех больших писателей и поэтов классического века буржуазии — девятнадцатого. Но к тому, что ясно у художников, непосредственно выражавших свои мысли и чувства, приходится внимательно приглядываться, когда речь идет о таких сложных явлениях, как творчество Леконта де Лиля. Поздние символисты и эстеты учились у него видеть внешний мир, отбрасывая смущающую их пессимистическую философию истории. Но сам создатель «Варварских поэм» никогда не был холодным коллекционером экзотических и исторических раритетов.

Надежда РЫКОВА

Переводчик Георгий Киселев сегодня знакомит читателей «Всемирной литературы» в «Нёмане» с тремя из «Варварских поэм» Леконта де Лиля. Это «Кристина», «Шпага Агатира» и «Суд Комора». В двух первых торжествует мистика, мешающая явь с загробным миром. Но ее герои, однако, не только исповедуют земные ценности — верность в любви, желание отомстить за предательски убитого отца, народного вождя, — но и отстаивают их ценности ценой собственной жизни до конца. В «Суде Комора» ее герой, граф Комор де Кемпер, который несет сторожевой дозор на башне своего замка, являющегося пограничным рубежом страны, уличает в неверности свою жену Тифэн. Он лишает ее жизни за измену, но, не в силах преодолеть любовь к ней, сам выбрасывается из башни в море. И только читатель может сделать вывод, что же в этой трагедии стоит на первом месте — чувство долга и связанное с ним отмщение или все же любовь. Ведь за любовь добровольно идет на казнь Тифэн, любовь движет и старым воином Комором, который не представляет без нее жизни.

Из стихов о природе переводчик представляет в этой подборке следующие творения Леконта де Лиля — «Ручей святого Жиля» и «Берника». Особняком в этой подборке стоит сонет «Сон Лейлы», раскрывающий эстетические чаяния поэта, и стихотворение философского плана «Происхождение Полинезии», своего рода апофеоз диких первобытных сил природы и языческого поклонения им.

Эти стихи и поэмы Леконта де Лиля переведены на русский язык впервые.

Кристина

Златая звезда в долине пустынной
венчает и ночь, и горы, и высь.
Там холм под луной серебряной стынет:
— Что слезы ты льешь, малютка Кристина?
Уж поздно. Ложись!

— Жених мой уснул в холодной могиле,
под черной землей мечтает о нас.
Позволь мне, о мать, молю, как молила,
оплакать того, кому верность хранила,
кто рано угас!

Безмолвствует мать, Кристина в печали,
и вьется дымок над ночным очагом.
Лишь в полночь часы в тиши отзвучали,
как в дверь — легкий стук, невнятный вначале:
— Кто там, за окном?

— Кристина, открой, ты медлить не вправе:
жених твой, я здесь, за дверью, стою.
Над грудью плащом я саван расправил.
Я ради тебя, малышка, оставил
могилу свою.

И сердце ее рвется к сердцу навстречу.
И вечности срок для свидания мал:
лобзаньям она отдалась, не переча.
И вот ночи страж и рассвета предтеча —
петух прокричал.

И песнь петуха новый день возвестила,
в небесной заре погасла звезда.
— Невеста, прощай! Проститься нет силы!
Но мертвым пора возвращаться в могилы.
Прощай до Суда!

— Как терпишь, скажи, о бедный мой рыцарь,
ты там, под землей, рыданье ветров,
когда к тебе дождь осенний струится?
Ты слышишь ли там, в извечной темнице,
мой плач и мой зов?

— Улыбка твоя — словно солнце сквозь росы,
и губы — бутон алой розы, живой.
Мой гроб в лепестках увянувшей розы,
и чувствую я твои горькие слезы
как дождь под землей.

Не плачь никогда, ведь всё быстротечно,
нам счастье с тобой суждено в небесах!

Коль, милая, мне верна ты сердечно,
то Бог наградит нас юностью вечной
в эдемских садах!

— О нет! Поклялась я тебе своей честью:
быть всюду с тобой, мой бедный жених.
О нет! Лягу в гроб твоею невестой,
под бледной луной найду себе место
в объятьях твоих!

Ведет он ее сквозь дебри и топи.
Светлеет уже по краю небес,
они скорый шаг все больше торопят.
По влажному мху едва видны тропы
сквозь сумрачный лес.

Вот старый погост меж сосен и буков:
— Вернись же путем, которым ты шла,
любимая, рок сулит нам разлуку!
Но, в яму ложась, она свою руку
ему подала.

Теперь медный крест тот холмик венчает,
где славно они закончили дни.
О сладостный сон, что всех опьяняет!
Тот счастлив, кто жизнь вкусить уповает
и смерть, как они!

1855

Происхождение Полинезии

В вечном небытии, путы сна разорвав,
великан восстает — сильный Таароа.
Он встает и глядит — он один, тьма вокруг.
Испускает он вопль, слышит ночь первый звук:
нет ответа. В тот миг время начало ход.
Он не слышит себя. Вопль крепчает, растет,
погружается в тень и ныряет сквозь тени.
Сущность Таароа — в череде превращений:
он один и росток, он и свет, и жара,
он долина в горах и над долом гора,
он — яйцо во гнезде ночи-матери По,
он — средь раковин та, где лежится тепло.

Он велит: — Полюса, скалы, толщи морей,
встаньте, выйдя на свет из недвижных теней! —
Их в объятья берет и сжимает пространства;
но природа молчит, холодна и бесстрастна:
и у бездны ее ни начала, ни дна,
и слепа, и глуха, и вне формы она.
Сущий, он был один, кто скатал все в рулон
и метнул, развернув в семь слоев небосклон.
Первой искрой блеснул первородный туман,

и зажегся простор, изнутри осиян.
И вращается свод, и в постели широкой
возлежит океан, неохватный для ока.

Этот мир совершен от вершины до рва.
Бог в восторге, как все сделал Тааро́а.

1858

Ручей святого Жиля

В том ущелье бамбук тонок, вечно в ночи,
не сияет над ним даже солнце в зените,
там сочатся на дне пузырьками ключи
и в молчании дня все плетут свои нити.

По лишайникам вниз и по трещинам лав
побежит ручеек, то исчез он, то ожил,
и, в граните проход наконец-то прорвав,
белый гравий себе избирает он ложем.

В черных и голубых бликах озеро спит,
словно зеркало — гладь, скал прибрежные зоны —
в переплете лиан, чьи цветы среди плит
окружает велюр первозданных газонов.

Каждый кактуса взрыв цветом нежен и ал,
бродит птица средь них, непривычная взору,
как алоэ цветок, разодет кардинал,
и колибри в гнезде его подняли ссору.

Желтоклювых стрижей и зеленых орда
попугаев глядит с высоты острых пиков,
как в мелькании пчел золотых спит вода,
и звучит их полет между солнечных бликов.

Реют выше кустов воспарений клубы,
и висят над тропой туго свитые травы,
вдоль оврага теснясь, вялы, сонны, грубы,
воздух влажный со дна пьют быки Таматавы.

Крупных бабочек сонм в их раскраске цветной
и кузнечиков рой, попрыгунчиков алых,
на горбах тех быков поселяются в зной,
от ударов хвоста гибнут в числах немалых.

А на склоне скалы, раскаленной жарой,
чутко ящерка спит, лежа с гибкостью чудной,
благоденствия дрожь пробежит в ней порой
под бронею ее чешуи изумрудной.

Сытым перепелам предоставил приют,
мох густой, хороня их от жара и влаги,
и в высокой траве терпеливо ползут
к ним, в глазах притушив страсти, кошки-бродяги.

И какой-то мулат, на обломке пород,
сидя возле быков посреди травостоя,
в красном поясе стан, в воздух песенку шлет,
видит остров большой в море тайной мечтою.

Так сияет, поет и цветет в тот же миг
на обоих краях этой бездны проворно
все живое, каким мир украсил свой лик,
что уже обрело краски, звуки и формы.

Этой пропасти глубь и черна, и нема,
с той поры, как гора в серном облаке млечном
из расплава пород, грохоча без ума,
затвердела уже изваянием вечным.

Испускает гора средь небесных зыбей
белый пар, что летит, исчезающий в хмури,
на Родриго, Цейлон, как соломенный змей
и как снега клочок среди чистой лазури.

Над волнами тот пар так похож на стрелу,
если ж мина скалы низвергается взрывом
в усыпленный ручей и озерную мглу,
даже эхо тот шум не родит под обрывом.

О природа, зачем проникать мне в твой путь?
Ты иллюзия лишь и поверхностью лжива,
встретить ярость твою — словно радость вдохнуть,
ты без хмеля пьяна, горяча без порыва.

Как счастливец среди смеха, ропота, слез
равнодушен к молве, сам для счастья причина,
неприступна и ты для похвал и угроз,
как молчания сфинкс и забвенья пучина.

Жизнь напрасно дрожит вкруг угрюмой твоей
верной Богу души, как пещеры аскета,
и беззвучно во тьму, в беспредельность теней,
все летит, лишь стрела в небе — лучиком света.

Словно в небытии, свет здесь брезжит едва,
это отблеск пространств, лучших, ярких, надзвездных!
Это молнии весть, что надежда жива
пробуждать светом жизнь и в могилах, и в безднах!

1858

Шпага Агатира

Вот лежит Агатир в яме, бледен и важен,
взят от света луны и от солнца в полон,
немота на устах, спит с оружием он;
словно павший орел, кто был в жизни отважен,
вереск кровью его вкруг холма напоен.

Море бьется о мыс, изваянием черным
Агатирова дочь на вершине одна,
причитает Гервор над холмом, как жена,
грудь в порезах камней и в царапинах терна,
ее криком герой пробужден ото сна.

Гервор

Агатир, Агатир! Я тебя ради блага
призываю, о вождь, все моря поперек
пересекший и вдоль, покоривший восток,
в кузне гномов лесных родилась твоя шпага,
для защиты моей дай мне этот клинок!

Агатир

О дитя, о дитя, что кричишь ты волчицей
одиноко в краю безымянных могил?
Под гранитом лежу, под землею без сил,
и в закрытых глазах только тьма без границы,
но отчаянный твой зов меня разбудил.

Гервор

Агатир, Агатир, слышу в шуме потока
ясно имя твое, и уносит прибой
в море слезы мои, ветер — плач мой и вой.
Ты ответь мне, герой, из темницы глубокой
и груз камня с землей подними над собой!

Агатир

О дитя, ты меня не буди, как бывало:
хоть гробница тесна, волен дух храбреца.
Отойди! Сладость есть в пораженье бойца;
и на шпаге моей блеск небесной Валгаллы,
и отвратен живой голос для мертвеца.

Гервор

Агатир, Агатир, дай мне, дай свою шпагу!
Как с пробитым брюшком рыбок гонит волна,
Так твоих сыновей тащит, мертвых, она.
Дочь я расы твоей, смерть не гасит отвагу,
и взмахнуть топором, меч поднять я должна.

Агатир

О дитя, о дитя, руки женщины слабы,
только веретено и дано им судьбой.
Прочь иди! Пусть луна светит перед тобой.
Прочь, о женщина, прочь! Только меч ты взяла бы —
и последним тебе стал бы первый твой бой.

Гервор

Агатир, Агатир, не позорь мое имя!
О воитель, свой род не пытайся срамить!

Жажду кровь твоего я убийцы пролить.
Виновата Фенрис! Сможет волк нелюдимый
вырыть кости твои и, грызя, раздробить.

Агатир

О дитя, о дитя, да, сильна ты душою.
Дочь героев должна так вести свою речь,
славу их превзойти, честь их в битве беречь.
Вот бессмертный клинок, пусть он будет с тобою!
Ты за нас отомсти, прежде чем в землю лечь.

Агатир изнутри разрывает могилу,
словно призрак, встает, недвижим его взгляд,
держит он за эфес драгоценный булат,
звонко падает сталь, нет в руках его силы.
«На, возьми!» — говорит и ложится назад.

Возвращается он на последнее ложе,
руки снова кладет на груди поперек.
Поднимает Гервор заповедный клинок,
пряди черных волос ветер мнет и тревожит,
покрывает ее черной ночи платок.

1862

Суд Комора

Мрачно бродит луна среди облачных сфер,
к небесам башня-страж высит каменный стан,
в ней Комор сторожит целость графства Кемпер.

Зимних шквалов кнуты по рубцам старых ран —
башня вынесла все, белым днем и впотьмах
озирая простор, как с утеса баклан.

Грохотавший прибой наводил жуткий страх,
трепетали в волнах, не избегнув судьбы,
тех несчастных тела, кто не выплыл в морях.

Как из бочки хлестал град валунные лбы,
паутинами тряс ветер связки цепей
и по склонам крутил, словно верви, дубы.

В чащах слышался треск омертвевших ветвей,
временами сюда доносился и тих
зверя хищного вой с дюн и ближних полей.

Вот дозорный вверху, из бойниц смотровых
наблюдая, чтоб враг не застигнул врасплох,
ходит, руки скрестив на доспехах стальных.

Он от грохота волн онемел и оглох,
ярость сердца и гнев сжали пальцы в кулак,
и тревожится страж, что был сон его плох.

Он был стар и могуч, уважал его враг.
И живые следы слез по впадинам щек,
по суровым чертам — как страдания знак.

И распятия тень от стены поперек,
рядом колокол с ним, а внизу меж опор
рукоятка меча, обнаженного впрок.

— Тот в часовне прелат, — размышляет Комор
и колени согнул пред дубовым крестом, —
он закончил иль нет с Богом свой разговор? —

Чтоб на башне звонить, продвигаясь с трудом,
в длинной рясе до пят показался прелат,
штору в складки собрал, разделявшую дом.

— Сир! Я действую здесь, как законы велят.
После Божьего — Ваш исполняю, синьор.
Так не пачкайте рук милосердию в лад!

— Хватит, выйди, монах! Смерть — ее приговор,
той, что верный союз наш презрела тайком
и в жилище мое стыд ввела и позор.

— Вора чести червям я отправил на корм! —
только вышел монах, и ударил Комор
дважды в колокол, как молотком, кулаком!

Звон зловещий дошел до подвальных камор
и до склепов проник, где, на шпаге стальной
предки, руки скрестив, спят, как нижний дозор.

Звон утих. Бушевал ветер лишь за стеной,
в берег лезвия волн били с яростью зла,
старой лестницы треск вторил буре шальной.

И красавица вдруг, волосами светла
и с печалью в лице, но спокоен был взгляд,
выделяясь из тьмы, на площадку вошла.

Не дрожа и колен не согнув, как аббат,
видя крест, блок в стене, обнаженный клинок,
встала молча пред тем, кто был гневом объят.

Взглядом, ненависть всю и любовь сжав в комок,
беспощадным ее он окинул, и звук
его речи был глух: — Умереть — вот твой долг!

— Сир, да Бог Вас хранит! Пред венцом моих мук
Богородицу я умоляю, Христа!
Помолиться мне им дайте время, супруг!

Дочь де Ванна Тифэн и в несчастье чиста,
доблесть расы своей и Комора нарыв.
О Христос, призывал ты любить неспроста!

— Я могу подождать, я и так терпелив, —
и супруг отступил от нее в уголок,
и молилась Тифэн, лик власами закрыв.

И на блоке сверкал голой шпаги клинок,
и от факела шел окровавленный свет,
и все трески, шумы ночь сплетала в венок.

И забылась Тифэн, отвлекаясь от бед,
и гирляндою роз подпоясала стан,
словно в юные дни, когда горестей нет.

По равнине бродя, дух цветов, свеж и пьян,
всласть пила той порой, на ее алтаре
оставляя с душой и платок, среброткан.

И любила она в той безгрешной поре
час молитвы святой, что надеждою благ,
знало сердце ее небеса на заре.

В черных тучах заря — этот гибельный брак.
Вместо млада в мужьях старый мрачный супруг,
от зари — ни следа, вместо радости — мрак.

Из похода пришел ее юности друг:
череда тайных встреч, слез и жалоб поток, —
и к паденью привел сильной страсти недуг.

— Иисус, мой конец, знаю я, недалек,
и любимого кровь обагрила металл,
и Комор вновь готов окровавить клинок.

— Ты покайся, жена! Час расплаты настал!
С небом, с адом ли ты? Грех твой смоет лишь кровь!
Я души не возьму, тело — мой капитал!

— Это ненависть, муж, твой закон, мой — любовь,
мой любовник любим будет в вечности мной!
Что ж, возьми жизнь мою, к мести дух приготовь!

— Так умри же, Тифэн, непристойной женой! —
рек Комор и шагнул ближе к ней, удручен, —
Божий суд справедлив, я ж свершаю земной!

И Тифэн, рой волос приподняв над плечом
и на камень главу положив напрямик,
обнажила ее пред своим палачом.

И сверкнула тогда, и вошла в тот же миг,
перед тем просвистев, шпага в шею Тифэн,
жарко брызнула кровь на ее воротник.

И упала Тифэн, а душа выше стен
поднялась, и Комор ее тело с главой
взял кровавым кольцом рук, что обняли тлен.

Он на башню взошел на руках с неживой
и в ревущий поток бросил мертвую — ту,
что смеялась с другим над его сединой.

И он долго смотрел, как летел в пустоту
кувырком бедный труп, как подбитый баклан.
Поглотили его ночь и глубь на лету.

И тогда сотворив крест, седой истукан
испустил дикий вой, и бессмысленный крик
ветер тут же унес далеко в океан.

С амбразуры затем, обезумев на миг,
руки к небу подняв, прыгнул вниз изувер.
Море приняло труп в свой глубокий тайник.

Так скончались Тифэн и Комор де Кемпер.

1862

Сон Лейлы

Ни шума птичьих крыл, ни лепета фонтана;
от неба по траве плывет палящий зной,
и солнце жадно пьет бенгальской тишиной,
как золотую кровь, сок манго неустанно.

В саду султана все плоды уже медвяны
под небом, что горит бесцветной пеленой;
смежая створки век с ресничной бахромой,
Лейла изнемогла, как роза средь бурьяна.

В рубиновом венце лоб локтем затенен;
янтарь ее нагих ног оплетен ремнем
сандалий в жемчугах, что пальчики сужают.

Она с улыбкой спит и видит в сладком сне
любимого, как плод, медвяный в глубине,
чей сок, наполнив рот, и сердце освежает.

1862

Берника

Затерянный в горах каньон меж двух утесов,
мечтающий принять неведомых гостей,
но приводил сюда совсем немногих посох,
и забывал здесь мир скиталец и философ,
не слыша плеска волн и шума площадей.

Цветов колокола дарят камням лианы,
в них сладко спят шмели, от меда опьянев,

и кактусов стеной закрыты все поляны,
и там бежит вода, точа породы рьяно,
и эхом вдалеке звучит ее напев.

Когда рассвет в каньон слетает платом алым,
сей узкий парадиз, курильницей клубим,
светилу воздает, как Богу, фимиамом,
виясь вокруг вершин сиреневым туманом,
что вихрями, как дым, выходит из глубин.

Коль в полдень льет с небес свет, нетерпимый глазу,
сквозь массу облаков дождю пройти не дав,
то все ж его капель от ветви к ветви наземь
стекает, воплотясь в текучие алмазы,
засеяв черноту сверканьем вместо трав.

Сюда, бока в росе, из зарослей тенистых
приходит иногда, пугливо торс прямя
и стадо потеряв, козленок, весь пятнистый,
попить из озерца в венке зеленых листьев,
на камень, что дрожит, встав всеми четырьмя.

Здесь всяких птиц рои свистят, порхают, кружат
и ходят по ветвям, и травам, и везде:
и грудок изумруд одни купают в лужах,
другие сушат их под бризом и к тому же
наводят клювом лоск среди птенцов в гнезде.

Выводит птичий хор рулады и куплеты,
и к радости призыв звучит в них без труда,
и жалобы любви так весело пропеты,
и песням нет конца, и не нарушит это
спокойствия среды воздушной никогда.

В счастливой красоте душа, уже святая,
со всем живущим здесь в гармонии такой,
порхая и лиясь, светясь и прорастая,
и первой чистоты наряд приобретая,
в безмолвии с Творцом вкушает свой покой.

1862

Перевод с французского Георгия КИСЕЛЕВА.



ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЕРУК

Пути-дороги

Учитель, перед именем твоим...

У каждого из нас в жизни были свои учителя. Имена многих мы помним всегда.

Что примечательно, редко мы задумываемся: а какой жизненный путь был у того или иного учителя, его личная дорога и трудовая биография. Хотя чаще всего те страницы насыщены историей — в масштабах от повседневности до государственного уровня. Ведь легких времен, согласимся, не бывает.

При всем при том наши учителя нас не забывают. Следят, насколько возможно, за жизненными перипетиями учеников, переживая их неудачи и, конечно, искренне радуясь успехам — как собственным или собственных детей. Впрочем, почему как? Вложив в наши души частички своих, они не могут жить иначе. И, разумеется, наибольшую отраду им приносят достижения тех учеников, кто избрал родственную профессиональную стезю. В таких случаях, по себе как педагогу скажу, наилучшим образом чувствуешь, что работаешь не впустую.

К вышеописанной категории Учителей относится и русский словесник Вячеслав Иосифович Нестерук. С женой Раисой Андреевной они в общей сложности отдали Круговичской школе, что в Ганцевичском районе Брестской области, около ста лет!

Во второй половине XX века в деревне жило немало приезжих, в том числе русских по национальности. Однако прозвище «Русский» сразу и навсегда закрепилось за Учителем, выходцем из обычной полесской семьи. Причиной стала не столько профессия учителя русского языка и литературы (ведь других местных педагогов сельчане не называли по предмету), сколько любовь, самозабвенная, и даже, если хотите, жертвенная, к русской словесности.

Профессию сельского учителя Якуб Колас называл самой благородной. В. Нестерук целиком и полностью подтверждает слова нашего классика, начинавшего как раз в недалеком от Круговичей Люсино свой педагогический путь также с преподавания предметов на русском языке, среди которых важное место занимали язык и литература.

С периодом учительствования народного поэта можно провести еще одну параллель. Вячеслав Нестерук, как и в свое время Константин Мицкевич (будущий Якуб Колас), не боялся вольнодумства. Хотя годы учебы в институте Вячеслава Иосифовича пришлись на «доттепельное» время, когда даже такой, сегодня казалось бы, нейтральный, чуть ли не аполитичный поэт, как Сергей Есенин, не изучался, именно тогда будущий учитель-словесник узнал о существовании подводной части айсберга русской литературы (о чем поведал в личной беседе). Главную роль в этом сыграли также умные и добрые преподаватели. С тех пор поэзия парня из рязанской глубинки словно растворилась в сердце юного полешука. Тот нравственный опыт

помогал и в дальнейшем разбираться как в жизни в целом, так и в профессиональном развитии. Будучи филологом по призванию, Вячеслав Нестерук беспрерывно следил за новинками литературы. Он стал одним из первых в районе, кто в конце 1980-х начал знакомиться с еще недавно диссидентскими произведениями. Даниил Гранин, Владимир Дудинцев, Евгений Замятин... Их творчество находило место и в рамках уроков Вячеслава Иосифовича. Школьные программы еле успевали изменяться. Таким образом, обычный (а обычный ли?) сельский учитель в своем развитии опережал министерские умы накануне реформ системы образования.

Развитый аналитический ум и врожденная педагогическая жилка давали в сумме хороший результат в виде самостоятельно думающих учеников. Многие из них, выйдя на широкие жизненные просторы, выросли в выдающихся деятелей на самых разных поприщах.

Одним из первых медалистов, вылетевших из-под крыла Вячеслава Нестерука, стал Фаддей Александрович Бобко, выпускник 1957 года (о нем упоминает и сам Вячеслав Иосифович). Избрав профессию инженера, наш земляк достиг непредвиденных при окончании школы высот, — связав жизнь с политехническим институтом в Бресте, стал доктором технических наук, профессором, был отмечен высокими наградами — как советскими и белорусскими, так и правительства Польши, где он работал после падения «железного занавеса».

Также доктором наук (биологических) стал Иван Андреевич Гордей из Денисковичей (когда-то в этой большой деревне не было средней школы, поэтому старшеклассники учились в Больших Круговичах). Трудовой путь Ивана Андреевича связан с Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси.

Круговичская школа дала миру людей самых разных профессий. Однако наибольшую отраду каждому учителю приносят ученики, связавшие жизнь с той же областью знаний, ставшие как бы продолжением своего педагога. Так, из круговцов (местное название жителей Круговичей) стали кандидатами филологических наук Ирина Владимировна Кондратеня (в девичестве Муха) и ваш покорный слуга. Сколько же выпускников выучилось на престижную во второй половине XX века профессию учителя, сегодня не счесть. Их количество измерится только трехзначной цифрой. На данный момент чуть ли не все педагоги Круговичской средней школы — это ученики Вячеслава Иосифовича, которому, несомненно, было приятно, что наибольшей популярностью при избрании педагогического образования пользовались филологические специальности.

Наибольший успех для Вячеслава Нестерука это, конечно, Виктор (Викентий Константинович) Гордей — известный писатель, родившийся в Малых Круговичах и закончивший Круговичскую школу в 1963 году. На то время Вячеслав Иосифович имел педагогического опыта не так и много. Однако разглядел в сочинениях паренька зерно художественного таланта. Всходы оказались богатыми — десятки книг поэзии и прозы, изданий для детей. Многие произведения, отчего особенно радостно, посвящены событиям на малой родине, литературному осмыслению жизни земляков. Контакты между учителем и его воспитанником не прерываются по сей день. И уже Викентий Константинович подсобляет своему педагогу в его литературной деятельности.

Именно так. Вячеслав Иосифович, выйдя на пенсию, не только не забросил литературу, но и сам ощутил необходимость творчества. Особенно после утраты своей «половинки» — Раисы Андреевны. Уже более десяти лет льются стихи — лирические и публицистические, однако, что важно, все они глубоко душевные, искренние, нередко в ущерб эстетике формы. На средине девятого (!) десятка Вячеслав Нестерук является одним из самых активных деятелей литературного сообщества в Ганцевичском районе. Похвально, что библиотечные работники и редакторы

районных газет (а таковых в местечке два) заботятся о своих талантах. Есть и свои меценаты. Особенно тепло к литературной и культурной деятельности своих земляков относится директор Ганцевичского предприятия мелиорационных систем Александр Владимирович Шут. Круговичский уроженец, ученик Вячеслава Иосифовича ценит результаты творчества одухотворенных людей не только на словах. Главным показателем тут являются изданные своими силами коллективные и индивидуальные сборники стихов. У Вячеслава Нестерука также несколько книг. Примечательно, что одна из них, зрелая и чувственная, «Рассветы и закаты», овеянная мудростью прожитых лет, вышла с предисловием Виктора Гордея.

Попросились на бумагу и воспоминания. Огромный жизненный опыт, источником которого стали несколько исторических эпох вкупе с непритупившимся филологическим пером и аналитическим складом ума, делают чтение мемуаров Вячеслава Нестерука познавательным и интересным. Главной их чертой является твердая жизненная позиция. На все явления, события Вячеслав Иосифович имеет свой взгляд. Вместе с тем автор стремится к объективности и в ее свете переосмыслению и прошедших событий, и своего отношения к ним. Не лишены воспоминания и лирических красок. Они сопровождают практически все страницы, и даже те, где, образно говоря, цветного изображения в жизни сельского учителя и не было. Присутствуют в воспоминаниях и нотки юмора.

При взгляде на пройденный жизненный путь некоторые склонны приукрашивать его в зависимости от актуальной конъюнктуры. Этого у Вячеслава Нестерука не наблюдается. Например, не отрицает он своей деятельности как местного активиста коммунистической партии. Как видно, доставшуюся не по собственной воле лямку он тянул усердно, но не без осмысления круговорота событий — как локальных, так и масштабных, политических. Такое переплетение мемуарной аналитики сельского учителя позволяет посмотреть на описываемое время под нестандартным углом. Кто знает, может, действительно наступила бы «эра светлых годов», если бы все 20 миллионов членов КПСС так добросовестно относились к своим обязанностям.

Во время и после прочтения воспоминаний не покидала мысль, что это только небольшая часть того, чем стоило бы поделиться с современниками и будущими поколениями человеку с уникальным богатейшим опытом. Многие затронутые пунктирно темы и проблемы, несомненно, требуют более широкого выявления — не для мемуариста, а в первую очередь для нас с вами. Местами возникает ощущение, что автор боится быть назойливым, не осмеливается перегружать мемуары подробностями. А ведь именно из них и состоит в большинстве своем жизнь каждого человека, а то и целых поколений. И если те, казалось бы, мелочи жизни не доверить бумаге, то через несколько десятков лет о них не вспомнит никто. Поэтому остается пожелать Вячеславу Иосифовичу творческого вдохновения, сил и здоровья для реализации идей и планов. Их у неутомимого Учителя, как мне известно, так много, что пришлось ему недавно освоить компьютер. А значит, впереди еще много произведений в самых разных жанрах.

Анатоль ТРОФИМЧИК

Босоногое детство

Раннее детство вспоминается смутно. Видится крестьянская низкая хата при самой улице, рядом старый вяз и большой камень-валун. На нем мы любили сидеть, греясь на солнышке. Здесь затевались наши нехитрые игры в так называемые «хованки». Врезался в память и страшный пожар, который двигался к центру, пожирая одну за другой соломенные крыши густо лепившихся хат. Бежали, кричали, суетились люди...

Мы же, трое детей, сидели с нехитрым скарбом в крестьянской телеге, готовые в любую минуту съехать в поле. Рядом, в упряжи, наготове стояла лошадь. Деревня выгорела дотла. Речь веду о небольшой деревеньке, где я родился и был крещен потом в Антопольской православной церкви под именем Вячеслав.

Свекличи... Странное название деревни. Одни связывают его с понятием свекла, хотя вокруг никогда не было свекловичных плантаций. Приезжие произносят Светличи, заменяя букву «к» на букву «т», выделяя корень «свет». Деревня, действительно, находится в светлой, безлесной округе. Правда, с южной стороны тянется узкая песчаная гора, за ней — топкое болото, видимо, бывшее русло реки. Раньше песчаная коса наступала на деревню, пыльные бури угрожали полям и огородам. Наконец еще польские власти приняли меры: крестьяне отрабатывали обязательный «шарварок», выходили на посадку очень живучей красной лозы и обычной сосны. Со временем посадки разрослись и пыльные бури прекратились.

Деревня небольшая, дворов под сорок. Дома зажиточных крестьян выделялись на фоне низких хат, потому что были выше и крыты черепицей или оцинкованной жестью, отличались количеством и размером окон. Особенно запомнились дворы Дениса-Барана, Сергея-Трубки и Панаса многодетного. Каждый был владельцем мельницы-ветряка. Удивительно, что в маленькой деревеньке три мельницы. Нигде в округе такого не было. На помол зерна съезжалось много мужиков. Здесь сельчане узнавали новости, судачили о хозяйственных делах, заводили знакомства, обменивались зерном. Мы, дети, часто бывали там, хотя не были донкихотами: нам не досталось доспехов и рыцарской отваги, чтобы сразиться с этими великанами. Любили мы бывать на мельнице Дениса. Мужик он был видный, приветливый, разрешал подниматься наверх, наблюдать за работой механизмов. Скрипел главный вал, гудели жернова, сыпалась мука. По-особому воспринималась нами эта чудо-техника.

У Панаса многодетного, мельница которого стояла на другом конце села, мы тоже любили бывать. В его семье подрастало пятеро сыновей, были и наши одногодки. Миловидная хлебосольная хозяйка угощала нас вкусными пшеничными лепешками, блинами, фруктами из своего сада. Она почему-то напоминает мне сегодня известную мельничиху из «Анны Снегиной» Сергея Есенина.

В деревне работала польская школа. Размещалась она в большом наемном доме, во второй половине которого квартировал пан учитель. Дети его любили: на переменах он проводил подвижные игры, катал малышей на своем «ровере» (велосипеде), что нам было в диковинку. Содержание уроков забылось, но помнится польская речевка, с которой, как с молитвы, всегда начинались занятия. Входил пан учитель, дети вставали и хором вместе с ним — привожу в транскрипции — повторяли:

— Кто ты естесь?

— Поляк малы.

— Яки знак твуй?

— Ожел бялы...

Дальше говорилось, что живем мы на польской земле, среди поляков. Так велось тогда ополячивание с детских лет. Похожая методика у любых властей, обживающих чужую землю. Не забылся и один стишок, такой звонкий и милый:

«Лецом боцьки колэм, колэм...» Они садились на крестьянские «стодолы» и своим клекотом возвещали весну. Так что и сегодня понимаю польскую речь и читаю без перевода.

Босоногое детство. Его в нынешнем понимании не было. Вставали рано, с восходом солнца. Всем в хозяйстве находилась работа. Но главной нашей обязанностью весной, летом и осенью была пастьба скота. Росяным утром мерзли босые ноги, зудели, потому что почти всегда были в цыпках. Небольшое пастбище не позволяло расслабиться: коровы то и дело норовили зайти в чужую траву рядом, а это грозило конфликтом с соседями. Помнятся наши походы на гору за селом, где мы в разросшемся лозняке и хвойнике затевали разные игры. А весной, босоногие, искали в болоте гнезда чаек. Закалку получали хорошую, почти не болели. Находилась работа и зимой. В одной половине болота разросся лозняк и ольховник. Там деревня заготавливала топливо: мужчины рубили, вязали в пучки, а мы отвозили домой. С лошадьми мы рано научились управляться. Не один из нас уподоблялся некрасовскому мужичку, везущему хворосту воз.

Жилось нелегко, но не голодали, хотя урожаи и земледелие были не на высоте. Минеральных удобрений не имели, на покупку в Антополе, в еврейских лавках, не хватало «злотых», а заготовить органику на все гектары не получалось. Принято было сеять зерновые в «загоны» — полосы шириной в полтора метра. Нас учили поднимать зябь, бороновать, сеять, жать серпами, убирать низкорослые яровые косами, специально для этого оснащенными. Урожай считали в известных в народе «бабках», в которые ставили десять-двенадцать снопов, и в «копах», куда укладывались уже высушенных — шестьдесят. Копа при обмолоте давала в среднем пять-шесть пудов зерна. Главным строением на подворье была кормилица-«клуня». В ее средней части находился глинобитный ток для обмолота и очистки зерна, а по бокам — отсеки для складирования убранного урожая и ценного сена для овец, телят и стельных коров.

Наступала зима, мать долгими вечерами готовила льняную и шерстяную пряжу, ладила кросна, при керосиновой лампе ткала полотно. А в «клуне» горел фонарь, стучал цеп. Отец не возвращался, пока не выполнит намеченную норму. И так до весны. Детям работы становилось меньше. Из досок делали примитивные лыжи, из чурбана — коньки с натянутой внизу проволокой или шиной в виде лезвия ножа.

Зимы тогда были снежные, сугробы наметало поверх заборов, так что горки для спуска не составляло труда устроить. Но главной забавой была карусель. На пруду вбивался кол, на него надевалось колесо-коловорот с дышлом и санями. Все это приводилось вручную в круговое движение. То-то было радости и веселья. На праздники приходили сюда и взрослые, особенно на Новый год и Рождество.

Юность

Юность моя прошла уже на хуторе, рядом с деревней. В нашей семье было трое детей: старшая сестра Клавдия, брат Федор и я. Жили вначале в низкой хате-четырехстенке с глиняным полом и огромной русской печью посредине. Из домашней живности держали две коровы, лошадь, телят, поросят, овец, а также птицу: кур и гусей. Наше хозяйство относилось к середняцким: восемь гектаров пашни, три сенокоса, два пастбища. Сеяли рожь и пшеницу, ячмень и овес, гречиху и просо, а из технических — лен и коноплю на изготовление веревок — наркотиков тогда не знали. Я рано научился пахать, сеять, косить. Это пригодилось особенно тогда, когда в 1944 году мобилизовали отца и отправили на фронт. Позже я написал о своей науке вести крестьянское хозяйство в стихотворной автобиографии:

Родился я на Брестчине, в селе.
Работать в юности учился на земле:
Поле лошадкою пахал, траву косил,
Рано вставал, спасибо солнцу говорил.
Красивых девушек любил,
За все Творца небесного благодарил.



*Выпускник 10-го класса.
Антополь, 1951 г.*

Натуральное хозяйство в польские времена давало безбедное житье-бытье. Был свой вкусный ржаной хлеб (его пекли на специальной закваске и подстилке из дубовых листьев), по праздникам ели и пшеничный. Были и разные крупы, благо выращивались крупяные культуры и рядом работали мельницы. Имелись и домашние жернова. А в известной ступе бабы-яги нам иногда поручалось толочь просо. В дополнение ко всему в семьях славилась и макуха — жареная пахучая масса льняного семени. В нее макали вареный картофель. У детей это считалось неплохим лакомством. Конечно, мясом не объедались, но на стол попадала курятина и гусятина, говядина и свинина, телятина и баранина, а по праздникам домашняя ароматная колбаса. Большая часть выращенного шла на продажу, на польские «злотые», которые были так нужны и которых всегда не хватало. Вся купля-продажа была связана с Антополем.

Уж если зашла речь об этом городке, то стоит, думаю, рассказать о нем подробнее. Он вывел наше детское и юношеское сознание за рамки деревни, открыл глаза на окружающий мир, на другую жизнь. Этот небольшой еврейский городок состоял в основном из деревянных строений, украшали его каменная православная церковь, синагога, большая круглая площадь с длинными торговыми рядами, судовая управа, клуб и школа. По праздникам проходили здесь богатые ярмарки. Вся площадь заставлялась возами. Чего только здесь не было: крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, разная птица, всякая утварь, гончарные и кузнечные изделия. Площадь жила, шумела, полнилась разными голосами: мычанием, ржанием, блеянием, хрюканьем, гусиным гоготанием. Торговцы в лавках предлагали заграничные товары: одежду и обувь, хлопчатобумажные и шерстяные ткани разных расцветок и качества. Запомнились клетчатые шаровары до колен, которые были тогда в моде у зажиточной молодежи. К ним, шароварам, полагались еще ботинки и цветные мужские чулки. Кто был побогаче, приценивался к швейным машинам «Зингер» и красивым велосипедам разных марок. Возле церкви собиралось много молодежи. Девушки щеголяли в цветастых платках, вышитых кофточках, в вошедших тогда в моду сарафанах. Здесь заводились знакомства, потом образовывались пары, молодые семьи. Любил я ездить с отцом на эти базары. Дети всегда возвращались оттуда с гостинцами.

Все сказанное не означает, что я восхваляю польские времена, рисую, так сказать, картину маслом. Жизнь крестьянского сословия всегда оставалась сложной: и при царях, и при королях, и при советских вождях, которые потом надолго, «осчастливили» коллективизацией народ, да и при нынешних демократах.

Но вернемся в те далекие дни. Задумали мои родители выстроить настоящий дом под железной крышей, с тремя комнатами, с парадным крыльцом.

Накопили «злотых», закупили строевой лес, организовали толоку (толока — это крестьянская солидарность, безвозмездная помощь). Потом отец нанял известных плотников-евреев, которые умели рубить дома с чистым немецким замком по углам. Помнится, как потом мы привозили из Антополя пакеты красивой оцинкованной жести для кровли. Страшно подумать, каким трудом далась родителям эта стройка. К 1939 году дом был готов. Праздник вселения запомнился на всю жизнь.

Потом отец взялся за обустройство усадьбы: подновил сараи, заложил большой сад, саженцы выписал из Варшавы, лучшие по тем временам сорта, завел для опыления пчел. Добавилось всем работы, молодой сад требовал внимания и ухода. Но в это время моя сестра и брат вступили в юность, стали настоящими помощниками, за ними тянулся и я, брался за любую работу.

На мокрых лугах под руководством польского инженера были проведены мелиоративные работы, а в зажиточной деревне Таракань открылась школа «рольнича» (сельскохозяйственная), которая распространяла опыт культуры земледелия. Так польские власти обживали Западную Беларусь, которую уже считали своей территорией.

Но легкой жизни не знали: был повседневный труд и заботы, как всегда в крестьянстве. Платили немалые налоги; за недоимки, случалось, судебные чиновники (их называли «дерунами») забирали у неплательщиков скот — то корову, то откормленную свинью. И в нашей семье бывало такое. И все же страшного гнета, издевательства, унижения, о котором широко рассказывается в политизированной белоруской литературе, не было. Бесконфликтно жила деревня, не знала воровства и пьянства. Весело проходили праздники — Новый год, Рождество, Пасха. Добрые соседи ходили друг к другу в гости, детей угощали вкусной едой, сладостями.

Воссоединение

Надвигались новые времена, а с ними большие перемены в 1939 году. Хотя политическая обстановка на Брестчине была спокойной, но все же некоторое брожение в умах людей происходило: советская пропаганда и социалистические идеи делали свое дело. Доходили слухи о политических заключенных в тюрьме Картуз-Березы, о партизанском отряде загадочного, неуловимого Мухи-Михальского (Орловского), о его набегах на панские имения. Однако поднять белорусов западного края на восстание не удалось. Пришлось Советской России прибегнуть к силе Красной Армии. Зажатая с двух сторон, польская армия быстро развалилась. Молниеносная война, по слухам, закончилась парадом советско-германских войск в городе Бресте. В Антополе, как напоминание о той войне, до сих пор стоит памятник трем погибшим танкистам.

Многие белорусы, служившие в польском войске, попали в плен и не вернулись домой. Одним из них был и мой дядя, брат матери Панюсько Павел. Пропали и те отчаянные парни из белорусских сел, что раньше перешли польско-советскую границу в надежде найти в новой России настоящее счастье. Их там посчитали лазутчиками и польскими шпионами и приняли к ним строгие меры.

В те дни царило какое-то возбуждение. Помню, как вся деревня с красными флагами (быстро нашлись агитаторы) направилась в городок встречать Советскую власть. На митинге звучали пламенные речи о свободе, о начале новой жизни. Изменился Антополь, заработали советские учреждения, все посты в которых заняли присланные из России служащие. В красивом здании бывшей польской школы заработала советская десятилетка с русским языком обучения.

Но вместе с тем не стало прежних больших ярмарок, богатых еврейских лавок, товаров первой необходимости. Женщины возмущались, что нет мыла, ситца, других мелочей. Агитаторы успокаивали, доказывали, что всего достаточно,

но виновата узкая польская колея, которая задерживает перевалку и доставку грузов из России. А в сельповских бедных магазинах при завозе кой-каких товаров выстраивались очереди, так знакомые нам и в последующие годы.

Мои родители не жаловались. И вот почему были союзниками новой власти. В Первую мировую войну 1914 года мой дед с семьей был эвакуирован в Россию, обрел там вторую родину. Там семья пережила две революции, Гражданскую войну, в которой погибли в Красной Армии два сына. Там умерла и похоронена моя бабушка, а отец, 1907 года рождения, окончил русскую начальную школу и еще до польской школы обучил нас русской грамоте. Сначала отец хвалил коммуну, в которой пришлось жить и питаться из общего котла, потом признался, почему ее пришлось закрыть. Коммунары проели богатое помещичье имение, никакого дохода государству не давали, а сами часто просили помощи у государства.

Жизнь в Антополе стала входить в спокойную колею. Покинутые дома прежних хозяев перешли советским служащим, кое-что обновили. К Свекличам проложили шоссе, потому что за деревней началось строительство аэродрома как гаранта западной границы. Сначала там выросли длинные бараки для рабочих. Потом мы узнали, что это заключенные. Было как-то не по себе, стали задаваться вопросом: почему в 30-е годы, в мирное время столько репрессированных. Но деревня продолжала жить своей жизнью: много работали, платили налоги, не меньшие, чем при поляках.

Отечественная война

А на западе вновь стали сгущаться тучи. Вскоре всколыхнуло деревню страшное слово — война. Я услышал его 22 июня 1941 года, когда возвращался с отцом от маминой родни через упомянутый аэродром. Возле бараков скакали верховые, охрана выводила и строила в колонны заключенных. С запада доносились громовые раскаты. Это стояла и защищалась Брестская крепость.

На второй день войны Антополь опустел: эвакуировались на восток учреждения, в служебных кабинетах валялись бумаги, рваные папки. Мебель жители уже сумели растащить. Мы, подростки, без ведома родителей бегали за своей добычей. Городок затаился, притих в тревожном ожидании. Нас привлекала районная библиотека. В ней был страшный беспорядок: навалом на полу лежали книги, поваленные стеллажи, ящики и коробки. Часами рылись в книгах городские и сельские подростки. Мы с братом и верным другом за две вылазки принесли мешок книг. Нас интересовали военные издания: книга молодого бойца с описанием разного вооружения, книги о выдающихся победах Красной Армии, которая умела побеждать разных врагов «малой кровью, могучим ударом». Мне тогда в руки попалась довоенная поэма «Вася Теркин». Простой солдат Твардовского (он тогда был пулеметчиком) проявлял чудеса храбрости на финской войне.

Что за парень в гимнастерке,
В сером шлеме со звездой.
Это он, Василий Теркин,
Пулеметчик молодой.
Был он в каком-то бою ранен, но...
Отлежался — и здоров,
И на финскую границу
Покатил он бить врагов.

Дальше рассказывалось о его выучке, умении брать в плен финских «шюцкоров» (фашистов), которые в маскхалатах сидели на верхушках сосен и «поливали» из автоматов наших бойцов. Все получалось у него легко, как в сказке. Не знали мы тогда, какой ценой, какой кровью далась та победа. В других кни-

гах, которыми зачитывались, также восхвалялась Красная Армия, легендарная и непобедимая, наши боевые машины, способные в случае чего не на своей, а на чужой земле покончить с захватчиками. Как мы тогда гордились нашей страной и армией! Но пришло отрезвление, когда мы увидели спешно покинутый Антополь, стройные колонны немецких войск и в небе армады бомбардировщиков, беспрепятственно летевших на восток. А где же наша Красная, грозная, умелая и непобедимая? И почему их ни разу не встретили краснозвездные ясные соколы?

Где-то на третий день войны городок стали обживать немцы. А колонны механизированных войск все шли на восток, и так же надрывно гудели тяжелые бомбовозы; и по железной дороге в сторону Лунинца двигались эшелоны с танками и артиллерией. Мы впадали в уныние, жили в постоянной тревоге, ожидали чего-то страшного.

О партизанах заговорили в начале 1943 года, когда начались диверсии на железной дороге. Ночью в нашем доме стали появляться вооруженные люди, а мать уходила куда-то на сутки, а то и двое. Ее родной брат и две сестры уже были в партизанском отряде. Потом я познакомился с родственником Сидорчиком и русским Гавриловым. Это были молодые, отчаянной храбрости парни. При их помощи была проведена первая смелая операция.

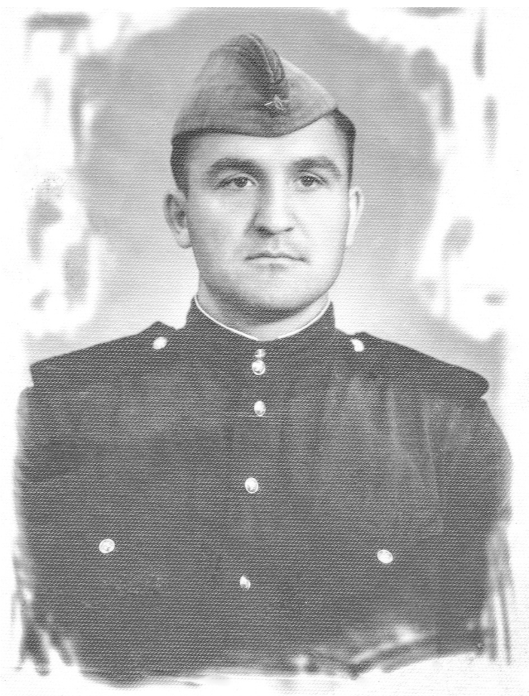
Как-то летом 1943 года они появились в деревне и сорвали доставку продуктов фашистам в город. Немцы устроили погоню, решили взять их живыми. Особенно старались полицаи. Наперерез, в обход, через луг, где мы пасли скот, они бросились к леску, чтобы не дать партизанам возможности там скрыться, но нарвались на засаду. Там они и нашли свой конец. Пытавшихся бежать настигли пули на лугу. В первый раз мы увидели убитых, окровавленных людей. Так как немцы шли далеко позади, то никто из них не пострадал, поэтому и не сожгли нашу деревню.

Первую серьезную попытку уничтожить партизанскую зону (она находилась за Днепро-Бугским каналом) немцы сделали в середине лета 1943 года, послав туда конный отряд мадьяр и полицаев. На облезлых от коросты лошадях, с навьюченными на них пулеметами и минометами, двигались они мимо нашей деревни. Однако вылазка не удалась: их достойно встретили партизаны, отстояли свою опорную деревню и базы. Нас обошла беда и на этот раз, но все меньше мы, дети, оставались дома, неделями жили в далеких деревнях, охраняемых партизанами.

Вскоре партизаны провели свою успешную операцию. Объединив несколько отрядов, они двинулись к железной дороге. Поставив заслон перед Антополем, блокировав местный гарнизон, подавив огневые точки бункеров, стали свободно орудовать на железной дороге: пилили телефонные столбы, разворотили рельсы на протяжении нескольких километров, взорвали мост. На две недели было парализовано движение поездов. Над деревней нависла угроза уничтожения. Детей развезли подальше от Антополя, а взрослые стали по ночам прятаться в лесистой части болота и в копнах сена. В Свекличах стали чаще появляться полицаи: вынюхивали крамолу. Наша родня понесла первую потерю: в Антополе была схвачена партизанка-разведчица, родная сестра матери — Панюсько Мария. Допрашивали ее сначала в местной комендатуре, потом в городе Кобрине, где и казнили на площади. А в карьере за городком, где раньше были расстреляны еврейские семьи, стали появляться свежие могилы. Нашу семью ждала такая же участь.

Однажды на рассвете явились каратели, забрали отца, мать, сестру и брата. Мне удалось скрыться. Перепуганный, заплаканный, я решил бежать к партизанам. Какие-то женщины толпой шли за мной, звали к себе, но я держался поодаль, боялся подпускать их к себе. Думалось, что спрятавшиеся, возможно, за ними полицаи, таким образом хотят поймать меня. Староста села по приказу партизан собрал людей и отправился в комендатуру, чтобы поручиться за невиновность арестованных. Через трое суток их отпустили. Я видел ссадины и кровоподтеки на лицах родителей, все понимал, но они ничего не рассказывали, чтобы не травмировать детскую психику.

Вскоре немцы предприняли вторую попытку уничтожить партизан. Местный гарнизон, усиленный воинской частью, при поддержке двух легких танков с боем подошел к каналу, завладел паромной переправой, вышел на правый берег, ворвался в опорную деревню Новоселки, разграбил и сжег. К счастью, люди вовремя ушли в леса и болота на запасные базы. Ушли и партизаны, сохранив боеспособность поредевших отрядов. В этом неравном бою сложили головы многие знакомые партизаны, в том числе и наш общий любимец, мой дядя Панюсько Николай. Больше немцы туда не сунулись, партизанская зона осталась непокоренной. А жители вернулись на пепелище, построили землянки, потом возродили деревню. Теперь там известный в Дрогичинском районе рыбхоз.



1957 г.

Шел 1944 год. Партизаны готовились к новым боям, собирали силы. Меньше стало взрывов и диверсий на усиленно охраняемой железной дороге. Никаких значительных событий не произошло, но стали доходить радостные вести об успехах Советской Армии, о выигранных больших сражениях. Близилось лето, повеяло запахом победы: началось освобождение Белоруссии. Приятно взволновала весть о взятии нашими войсками Минска, потом об освобождении недалекого от нас Ганцевичского района. Пошли уже не на восток, а на запад эшелоны с отступающими немецкими частями. Через Антополь тоже шли и шли в направлении к Бресту вражеские войска. Отступали организованно, без паники, не так, как наши в 1941 году.

Мы поверили в конец фашистской оккупации только тогда, когда прошел последний эшелон и следующая за ним команда минеров. Она методично, с немецкой аккуратностью, километр за километром взрывала телефонные столбы и железнодорожное полотно. А мимо Свекличей через перекресток дорог беспрерывно шли тыловые части, гнали перед собой стада коров и табуны лошадей. В эту ночь никто не спал, деревня опустела. Люди прятались в топком болоте и непролазных кустарниках. Всем хотелось выжить, никто не хотел умирать накануне победы. Наша семья пряталась там же.

Утром пришла весть: в деревне уже наши. Со слезами на глазах возвращались люди, повторяя святые слова: «Победа! Свобода!» И летний тот день выдался на славу, и солнце казалось ласковее и моложе, и воздух пьяняще сладок. Омрачало лишь только то, что на заминированном перекрестке подорвалась подвода и погибли два солдата.

В Антополе сразу же заработали советские учреждения, после длительного перерыва дети-переростки пошли в школу, в деревнях стали понемногу подниматься крестьянские хозяйства. Но вскоре прошла мобилизация, наши отцы стали солдатами, в домах остались матери с малыми детьми. Нам, детям-подросткам, пришлось пахать, сеять, косить. А вскоре в дома стали приходить похоронки. Проклинали войну, с нетерпением ждали ее конца, но до полной победы оставалось еще много месяцев.

Взросление

Наконец-то пришла радостная весть о взятии Берлина, о капитуляции Германии. Наш отец вернулся живым и здоровым. Служил он в противотанковой артиллерии, был пулеметчиком. О войне говорить не любил, но всегда гордился медалью «За отвагу», полученной в боях за освобождение чехословацкого города Брно. В нашу семью пришла еще одна приятная весть: вернулся домой после длительного плена пропавший в войну 1939 года мамин брат — Панюсько Павел, служивший тогда в польском войске.

Сложна, трагична и поучительна жизнь и судьба старшего сына из рода Панюсько — Василия. В 20-е годы прошлого века он отправился на заработки в далекую Аргентину. Был наемным работником у разных фермеров, потом перебрался в столицу, перебивался случайными заработками, сполна познал жизнь эмигранта, вступил там в компартию, в патриотическом порыве в 1936 году ушел на войну в Испанию; в составе интернациональной бригады Тадеуша Костюшко участвовал в боях с фашистским режимом Франко. Был ранен, после падения республики и плена сидел в лагерях где-то в Африке. После окончания Второй мировой войны был освобожден африканцами, попал в США, затем выслан в СССР. А в 1949 году всеми давно забытый, без средств к существованию вернулся на родину, в свои Дятловичи. Правда, ему, как солдату-интернационалисту, после долгих мытарств была назначена небольшая пенсия. Подорванное здоровье заставляло его часто обращаться в райполиклинику, поэтому после дороги приходилось отдыхать у нас. Он был мастер на все руки: и плотник, и печник, и кузнец. Он помогал отцу обустраивать новый дом, ухаживать за садом.

По его интересным, как очевидца, рассказам мы впервые многое узнали о других странах, о войне в Испании, о судьбе эмигранта и заключенного в лагерях солдата. Несмотря на все невзгоды и житейские злоключения, он до конца своих дней оставался жизнелюбом и оптимистом, не плакался о потерянных годах на чужбине, оставался республиканцем-патриотом.

Это о таких людях писал Светлов: «Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

О дядьях из рода Нестеруков имеются скудные сведения. В послевоенные годы не могло быть переписки с проживающими на Западе. По рассказам отца, двое из троих были мелкими фермерами, разорились, не были женаты: за бедных эмигрантов девушки не хотели выходить замуж. Их следы так и затерялись где-то в Латинской Америке.

Отец, истосковавшийся по земле и дому, взялся за работу с большой охотой, трудился, не зная усталости, да и мы, подросшие, окрепшие, стали настоящими помощниками. Но не так просто было поднять разрушенное войной хозяйство. К тому же вскоре возросли налоги, их платили деньгами и натурой: зерном, молоком, мясом, шерстью. К весне закрома пустели, хлеб становился лакомством.

Коллективизация

1949 год был объявлен годом коллективизации. Сначала на собрании уполномоченные довели до односельчан политику партии и правительства по данному вопросу, рассказывали о преимуществах ведения коллективного хозяйства, потом несогласных для «обработки» вызывали в сельсовет повестками. В это же время для примера выселили мельника Дениса, а его хозяйство (совсем не кулацкое) передали в колхоз. Потом самых упрямых, в том числе и фронтовиков, продержали сутки под арестом в сельсовете, чтобы серьезно подумали. Придя домой, отец сказал: «Плетью обуха не перешибешь, был я в гражданскую войну в коммуне, теперь поживу в советском колхозе». Скрепя сердце, на колхозный двор свел одну корову, лошадь, передал хозинвентарь. Потом разобрали кормилицу-«клуню» —

главное крестьянское строение. Сломали зачем-то и три ветряка, чтобы больше не напоминали о прежней жизни. Без этих крылатых великанов деревня навсегда потеряла свое лицо. Каждое утро проходил по хатам бригадир и «выгонял» на придуманную им работу. Приучали работать в коллективе, поэтому собравшиеся не брались за дело до тех пор, пока не соберутся все опоздавшие. Если раньше, например, наше болото косили и стоговали две недели, то теперь работа затягивалась до осени. Старания не было, потому что за трудодни (их называли «палками») по завершении года выдавали жалкие гроши и немного зерна. Былые середняки впадали в бедность. Беспаспортные крестьяне не могли уйти из колхоза, но их взрослые дети как-то умудрялись устроиться на работу в Антополь, Кобрин, Брест. Самые же смелые и решительные по объявленному набору уезжали в шахтерские города и на освоение Севера. И все же вера в то, что жизнь наладится и страна поднимется из послевоенной разрухи и бедности, осталась. Мой брат в это время стал студентом педучилища в Бресте, сестра после семилетки ушла в потребкооперацию. И я вскоре окончил городскую десятилетку и строил смелые планы на новую жизнь. Что ни говори, а Советская власть в те трудные годы открыла молодежи широкие возможности выбора.

Альма-матер

Мы, двадцатилетние выпускники послевоенной школы, были патриотами, смело рвались в жизнь, стремились стать нужными специалистами для страны, не боялись трудностей, шли в разные вузы, военные училища, техникумы. Я мечтал о профессии военного летчика, подал заявление, прошел комиссию, но при последней проверке кардиологи нашли какие-то глухие тона в сердце и отказали в направлении. Пришлось идти в пединститут на русское отделение, чтобы в совершенстве овладеть языком, который я полюбил в детстве. Обида на комиссию прошла, и началась бурная студенческая жизнь. Неизгладимое впечатление в Брестском пединституте произвела на меня Ираида Георгиевна Молодова. Я был очарован дивной музыкой ее русской речи, своеобразной методикой чтения лекций, умением вовлечь в процесс познания студенческую аудиторию. Ее методику я часто потом применял в школе, проводя уроки в старших классах. Я был успешным студентом, но часто голодал, потому что не всю стипендию и присылаемые из дому деньги тратил на питание, а откладывал на обновление гардероба. Я был плохо одет и на институтских вечерах, среди богаче одетых городских, выглядел белой вороной. Только на третьем курсе мне удалось сменить футболку и шинель на костюм и пальто. Жил с однокурсниками в большом бараке, построенном немецкими военнопленными. Буржуйка зимой накалялась докрасна, а под утро замерзала вода. Поверх одеяла мы накрывались тяжелыми тюфяками. Но меня, выжившего в войну и видевшего худшее, это не испугало.

Новые науки, новые преподаватели увлекли нас в новый мир познания. Литература Древнего мира, эпох Просвещения и Возрождения, позднейшего времени открыла богатейший пласт человеческой культуры, цивилизации. Увлекся я и политическими науками: пробовал штудировать классиков марксизма-ленинизма, с интересом изучал философию, политэкономию, научный коммунизм. На старших курсах захотелось познакомиться с трудами философов-идеалистов, но их книг нам почему-то не выдавали. Дошло однажды до того, что мы отказались на семинарских занятиях выступать с критикой буржуазных идеологов, заявив, что их книг в глаза не видели, чем поставили в неловкое положение себя, преподавателя, кафедру. Но этот случай замяли, а мы стали кое в чем сомневаться. Не совсем удовлетворило нас и чтение курса советской литературы. Преподаватель обходил «острые углы» в темах коллективизации, Гражданской и Отечественной войн, строго придерживался заданности советской критики и социалистического реализма. Выпали из вузовской программы многие видные поэты и писате-

ли — Блок, Есенин, Ахматова, Цветаева, Бунин, Майков, Фет, Северянин, Белый. Ничего не говорилось о запрещенной литературе, что была написана «в стол».

Из-за перегруженности программ по марксизму-ленинизму не дали знаний по другим видам искусства: музыке, живописи, театру. Этот пробел пришлось восполнять потом в школе. Хорошо, что мы на третьем курсе по своей инициативе создали студенческую школу-студию, упросили артистов Брестского драмтеатра взять над нами шефство. Под их руководством я неплохо сыграл Осипа в комедии Гоголя «Ревизор», помещика в миниатюре Чехова «Медведь», две роли из Островского. Эти знания так помогли мне потом в работе школьного драмкружка.

В студенческие годы хотелось многое познать, проверить свои силы. Я увлекся спортивной гимнастикой, получил третий, потом второй разряды, был включен в институтскую сборную, выступал на городских соревнованиях и на институтских спортивных вечерах. В те трудные послевоенные годы спортсменам-разрядникам выдавали талоны на питание, что было своевременной поддержкой. Мы были в дружбе с Домом офицеров, нас часто приглашали на соревнования. Я близко сошелся с молодыми офицерами, они и переманили меня в секцию классической борьбы. В ней я позанимался один год, освоил борцовские приемы и показывал в своей весовой категории неплохие результаты. С таким багажом знаний по языку и литературе, физической подготовки вышел я из пединститута, став учителем средней школы.

На Ганцевщине

1955 год стал переломным в моей жизни. Получив диплом, распрощавшись с альма-матер, родными и близкими, отцовским домом, собрался на государственную службу. Со мной едет молодая жена, учительница биологии и географии. А отправляемся мы в дальний, считавшийся отсталым Ганцевичский район, в Полесье, которое было знакомо только по книгам Якуба Коласа. Позади остались Кобрин, тихий мой Антополь, знакомые места и городки Брестчины: Дрогичин, Янов-Полесский — все милое, родное.

За Пинском уже другой пейзаж, а Лунинец по сравнению с европейским Брестом показался каким-то темным, неухоженным: его, как крупный железнодорожный узел, сильно бомбили в военное лихолетье, кое-где были еще видны следы войны.

После пересадки едем по направлению к Барановичам, видим коласовскую «Дрыгву» в натуре: топкое болото, кустарник, чахлый лес, подступающий к самой железной дороге. Промелькнули большая деревня Мальковичи, остановка Якуба Коласа, два озера — и опять похожие виды: то болото, то кустарник, то песчаные взгорки, то перелески.

Показалась окраина, засобирались люди к выходу — значит, скоро Ганцевичи. Знакомство с районным центром началось с вокзала, мрачноватого деревянного здания, такого же неухоженного зала ожидания и привокзальной площади, до которой еще не дошли хозяйские руки. За железнодорожными путями — эстакада, горы леса-кругляка, в тупике вагоны под погрузкой.

До Больших Круговичей (места назначения), что в пятнадцати километрах, можно добраться только на попутной автомашине. После долгих поисков удалось договориться с шофером лесхоза. Погрузив свои два мешка книг, купленных на студенческие стипендии, едем по полуразрушенному шоссе. По бокам луга, обработанные торфяники. Проезжаем Огаревичи (взгляд ловит красивый дом и пруды бывшей помещицы Опацкой), затем деревеньку на развилке дорог со странным названием Шашки. До Больших Круговичей — рукой подать. При въезде нас встретила деревянная церковь XIX века, а школьный завхоз отвел нас на арендованную школой квартиру рядом, в крестьянской хате.

Это была низенькая комнатушка через коридорчик, два на три метра, с небольшим окошком. Она являлась и нашей кухней, и спальней, и рабочим кабинетом. Вот тут-то и вспомнился опять светлый, высокий, с тремя комнатами родительский дом, в котором прошла моя юность и где остались отец и мать.

В Больших Круговичах

Круговичи не считались отсталым селом в Ганцевичском районе. Из общественных зданий были старый невзрачный клуб, почтовое отделение, аптека, больница на десять коек, магазин, сельпо, в бывшей помещичьей усадьбе — МТС, обслуживающая колхозы. Уже в царское время работала в селе начальная народная школа, а в польское — гмина. После войны открылась в трех деревянных зданиях школа-семилетка, потом одной из первых в районе преобразованная в десятилетку. В ней в те годы учились дети из многих деревень: Малых Круговичей, Денисковичей, Кукова, Локтышей, Будчи. Поэтому всегда были параллельные классы. Дирекции приходилось арендовать в крестьянских домах комнаты для занятий.

Мы обошли сельские окрестности, побывали на старых прудах, познакомились с бывшей панской усадьбой Обуховичей, заглянули в каплицу с погребальным подземельем. За церковью открылся красивый вид на широкую долину, когда-то прорезанную речкой, но уже превратившейся в ручей. За долиной — загадочная, темная стена леса. Лес и с другой стороны на песчаной возвышенности. Словом, кругом был раньше лес, отсюда и название — Круговичи. Через село идет шоссейная дорога, связывающая отдаленные деревни с центром.

Село, действительно, стоит на бойком месте. Рядом с бывшим имением в окружении берез и осин дремлет старинный, в пять обхватов дуб-патриарх — свидетель былых времен и верный страж села. Однажды, сидя там, я вспомнил «Войну и мир» Льва Толстого, сцену встречи Андрея Болконского с похожим дубом-великаном и написал балладу:

В Круговичах, за церковью, на взгорке,
Дожив до старческих седин,
Могучий дуб шестнадцатого века
Стоит, как царь, среди осин.

Прошли столетья, но осталась тайна,
Что не была разгадана тогда.
Он был влюблен в красивую славянку,
Грустившую о ком-то у пруда.

Когда-то здесь, среди большого леса,
Возникло поселение крестьян.
Текла река, долину прорезая,
Звала к себе все новых поселян.

Потом внизу раскинулась усадьба
Известных Обуховичей-господ.
Их родовую погребальную каплицу
Не забывает до сих пор народ.

Быстро разошлась весть, что в школу приехал молодой учитель с женой. Встречные рассматривали нас с неподдельным интересом. Вскоре мы познакомились с соседями, стали охотно посещать учащихся на дому, чтобы лучше изучить быт, нравы, традиции жителей Полесья, среди которых нам предстояло жить.

Круговцы в основном были малоземельными, их наделы небольшие, низкой категории: то супесчаные, то заболоченные. Дома в селе в большинстве четырех-

стенки, крыты щепой. Подрабатывали люди на смолокурне, на лесных работах, на кирпичном заводе. Некоторые занимались извозом: доставляли дрова в безлесный Клецкий район. По приезде на службу я застал уже образовавшийся колхоз. Правление размещалось в обычной хате. В ней находились и председатель, и бухгалтерия, и остальные службы. А на колхозном дворе — невзрачные фермы, тощий, малопродуктивный скот, большой падеж молодняка. Все так, как во многих тогдашних коллективных хозяйствах.

Жилось трудно: ни родных, ни друзей, ни знакомых. Написался грустный стих:

Ни друга, ни звонка, ни слова...
В природе разлита осенняя тоска.
А над селом плывут, клубясь сурово,
Зимы предвестники — седые облака.

Все приходилось начинать с нуля. Нет хотя бы сносной комнаты, нет электричества, радио, телефона, автобусного сообщения. В райцентр приходилось иногда ходить пешком. А в сельском магазине только хамса, килька в банках, липкие конфеты-подушечки, иногда печенье. По разнарядке на семью учителей выдавали по два пуда ржаной муки, сами пекли хлеб. Для приготовления пищи — знакомый всем тогда керогаз, по вечерам — чадящая керосиновая лампа.

Но мы — любящая пара, на все тяготы жизни не всегда обращаем внимание. Со мной моя Раиса Андреевна — хрупкая, нежная женщина. Она все умеет, все может, все понимает. За какие такие заслуги, не знаю, Бог послал мне такого человека. Ровный, любящий характер, внимание к людям, терпение, оптимизм; ее дивные лучистые глаза были всегда моей поддержкой и опорой в дни сомнений и разочарований.

Школа

Последние дни августа 1955 года; прошла районная конференция учителей; распределена учебная нагрузка. Я — второй учитель в школе с высшим образованием, с ромбиком на лацкане пиджака, веду уроки в старших классах. Ученики восприняли молодого учителя настороженно, но с интересом. До меня уроки у них вела старенькая учительница, видимо, когда-то окончившая Институт благородных девиц. Литературу она им читала по учебнику (так называемой критике), а все следили по своим открытым книгам. Зная это, я начал вести уроки по-другому, по активной методике моего любимого преподавателя Ираиды Молодовой. Сначала ученики растерялись, что я не пересказываю известный учебник, потом им понравилось самим искать ответы на нестандартные вопросы, высказывать свое отношение к литературным героям. Я изучил возможности учеников, уровень их начитанности, давал посильные индивидуальные задания. Плохих оценок по литературе у нас в принципе не было, до сих пор придерживаюсь взгляда, что учитель в школе двойкой-пугалом может навсегда убить интерес и любовь к литературе и искусству.

К сожалению, грамотность моих старшеклассников по русскому языку оказалась не на высоте: первые диктанты дали печальный результат, повергли многих в уныние. Надо было внушить им веру, что все поправимо, что не так страшен он, как его, «великий, могучий и свободный» русский язык, малюют. Стали настойчиво учиться самоконтролю, логике русского языка, анализу грамматических особенностей, прибегать к сравнительной грамматике родственных языков. И ученики перестали бояться моих уроков, поверили в себя, а дополнительные занятия и консультации не воспринимали как наказание. Мы подружились; мне, белорусу, ученики и их родители дали кличку «Русский».

В первые годы работы пригодились мне и знания по спортивной гимнастике. Перемены, «форточки» в расписании я проводил со старшеклассниками на

спортплощадке. Обучал их упражнениям на перекладине, брусьях и комплексам утренней зарядки. Это тоже укрепляло авторитет молодого учителя, побуждало ребят заниматься физкультурой.

Я полюбил школу, работу, в которой у меня все ладилось, понимал крестьянских детей, видел в них личности, старался поделиться с ними всем, что сам знал и умел. Сельские ученики раньше отличались особой любознательностью, трудолюбием; учитель для них был большим авторитетом, а если он был еще и во всем справедлив, то всегда платили уважением и любовью.

На летних каникулах, подкопив немного денег, получив скромные отпускные, мы уезжали на малую родину, в свой тихий Антополь. Здесь встречались со школьными друзьями, посещали памятный Брест, родной désinstitut. Посвежевшие и отдохнувшие, набравшись новых впечатлений, возвращались в Круговичи и с новыми силами приступали к занятиям, окунались в школьные будни. И этим будням я отдал тридцать восемь лет, в том числе лучшие молодые годы. В своей стихотворной автобиографии об этом сказал:

А получив диплом учителя тогда,
Школе отдал все лучшие года.
Старался юношам внушить любовь
Стихами лирики, без лишних слов.
Учился с ними жизнь не обижать,
Ценить добро, друг другу сострадать.

Однако не могу сказать, что мой путь учителя сельской школы был усыпан одними розами. Досталось и шипов за свободомыслие, за отказ слепо принимать «ценные» указания разных проверяющих, что позволяю себе отступать от программы и даю то, чего нет в утвержденном учебнике.

Если бы я давал, например, Пушкина только по программе и хрестоматии, где на первом плане стояли по идеологическим соображениям «Деревня», ода «Вольность», «Анчар», — то ученики не знали бы, что есть Пушкин другой, от которого дух захватывает, что есть бездонная глубина его поэзии, что есть — «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии», «Я помню чудное мгновенье» и такие, как «Прощание» и «Заклинание».

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые.

О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

После таких стихов и другие постигались глубже и тоньше. А ведь многие учителя тогда не смели приходить на уроки со своим запасом «прочности» и посвящать учащихся в тайны прекрасных, но не программных произведений, держали их в рамках «от» и «до». А сколько было переживаний за отличников, которые законно претендовали на золотые и серебряные медали. Почему-то по Инструкции об экзаменах ученики и белорусских школ должны были писать сочинение по русской литературе. Эта медальная работа должна была выглядеть как безупречное произведение с четким планом, немалой по объему, быть последовательной в изложении, отличаться самостоятельностью суждений, правильными идейными выводами и написана без единой ошибки. И все это ученик должен был сделать за шесть беспрерывных часов в стрессовой ситуации, в присутствии большой комиссии, не пользуясь ни словарем, ни другими пособиями.

Потом сочинение с другими материалами направлялось в облоно для утверждения школьной оценки.

Медалисты для школы — это почет, показатель высокого уровня обучения и воспитания, поэтому наш директор Старовойтов Василий Петрович, уважаемый и почитаемый в районе, прямо ставил мне задачу помочь отдельным ученикам получить за это сочинение высшую оценку. Ведь на таких учеников все годы работали многие учителя-предметники. И я не имел права похоронить надежды школы, родителей, претендентов. Так я держал на втором году работы свой экзамен на профпригодность. К счастью, вернулись работы с рецензией и подписями областной комиссии: с оценкой 5/5 согласны. Два ученика впервые получили золотые медали, затем один из них, Бобко Фаддей, стал кандидатом наук.

Зная такую нервотрепку, мои коллеги-языковеды решительно отказывались брать старшие классы, ссылаясь на то, что у них за плечами только учительский институт и нет опыта преподавания в выпускных классах. Мне пришлось и дальше тянуть эту лямку и отвечать за этот сложный экзамен (сочинение) по русскому языку и литературе, так несправедливо навязанный выпускникам-белорусам.

Попробую вникнуть в повседневную жизнь школы, во взаимоотношения учителя и инспектора, дать оценку сложившемуся тогда методу контроля. Его хватало с избытком как со стороны дирекции, так и отдела народного образования. Иногда это превращалось в глупую слежку за каждым шагом учителя, раздражало, унижало его недоверием. Только завучу школы вменялось в обязанности посетить за год около двухсот уроков и воспитательных мероприятий. Кроме этого регулярно проводились комплексные проверки по линии районо, частые контрольные работы (так называемые «срезы» успеваемости). Все это нужно, без этого не обойтись, но надо было и меру знать. Раздутые контролирующие штаты часто мешали спокойной, вдумчивой работе школы, учителей. Хочу затронуть и модные тогда «налетные» проверки то рабочих планов учителей, то еще чего-то. Это делалось для того, чтобы наловить «жучков» для многочисленных заседаний, совещаний, советов районо, конференций. Словом, была линия держать в повышенном напряжении школы и в страхе учителей. Не хватало главного — квалифицированной помо-



Учителя Круговичской средней школы. 1959-60 учебный год.

щи нуждающимся в ней учителям, не было откровенного обсуждения школьных проблем. Нас приучили еще в школе, в вузе, на разных совещаниях и заседаниях говорить только «правильные» мысли, угождать «руководящему» мнению. Поэтому мы не умеем вести дискуссию, в нестандартных высказываниях искать истину. А ведь убеждение и истина приходят к человеку не сразу, не вдруг, они приходят постепенно. К ним не может подойти тот, кто ищет их со страхом, запрещая себе думать и говорить откровенно, кто сам себя обманывает.

Учительские августовские конференции, правду сказать, не вызывали должного интереса, потому что проводились по утвердившемуся трафарету: общий доклад начинался всегда с набившей оскомину длинной политической «подкладки», с восхваления партийных решений о школе, с призывов вооружать учащихся глубокими знаниями, умениями и навыками. Потом, часто по формальным признакам, шла хвалебная оценка лучших школ и учителей, назывались проценты успеваемости, а потом шли другие школы и учителя (вспомните семь пар «чистых» и семь пар «нечистых» В. Маяковского). Вторым доставалось «разгромной» критики по полной программе. В разряд таких «нечистых» и я попал на втором году своей работы. В них включила меня инспектор Берлинская (какая страшная фамилия) после посещения урока по работе В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». В докладе прозвучало, что я свел глубокие высказывания вождя до простого требования писателям вступать в компартию. Такую глупость я посчитал оскорблением, попросил слова, кратко изложил содержание урока и доказал, что не партбилетом измеряется талант советского писателя и защита интересов трудового народа. В заключение я сказал, что инспектор исказила истину для того, чтобы показать руководству района свою партийную зоркость. Зал поддержал меня аплодисментами, а инспектору пришлось оправдываться. Ход конференции вернул в послушное русло партийный работник, сказавший буквально следующее: «А что вы, уважаемая Берлинская, будете оправдываться перед Нестеруком». Все убедились, что в жизни прижился принцип: я начальник — ты дурак. Мне преподали урок, что простому учителю надо быть покорным и не высовываться. Было обидно, но я утешал себя стихом А. С. Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца».

Получив такой общий заряд руководящих указаний с «разгромной» критикой недостатков, учителя возвращались домой, окунались снова в неустроенный быт деревни, в обычные школьные будни. И опять их пугали проверками, сбором критического материала для новых совещаний, заседаний, советов районо и следующей августовской конференции. Инспекторов я не хочу обидеть, они были такие, как и мы, — не хуже и не лучше...

А быт деревни, приезжих учителей продолжал оставаться трудным, неустроенным: невозможно было семейным найти сносную квартиру, наладить нормальное питание. Думалось, отработаем положенный срок и уедем на свою Антопольщину. Но нам неожиданно повезло: съехал врач, занимавший полдома одинокой старушки, куда мы и вселились с нашей первой дочуркой Наташей. А вскоре в нашей большой любви родилась вторая дочь — Лариса. Моя Раиса оказалась прекрасной матерью и хозяйкой. Девочки росли здоровыми, красивыми, ухоженными. Мы были счастливы, несмотря на тогдашнюю бедность.

И все же советская школа в те трудные годы при крайне слабой учебной базе делала заметные успехи. Однако много пришлось ей пережить потом, как и всей стране, сомнительных реформ и перестройки.

Раздумья

В конце пятидесятых годов была задумана и проведена реформа в народном образовании. Школа стала с производственным обучением. Учащимся была навязана специализация полевода-тракториста. За школой формально закреплял-

ся участок в 20 га земли, на котором должен был выращиваться на научной основе урожай кукурузы, картофеля, свеклы, а опыты внедряться в колхозное производство. Специалистов по новым предметам настоящих не было, преподавание велось на низком уровне. Колхоз, как и раньше, засевал наш участок, а школьная бригада использовалась как простая рабочая сила. Не только она, вся школа неделями работала на сборе камней, которыми усеяны круговичские поля, на уборке картофеля и свеклы, хотя рабочей силы в селе хватало, но люди под разными предлогами уклонялись от сельхозработ. Во многом выручала школа, выкапывала каждый год до 20 га картофеля, убирала и в заморозки свеклу. Разные инспекторы регулярно проверяли «липовую» документацию бригады, а школа брала «с потолка» и показывала в отчетах высокие достижения в опытнической работе.

Нашу школу ждала еще одна напасть. Директор, чтобы прославиться или по нажиму районной власти, взялся силами строительного звена бригады возвести кирпичное здание школы. Нам выделили трактор и автомашину. Вот тут-то и начался настоящий кошмар: старшеклассники вручную копали траншеи, возили бутовый камень, заливали фундамент, возили из карьера гравий, кирпич с местного завода, обслуживали каменщиков-шабашников.

Сколько было потеряно уроков, не получено знаний! Родители приходили жаловаться на такое вольное обращение с их детьми, но что мы могли им ответить. Однако надо было рапортовать, что в результате школьной реформы улучшились успеваемость и воспитание учащихся.

До нашего директора наконец дошло, что это может добром не кончиться, и он в расцвете славы ушел на повышение, стал заведующим районо. Меня назначили директором. Я знал, что меня ожидает, но тогда не принято было упорствовать и не соглашаться. Пришлось обивать пороги правления колхоза, сельсовета, лесничества, выпрашивать всякую помощь. Приходилось каждое лето, теряя отпуск, заниматься стройкой, ремонтом старых зданий, вывозом дров для отопления школы, отвечать за летнюю практику в колхозе. Я стал ловить себя на том, что тупею, живу старым багажом, теряю качества учителя, превращаюсь в завхоза, снабженца, попрошайку в разных организациях и кабинетах.

Не все ладилось у меня, беспартийного, с секретарем колхозной парторганизации и местным председателем сельсовета. Окончательно испортил наши отношения один случай. Как-то на Пасху, проявив свою идейность и атеизм, решили они провести воскресник. Медики смелее, не явились, пришли всегда покорные учителя. Им было предложено чистить коровник. Начальники за работу не думали браться, они пришли надзирать и руководить. Я сказал, что таким образом никому не позволено унижать и позорить учителей. О непокорном, аполитичном директоре было доложено куда следует. Вскоре в районной газете «Савецкае Палессе» появилась сатирическая статья: «Інтэлігент, чаго спалохаўся?», где меня учили уму-разуму и покорному, правильному поведению. Тучи надо мною стали сгущаться. Окончательно крест на моей директорской карьере поставило «куриное» дело.

Кто-то в высоких кабинетах придумал, что ученики школ могут внести заметный вклад в программу догнать Америку по мясу. Каждой школе довели план сдачи птицы. Ее должны были вырастить школьники на своих подворьях. Нам довели цифру в 150 голов. Старшеклассники нести под мышкой кур отказались, несмотря на уговоры и просьбы; дети младших классов за несколько дней принесли примерно 50 выбракованных, негодных петушков. Настоящую птицу родители сами продавали где только могли, чтобы выручить кой-какие деньги. На базе эти кости и перья не приняли, забирать их домой дети не захотели. Выпустили этих бедняг в школьном саду на волю, так они и пропали к зиме.

Если раньше на советах районо меня отмечали как знающего педагога, то после провала плана я получил выговор и вскоре был снят с должности за несознательность и плохую исполнительскую дисциплину. Приняли с женой решение уволиться и навсегда покинуть Ганцевщину, которой было отдано семь лет жизни, но меня

неожиданно призвали в армию на сборы. Пришлось отозвать заявление, чтобы не оставлять семью без перспектив в новом учебном году. После возвращения в сентябре пришлось согласиться с назначением на должность завуча школы. Так мы и остались, думали, временно, в Круговичской средней школе.



С супругой Раисой Андреевной.

Новый директор, бывший партизан, член партии, был человеком добрым, но, как потом оказалось, сильно пьющим. Он больше бывал в колхозе, чем в школе, целыми днями пропадал с друзьями, в учебный процесс не вникал, но любил заниматься хозяйственными делами, заводить блат, заключать разные договоры на нужные и ненужные ремонты.

Скрыть провал производственного обучения на базе средней школы не удалось, но и отказаться от него долго не решались. Его перенесли в отдельный учебный комбинат, куда по графику один день в неделю выезжала каждая школа. Расписание уроков старшеклассников на пятидневку оказалось сильно перегруженным. Наконец-то закрыли учебный комбинат, а школа снова стала просто общеобразовательной. Этот комбинат вообще был не нужен, так как в Ганцевичах успешно работало училище механизации сельского хозяйства.

Наконец-то наша стройка была закончена, завершила ее районная строительная организация. Получилась школа-казарма с узким коридором, с печным отоплением, без водопровода, без необходимых кабинетов. Но чиновники от образования не унимаются: поступает приказ о переводе средних школ на кабинетную форму обучения. Выглядело это так: на классах разместили таблички с названием кабинетов, комнаты загрузили шкафами, чем заметно сократили рабочую площадь, стены увешали массивными стендами, будто бы способствующими успеху обучения. Учителя стали днями и ночами клеить картонные коробки, чтобы заполнить полки пустых шкафов. На каждый новый урок ученики обязательно должны были меняться лжекабинетами. После каждого звонка начиналось в узком коридоре столпотворение, «великое передвижение народов». Заведующие лжекабинетами стали докладывать дирекции об испорченной и сломанной мебели, а инспекторы усилили контроль за исполнением важной директивы. Никому не было дела, что непростительно нарушается принцип учета возрастных особенностей учащихся. Никто не станет отрицать значение современного кабинета в обучении, но та показуха приносила больше вреда, чем пользы. Прошло время, чиновники от образования угомонились, а школы прекратили ненужные «хождения по мукам».

Со временем в жизни Круговичей, колхоза «Знамя Ленина» произошли заметные изменения: были построены двухэтажный Дом культуры, современный детсад, торговый центр, Дом быта, новые фермы. А в больших деревнях района началось строительство типовых школ с необходимыми кабинетами, актовым и спортивным залами. Нас брала зависть, а мы, старейшая в районе средняя школа, расплачивались за чью-то прежнюю глупость, занимаясь в угрюмом, холодном, допотопном здании.

Вместе с тем несколько улучшилось материальное положение учителей, бытовые условия. Мне удалось купить в рассрочку неплохой четырехкомнатный дом. Увеличилась семья: родилась наша третья дочь — Инесса. На семейном совете было решено дать ей вместе со школьным и музыкальное образование. Пришлось на наши скромные сбережения купить пианино и потом оформить нашу малышку в Ганцевичское музыкальное училище. Снова переезд на малую родину был отложен. Теперь бытовые условия нас устраивали. Да и в школе мы уже стали опытными учителями. Раисе Андреевне присвоили звание «Старший учитель», а мне после аттестации — высшую категорию.

Но кроме школьных забот вскоре добавились дополнительные нагрузки: меня в добровольно-принудительном порядке назначают руководителем и лектором в одном лице школы партийного просвещения в колхозе. Программа доводилась райкомом вузовская — от истории КПСС до философии, политэкономии и научного коммунизма. На исполнение этой сложной бесплатной нагрузки уходили все мои выходные дни. Райком партии часто направлял меня на семинары в Брест, где я учился лекторскому мастерству у видных пропагандистов республики. Закончил я и заочную двухгодичную школу пропаганды при Брестском обкоме партии. За мой многолетний труд партийные органы награждали многими грамотами — вплоть до грамоты ЦК Компартии Беларуси и юбилейной медали В. И. Ленина.

В Компартию вступил поздно, в 1968 году, когда по решению райкома в средних школах стали создаваться парторганизации. Я стал первым ее секретарем. Пришлось тянуть еще одну, уже партийную нагрузку, часто бывать в райкоме, придумывать планы работы, повестки обязательных ежемесячных собраний, редактировать протоколы и идейные постановления из многочисленных пунктов с избитыми словами — одобрить, усилить, улучшить, добиться. Потом эти «умные» бумаги забывали, складывали в сейф для отчета. И так из месяца в месяц. В душе зрели критические мысли, но изменить хоть что-то было нельзя: все шло по давно накатанной колее.

Мы становились свидетелями разных событий, которые вызывали тревожные ожидания. Прошли через хрущевский «коммунизм», который был обещан народу к 1980 году, а закончился продовольственными карточками, через брежневский «застой», когда на страну и генсека пролился золотой орденский и звездный дождь, через горбачевский социализм с человеческим (надо же такое придумать) лицом.

Партийная пропаганда продолжала трубить о гениальности наших вождей, а в народе ходили многочисленные анекдоты про престарелых генсеков, которые будто были «умом, честью и совестью нашей эпохи».

Большую тревогу вызывали и политические события в мире. Карибский кризис (поставка ракет на Кубу) чуть не привел к атомной войне; возникла польская «Солидарность», прогремела «Пражская весна», взволновали венгерские события. Это был тревожный звонок, но не все его услышали.

Мы, поколение послевоенных лет, познавшие невзгоды того времени, получившие образование и воспитание в советской школе и институте, были патриотами, гордились страной, успехами в космосе и культуре. Советская пропаганда широко использовала в воспитании «Алые паруса», тягу молодежи к романтике. «За туманом и запахом тайги» энтузиасты ехали на строительство БАМа, осваивать целину, строить города и заводы. Героями для подражания были Павел Корчагин, Стаханов, Чкалов, папанинцы, солдаты и офицеры Отечественной войны. В таком патриотическом духе воспитывались дети и в нашей семье: активно участвовали в пионерской и комсомольской работе, разных кружках, предметных олимпиадах, субботниках и воскресниках, потом в студенческих трудовых отрядах.

Несмотря на низкие учительские зарплаты, невысокий материальный достаток, мы смогли дать троим детям достойное воспитание и образование.

Старшая дочь Наталия стала инженером-химиком на «Интеграле», Лариса и Инесса — учителями иностранных языков в школе, техникуме, потом в Гомельском и Московском (филиале) университетах.

А село Круговичи жило обычной размеренной жизнью, в трудах и заботах: выросла новая улица, построены новые дома, а в 1985 году наконец-то вступила в строй современная типовая школа. В колхозе были введены в оборот новые земли в урочище «Кудаха», что привело к укреплению хозяйства.

Но в мире было неспокойно: усилилась гонка вооружений, холодная война, СССР был объявлен империей зла. Огромные траты на ядерное оружие, космос, на поддержку просоветских режимов и зарубежных компартий не могла выдержать советская экономика — назревал глубокий политический кризис. Новый генсек Горбачев объявил перестройку, гласность, плюрализм. Его демократические речи сначала всем нравились, потом стало ясно, что перестройку заболтали, как уже было не раз до этого.

Приближались лихие 90-е годы двадцатого века. Окрепла прозападная оппозиция, усилились сепаратистские настроения в республиках. Как снежный ком накатились непонятные события: свергнут Горбачев, власть берет ГКЧП (государственный комитет чрезвычайного положения), просуществовавший три дня. В схватке расколовшейся правящей верхушки победу одерживает Ельцин, объявивший о строительстве капитализма.

В то утро видели Кремлевские палаты,
Как власть Советскую свергали демократы.
И пошло-поехало, не забывается досель,
Как завертелась воровская карусель.
Поделили банки, трубы, нефть и газ —
Все подстроили под западный заказ.

Теперь Россией правят олигархи,
У них с Кремлем завелся флирт.
Народ остался с фигою в кармане,
Ругает власть и пьет «убойный» спирт.

Так 25 декабря 1991 года не стало целой страны — Родины для большинства людей. Плоды этой схватки пожали циничные дельцы, разграбившие страну во время дикой приватизации. Эти новоявленные буржуи в 1996 году подмяли под себя финансы, выборы, высших чиновников, политику, средства информации, а культуру превратили в свою служанку. Они втянули в свою лжекультуру значительную часть молодежи.

Сегодня Россия по числу миллиардеров, бутиков, фабрик звезд, битв титанов, низкопробной развлекаловки, юмора ниже пояса выходит в мировые лидеры. Нам очень подробно рассказывают, кто с кем спит, сколько жен и мужей поменяли наши звезды, кто успешно вышел за олигарха. Да, мы теперь многое знаем про ГУЛАГ, про сталинскую коллективизацию, о престарелых вождях, читаем запрещенную литературу 30-х годов, написанную «в стол». Никто не хочет возвращаться в прошлое. Но нельзя же так огулом оплевывать все советское, как это делает та часть интеллигенции, которая вскормлена из кармана обворовавшей страну буржуазии.

Откроешь газеты — и диву даешься, как верные слуги капитализма за наворованные миллиарды жируют на Канарах, Куршевеле, на лазурных берегах, устраивают там оргии со своими молоденькими шлюхами, скупают замки и дворцы, яхты и спортивные клубы, бриллиантовые яйца Фаберже. Им не важно, какая Россия достанется будущим поколениям, они уже построили себе мини-Россию за надежно охраняемой Рублевкой и другими злачными местами; им не важно, что большинство россиян живет на улице «разбитых фонарей».

Двадцать первый век и культура

Двадцать первый век не оправдал надежды народов, не увидели люди свет в конце тоннеля. Углубилась пропасть между бедностью и богатством; глобальные катастрофы потрясают планету Земля; нравственности и духовности нанесен непоправимый урон.

Есть два икса, за ними единица,
Это лживый двадцать первый век.
Издерган мир, Земле тревога снится,
Пока не поздно, кайся, человек!
Политики в бесовской страсти
Пожары раздувают там и тут.
Им мало почестей, богатства, власти,
Играют судьбами, бесстыдно лгут.

(Из стихотворения «XXI век»)

Не властители дум — философы, ученые, настоящие поэты и писатели — знамениты, а те, кто за богатые подачки продвигает чужие взгляды и ценности, исполняет «заказуху». Ныне деньги значат больше для карьеры, чем талант, нравственность и высокая культура. Раньше большое искусство и нажива были несовместимы. Настоящую музыку, писателей прежнего уровня «похоронили», когда в классику влез шоу-бизнес. Никогда в жизни — по выражению великого пианиста Николая Петрова — не устраивали такого «чертобесия», которое творится на нынешних сценах. В нас запустили столько грязи через кино, литературу-однодневку, телевидение, что с этим злом даже здоровый человек не справится. На эстраде чаще всего — глумление, кривляние, пустота. Раньше таких артистов, — считал Ян Арлазоров, — не пустили бы на предварительный просмотр в театральное училище. Так нынешняя попса промывает мозги молодежи.

В советское время чествовались часто и люди труда. Доступ в элиту не был уделом избранных. Неужто петь под фанеру, плясать, скакать как угорелый, бесноваться — такой уж тяжкий труд?

Сегодня на конкурсной сцене
В моде голый живот и зад.
Скачут артисты, как черти,
Словно их гонят в ад.

Однажды при опросе одной газеты Боярский сказал: «Отбери у некоторых людей звания, так они ничего не будут представлять — бездарность и останется бездарностью». Нынешнее телевидение, радио, книжный рынок являются прямым порождением денежного мешка капиталистических акул господства и наживы.

А с экранов телевидения продолжает литься кровь, идут бесконечные сериалы про грабежи и разбой, разных ментов, про банковские аферы, бандитские разборки, семейные неурядицы. Пропаганда порно и секса свободно идет на многих каналах, поэтому неудивительно, что такое широкое распространение в мире получила торговля красивым женским телом. В этом виден сговор алчных мафиозных групп, шоу-бизнеса и модельных домов. Для этого и нужны разные «фабрики звезд», конкурсы красоты «Мисс Европы», мира, отдельных стран по несколько раз в году под разными вывесками. Хуже всего, что эта напасть распространилась на школы, лицеи, детские сады. Везде выбирают первую красавицу, унижают этим всех остальных, травмируют детскую психику. В моих «Ночных мыслях» есть стихотворение:

Про секс говорить стало модно,
Мол, век наш — время страстей.
Да нет же! Это доходно
Для теперешних ловкачей.

Готовят сексотов смену,
Сколько дурацких затей.
Выводят славянок на сцену,
Как на ярмарку лошадей.

Сложилась целая каста,
Освоила денежный путь.
На кастингах лапают гласно
Девочек бедра и грудь.

Почему так много пишу о нынешней России? Потому что она и нам, белорусам, не чужая страна; потому что события в ней прямо или косвенно влияют на нашу политику, экономику, культуру и нравственность; потому что все мы вышли из одной, советской шинели.

Перед выбором

После развала СССР события в Беларуси развивались по российскому образцу, правда, с меньшим размахом, без человеческих жертв, без танков и расстрела парламента. Страна объявлена парламентской республикой. Во главе становится Шушкевич, подписавший с Ельциным и Кравчуком акт о роспуске Союза в беловежских Вискулях. Сразу усиливается борьба за выбор белорусского пути. Во время этой смуты поднимают головы националисты во главе с Позняком и Шушкевичем.

Не знали тогда белорусы,
Сделать куда поворот.
На плохо вспаханной почве
И вырос народный фронт.

Позняк был в деревне на встрече,
За президента боролся «Сан»!
Говорил, что без оппозиции —
Не власть, а сплошной обман.

Но победу в первом туре голосования одержал Лукашенко. Народ высказался за его программу независимости и строительства с Россией союзного государства. Мне трудно оценить первый срок его президентства: слишком много раздавалось критики в его адрес со стороны бэнээфовцев. Проигравшая оппозиция повседневно трубила об украденной демократии, свободе, устраивала марши несогласных, пыталась при поддержке Запада провести цветную революцию.

Шло время... Медленно поднималась республика с колен, а строительство союзного государства тормозилось нестыковками экономик двух государств. Алчные российские олигархи избрали нефть и газ главным козырем давления на Беларусь. Новые президентские выборы не изменили расстановку сил. Программа Лукашенко опять находит подавляющую поддержку в народе. Противники предрекают стагнацию, критикуют его за популизм, ручное управление, подавление демократии. Однако будем объективны: за годы его правления республика добилась заметных успехов: обеспечены независимость и продовольственная безопасность, проведена модернизация градообразующих предприятий, перерабатывающей промышленности. Улучшился жизненный уровень населения.

На сложные размышления навели новые выборы президента в декабре 2010 года и последующие события. Обанкротившаяся оппозиция потерпела сокрушительное поражение, но попыталась силой захватить власть, чтобы оправдать затраченные деньги своих зарубежных хозяев. Не получилось! Запад тут же объявил выборы, на которых Лукашенко получил 80 % голосов, недействительными, ввел санкции, усилил пропагандистскую кампанию против неугодного режима.

На склоне лет

Однако закроем страницы лихих 90-х годов двадцатого века и нового времени, когда призрак капитализма превращается в реальность на постсоветском пространстве. В это время я вступил в пенсионный возраст, но продолжал работать в школе, потому что сохранились силы и накопленный опыт преподавания, любовь к школе и ученикам. Думалось, что я еще нужен в коллективе молодым учителям в эти непростые годы, когда на нас хлынула такая противоречивая информация. Ведь в школе шли нешуточные споры: одни защищали все советское и курс Президента, другие становились на позиции Народного Фронта и бездумно выхваляли западный капитализм. Доведя до выпуска свои старшие классы, я распрощался со школой и стал привыкать к жизни пенсионера. В семье складывалось все хорошо. Были любовь, нежность, взаимопонимание. Моя Раиса Андреевна и в пожилом возрасте оставалась человеком большой души, прекрасной матерью и хозяйкой. Ее лучистые глаза продолжали греть нас теплом и лаской. Радовали дети: к этому времени они уже стали неплохими специалистами в своих профессиях, работали в больших городах. Но судьба готовила страшные удары. На восемьдесят шестом году умирает моя мать. Не забыть ее заботу о наших девочках. Бабушка Анна, простая крестьянка, была талантливой выдумщицей детских сказок, игр и забав для подрастающих внучек. Жаль, что я не записал их тогда и не обработал литературно. А теперь, на склоне лет, все реже удается побывать на ее одинокой могиле.

Есть кладбище. Его песок глубокий
Хранит небес высоких благодать.
Ограда там и холмик невысокий,
Где спит, покоится родная мать.

Бываем редко там, но говорим с тобою,
Прости ты нас, далеких сыновей.
Спорить бесполезно со своей судьбою,
Время не вернешь, оно летит быстрей.

Пока есть силы видеть небо синим,
Память сохранит твой светлый лик.
Нам дороги всегда твои седины,
Мы помним расставанья горький миг.

Несколько позже ушла из жизни родная сестра Клавдия, любимая тетя моих детей. На родине остался отец — ветеран Великой Отечественной войны. Мне пришлось часто приезжать к нему, оказывать помощь, уговаривать переехать к нам, от чего он долго отказывался — прикипел человек к родному дому, что был построен таким трудом. Природа наградила нашего Иосифа Максимовича завидным здоровьем. Он и в свои 93 года не выглядел дряхлым стариком, был подтянут, сухощав, подвижен, ездил на велосипеде в любимый Антополь, работал в большом саду.


С внучками Ангелиной и Катей, 2000 г.

После долгих уговоров согласился провести у нас только зиму, но так и остался до конца своих дней. Мы жили дружной семьей, окружили его вниманием и заботой. Ничего не предвещало беды. Но в морозную, снежную зиму декабря 2002 года приключилось воспаление легких, и 7 января 2003 года, в ночь Рождества, перестало биться его сердце. Похоронить его в родных Свекличах мы не смогли (я тоже был сильно простужен), пришлось похоронить на круговичском кладбище, чтобы потом, возможно, перезахоронить на родине. А получилось, что солдата «зарыли в шар земной», и трогать его могилу не решаемся. Но не выходит из головы, как раскаяние, мысль, что человека навек разлучили с землей в родном краю, а по ночам снятся стихи А. С. Пушкина:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И звучат они как тихая жалоба отцовской души.

Похоже, как в случае с отцом, но в декабре 2003 года слегла Раиса Андреевна. Пришлось срочно положить ее в райбольницу. Казалось, больная в первую неделю идет на поправку, но врачи обнаружили прогрессирующую лейкемию. Врачи оказались бессильны. 20 января 2004 года не стало жены, матери, бабушки.

Твой образ для меня — святое,
Жаль, что годы радость унесли.
Время хочет зачеркнуть былое,
Сказать, что утонули наши корабли.

К звездам ты ушла далеким,
Там не растут весенние цветы,
Там чувствам холодно высоким,
Там нежность не познаешь ты.

Там не найдешь любви и счастья,
Дороги звездные не приведут домой.
Там не попросишь для души участья.
Там вечность правит человеческой судьбой.

Удар судьбы... Жизнь стала пустой, ненужной, превратилась в прозябание, но я не сдался, устоял, не сломался. Моим спасением стала прежняя нерастраченная любовь, улыбка милой, ее лучистые глаза. Помогла и классическая литература, с которой я снова крепко сдружился и открыл в ней великую мудрость Земной жизни. Особенно меня увлекла поэзия — исповедь души лирического героя. К счастью, сохранились зрение, слух, память. В раздумьях, в полусне стали приходить темы, образы, рифмы. Ночами стал являться любимый образ — мой светлый, улыбчивый зайчик. Вскоре вырисовался образ солнечной, загадочной женщины, затронувший лучшие струны души. Так возник первый сборник «Любви цветок», начало которому положил «Солнечный зайчик»:

Недавно я видел во сне
Себя беззаботным мальчиком.
А ты мелькнула в окне
Милым, солнечным зайчиком.
Проснулся — сердце в огне,
Мой зайчик — мечта святая.
Бледный месяц стоял в стороне,
А в комнате — тьма ночная.

Потом написались сборники «Рассветы и закаты», «Дни как ручьи», «Ночные мысли».

Размноженные стихи стал дарить родным, друзьям, выпускникам школы. Они надоумили меня послать избранное в газеты и журналы. Первым появился в «Гаспадыне» «Солнечный зайчик», затем в «Друге пенсионера» стихи о природе и «Не изжить мне без тебя тревогу», на которое я получил теплые письма от незнакомых женщин-читательниц газеты.

Не смирилось и не отболело
Сердце одинокое в тисках.
Ты ушла зимой с метелью белой,
Вспомню — стынет кровь в висках.

Мне в стране твоей холодной и далекой
Не найти знакомого следа.
Но глаза любимой, черноокой
Узнаю без всякого труда.

Ты в душе хранила ясную погоду,
Память не сотрет любимый лик.
Не изжить мне без тебя невзгоду,
Сознаю: я вечный твой должник.

Прилетай снежинкою морозной ранью,
Разгони мою тревогу и нужду.
Это будет незабывное свиданье.
В нем я молодость ушедшую найду.

Установились у меня тесные связи с районными газетами, которые на литературных страницах продолжают традиции Ганцевщины литературной. Здесь начинали творческий путь известные поэты полесского края — В. Проскуров, И. Кирейчик, М. Рудковский, М. Купреев, В. Гордей. Теперь продолжают выступать хорошо зарекомендовавшие себя поэты второй волны — Алексей Голоскок, Светлана Локтыш, Нина Ковальчук, Анна Залеская, Алла Мирзалиева, Владимир Бабулин, Георгий Толин и другие. Печатаются и подборки моих стихов из циклов «Здесь Беларусь святая», «Поэтам-лирикам читателя поклон», «Наследие любви», «Голубая даль», «Сонеты».

Написанные и подаренные мною стихи помогли укрепить и завести новые знакомства. Так, известный в Беларуси поэт и прозаик Виктор Гордей подарил мне интересный роман «Бедна басота», замечательный сборник лирики «Триединство», помог организовать выпуск моего сборника «Рассветы и закаты», написал обзорную статью, в которой раскрыл особенности моего стиха и образ лирического героя.

Презентация поэтического сборника состоялась в декабре 2010 года. Ее талантливо организовали и провели работники Дома культуры и библиотеки, при поддержке хоровых коллективов Круговичей и Ганцевичей. Получился сельский праздник поэзии. Прозвучали и две песни, «Крепость над Бугом» и «Май в моем сердце», написанные на мои стихи местным композитором.

Так я вступил в клуб ганцевичских поэтов и возложил на себя обязательства писать так, чтобы не снизить высоту, которой достигло мастерство нынешних поэтов нашего края. Хочется надеяться, что впереди будут новые дали, новые поиски, новые свершения.

На склоне лет время течет незаметно:

В природе, как в жизни,
Все в вечной борьбе:
Прошла весна, пройдет и лето.
А я желаю Вам и себе
Верных друзей, тепла и света.

Вот уже на исходе еще один год. Золотая осень сменилась предзимьем, праздники перешли в будни, в тяготы жизни, иногда в безутешную скуку. Но не будем перекладывать на кого-то вину за все это. Глупо ожидать, что жизнь сама устроит нам праздник. Надо самому избавляться от серой повседневности, настойчиво искать священный смысл бытия в будничной работе, в каждом прожитом дне. Будни с человеком остаются всегда, поэтому их необходимо преобразовывать изнутри, как учит известный философ А. И. Ильин, и тогда они «наполнятся смыслом, станут многоцветными».

С годами мы становимся терпимее, добрей,
Нам вспоминается тернистая дорога.
На ней препятствий было взято много,
С годами мы становимся терпимее, добрей.

И друга взгляд становится дороже,
Дороже радость встреч, любимых имена,
Отцовский дом, родная сторона,
С годами друга взгляд становится дороже.

С годами время учит быть душою чище,
И жизни смысл становится ясней.
Жалеем в никуда ушедших дней,
С годами время учит быть душою чище.

С годами больше любим солнца свет,
Нас греет память первого свиданья,
И мучают ошибки расставанья,
С годами больше любим солнца свет.

Заканчиваю повесть, пройдены трудные пути-дороги, забываются радости и печали, ошибки и заблуждения, но в памяти хранятся лучистые глаза любимой женщины; их теплом и светом еще согрет мой одинокий, опустевший дом.



Портрет Огинского на музыкальном полотне

Декабрь 2013 года, Молодечно. В жизни города произошло событие отнюдь не местного масштаба, впечатлившее весьма широкий круг людей, которые интересуются современным серьезным искусством, чтят родные традиции многовековой и многоликой, самобытной белорусской культуры, дорожат национальными духовно-историческими ценностями. С особым интересом заговорили об этом событии представители интеллектуальной и творческой элиты, зарубежные гости, в том числе дипломаты из соседних стран. В центре внимания оказался новый художественный образ — впервые воплощенный средствами оперного жанра реальный герой общеевропейской и нашей отечественной истории, потомок древнейшего великокняжеского рода, именитый и почитаемый в мире общественно-политический деятель, музыкант Михал Клеофас Огинский (1765—1833). Уникальное произведение — романтическая опера «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» — явилось успешным осуществлением замысла трех талантливых энтузиастов: композитора Олега Залётнева, автора либретто и режиссера-постановщика Сергея Макарея, музыкального руководителя и дирижера, заслуженного деятеля культуры Беларуси Рыгора Сороки, которому принадлежит идея этого творческого проекта.

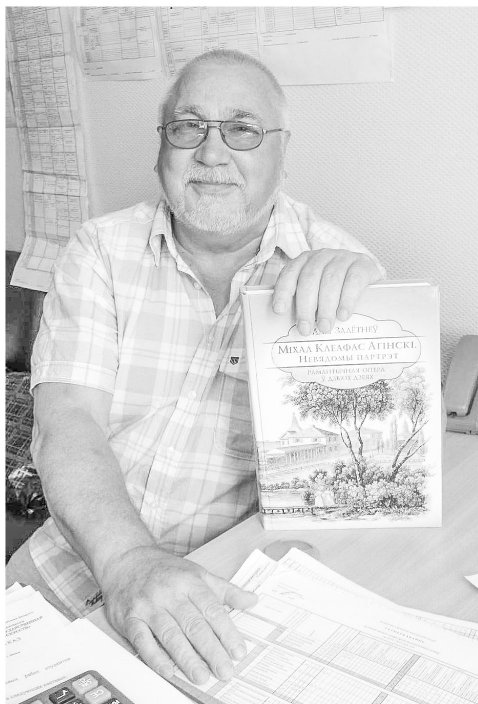
Фабула спектакля интригует. Что на сей раз учинит Мария, жена Огинского, снискавшая славу бесстыжей Мессалины? Какое несчастье случится в парке с очаровательной итальянкой Катриной Бони? Почему Юзеф Лубенский, племянник Михала Клеофаса, вдруг станет для него соперником и в чью сторону повернется рука с поднятым пистолетом? Мундир каких времен выберет князь для своего парадного портрета? И напишет ли тот портрет вымышленный художник Ян Шиманский, волею авторов оперы оказавшийся в числе гостей Залесья?..

В тандеме единомышленников трудились над постановкой хормейстер Вера Кахановская, сценограф Ольга Грицаева, художник по костюмам Татьяна Макарей, балетмейстер Александр Драгомиров, а также заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, симфонический оркестр Молодечненского музыкального колледжа, хор и солисты Молодечненского молодежного музыкального народного театра, созданного, кстати, по инициативе маэстро Сороки и работающего под его художественным руководством.

Премьера оперы «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» состоялась во Дворце культуры города Молодечно. Оба ее показа прошли с аншлагом.

Сохраняя традиции, разрушая стереотипы

Несомненно, взглянув на даты жизни князя Огинского, многие из присутствовавших на премьере с одобрением подумали о том, какой замечательный, достойнейший подарок подготовлен к его грядущему юбилею: 25 сентября 2015 года со дня рождения Михала Клеофаса исполнится 250 лет! Да и сам факт рождения долгожданной для суверенной Беларуси новой национальной двухактной оперы вызвал положительный общественный резонанс: ведь последняя премьера такого рода — «Князь Наваградскі» композитора Андрея Бондаренко, удостоенного за эту работу Государственной премии Республики Беларусь, — состоялась еще в прошлом веке, в далеком 1992 году.



Композитор Олег Залётнев с партитурой оперы. Июнь 2015 г.

Правда, в начале нашего столетия в Белорусском поэтическом театре одного актера «Зьніч», существующего как творческий коллектив столичной филармонии, родилась первая белорусская моноопера «Адзінокі птах», созданная Олегом Залётневым на либретто Галины Дягилевой, где сложная, психологически напряженная фабула заключена в рамки последнего дня жизни Адама Мицкевича. Этот мобильный камерный спектакль, в котором участвует небольшая по численности вокально-симфоническая капелла и солист-баритон, по-прежнему — на протяжении уже 14 лет! — привлекает публику, являя собой неординарный пример сценического долголетия.

А в оригинальном репертуаре нашего Национального академического Большого театра сегодня остаются две полноформатные белорусские оперы. Написаны они по мотивам повестей Владимира Короткевича и хорошо знакомы зрителям: «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Солтана — постановка 1989 года, отмеченная Государственной премией БССР, и «Сівая легенда» Дмитрия Смольского, возобновленная в 2012-м, более чем через три десятка лет со времени премьеры, на основе второй авторской редакции (в 1980 году за создание этой музыки композитор был награжден такой же высокой премией).

Однако на фоне этого в полном смысле исторического наследия каких-либо творческих действий навстречу перспективным национальным оперным проектам не наблюдалось. Завершался 2013 год, театр готовился к выпуску монументальной, ёмкой (в плане трудовых затрат и финансовых вложений) постановки «Летучего голландца» Рихарда Вагнера. Именно на те дни была назначена и премьера в Молодечно.

«Такое стечение обстоятельств нас огорчило, — вспоминает композитор Олег Залётнев. — *Мы заранее переживали, думая, что приглашенные на спектакль столичные поклонники и знатоки искусства, зарубежные дипломаты отдадут предпочтение Большому театру и не захотят пожертвовать еще одним вечером ради события регионального. Оказалось, переживали зря! Вокруг нашей «не раскрученной» постановки возник ажиотаж. Несмотря на некомфортное для путешествий время, в зале собралось немало гостей из Минска.*

Отрадно было встретить среди них министра культуры Бориса Светлова, который посмотрел и оперу «Летучий голландец», и уделил вечер поездке на премьеру в Молодечно. После спектакля он искренне нас поздравил, не скрывал своих позитивных впечатлений, отметив и очень достойный профессиональный уровень работы исполнителей, существующих фактически в статусе любительского коллектива. Конечно же, особенно дорога и артистам, и авторам непосредственная реакция людей, сидящих в зале. Мы волновались страшно. Поэтому как знак одобрения, как поддержку, как зрительское признание воспринимали эмоциональные аплодисменты публики после определенных эпизодов и арий, которые несут важную смысловую нагрузку. А еще я заметил, что зрители, увлеченные оперой, искренне плакали. Так было не только тогда в Молодечно. Так было и в Бресте, где в начале этого года наша опера прозвучала на известном международном фестивале классического искусства «Январские музыкальные вечера». Что именно так трогает людей? Я задаю себе этот вопрос и пока не нахожу ответа. Признаюсь, во время самого первого сценического прогона во Дворце культуры и со мной приключилось нечто подобное. Завершилось первое действие, и я вдруг почувствовал, что по лицу текут слезы. Подошел к Макарею и как бы в шутку говорю, что я уже совсем, наверное, состарился — стал таким сентиментальным, что начал плакать в зрительном зале. А Сергей мне на это — вполне серьезно: мол, знаешь, я хоть и гораздо моложе тебя, но со мной — то же самое: слезы... Но почему?»

Почему... Трудный вопрос. Возможно, в поисках ответа на него следует приблизиться к истокам и поговорить об истории создания оперы?

«Идея ее создания, — подчеркивает Олег Залётнев, — *принадлежит Рыгору Сороке. Историческая фигура Михала Клеофаса Огинского особенно для него дорога. Род Огнинских многое связывает с молодечненской землей — родным краем нашего маэстро. Как известно, недалеко от Молодечно, хотя формально — в Сморгонском районе, находится усадьба Залесье, принадлежавшая Огинским. Благодаря Рыгору Сымоновичу Молодечненский государственный музыкальный колледж, директором которого он является, носит имя автора легендарного полонеза «Прощание с родиной», и рядом установлен памятник нашему знаменитому земляку. Кроме того, маэстро был одним из инициаторов установки мемориальной доски с барельефом Огинского на доме во Флоренции, где завершил свой земной путь Михал Клеофас. Мы давно знакомы с маэстро, он знает мою монооперу про Адама Мицкевича «Адзінокі птах». И вот однажды — это было в 2011 году — предложил мне написать оперу про Огинского. Я с благодарностью согласился. И тут последовал вопрос: «А кто у тебя будет либреттистом? Может, обратишься к Леониду Дранько-Мойсюку?» К сожалению, пришлось сказать «нет». Высоко ценя творческий талант Леонида, я понимал, что в работе над оперой не смогу сотрудничать с профессиональным поэтом, не осведомленным в музыкальной специфике. Для написания либретто нужен человек с определенным опытом литературного творчества и с углубленным знанием музыки, разбирающийся в законах музыкальной драматургии, с которым бы мы общались на одном языке».*

Действительно, либреттисты — особая «зависимая каста» соавторов, это не создатели некоего первичного жанра художественной литературы, ведь, как метко сказано, опера есть драма, написанная музыкой. Лет 25—30 назад, когда музыкально-театральные премьеры белорусских композиторов были не столь редки, как нынче, мне приходилось присутствовать на «кабинетных» репетициях некоторых будущих спектаклей и наблюдать, как иные уважаемые литераторы, портя отношения и с композитором, и с режиссером, боролись за свои индивидуальные права, не позволяли вносить изменения в структуру «пьесы», пытались отстоять целые фразы и даже отдельные слова ради некоего принципиального авторского смысла, заключенного в тексте. Хотя то сакраментальное слово, подчиняясь объективным законам оперы, бледнело и терялось в потоке общей музы-

кально-сценической драматургии — либо не вписывалось в ритм, либо было труднопроизносимо, или просто «не пелось» из-за обилия глухих согласных звуков... Но композитору Залётневу довелось найти уникального соавтора.

«В качестве либреттиста я пригласил Сергея Макарея, которого много лет знаю по творческой работе. У Сергея обширная практика написания всевозможных сценариев, он сведущ в режиссуре и, что принципиально важно, — он образован как музыкант. В разное время Сергей Макарей работал как редактор, сценарист, менеджер на Белорусском радио, в Национальном академическом концертном оркестре, которым руководит Михаил Финберг, в Белорусской государственной филармонии, теперь же известен как заместитель главного директора телеканала «Беларусь 3». Вместе с ним и начали мы придумывать историю, которая могла бы произойти в Залесье с героем будущей оперы. Свою задачу я видел в том, чтобы создать своеобразную стилизацию музыкального языка соответствующей эпохи, ориентируясь на традиции классиков X1X века. Музыку я писал довольно быстро. В общей сложности на это ушло, наверное, месяца четыре. А вот совместные «творческие муки» растянулись надолго, и вся работа длилась три года. Сколько нервов и времени отнимали одни только сомнения! Например, мы долго колебались, решая: вводить в партитуру звучание знаменитого Ля-минорного полонеза или нет? Велико было искушение пойти навстречу обывателю, ожидающему услышать популярную мелодию. В конце концов решили: не стоит этого делать. Мы стремились отойти от укоренившегося стереотипа восприятия выдающейся личности как «автора одного полонеза». Кстати, на взгляд исследователей, сам нотный первоисточник не в лучшую сторону отличается от знакомой всем аранжировки, прославившей этот полонез на весь мир, и по музыкальной выразительности это не самое сильное среди его сочинений — разножанровых и довольно многочисленных, как выяснилось в наши дни.

Общественный и государственный деятель, сенатор, профессиональный дипломат, высокообразованный, шляхетный человек, Огинский с детства был приобщен к искусству и просто увлекался любительским музицированием — такое хобби было у талантливого князя, автора в то время очень популярных танцевальных пьес. Не стоит забывать, что виднейший композитор, также наш земляк, Осип Козловский, обучавший музыке юного Михала Клеофаса, на протяжении всей жизни давал своему воспитаннику профессиональные консультации в творчестве, гостил в Залесье. Можно предположить, что нотные рукописи князя он тщательно редактировал. И ведь сам Огинский себя композитором не считал! Поэтому, следуя исторической правде и разрушая стереотипы, мы представляем своего героя не как музыканта (хотя в опере есть намек и на его успехи в композиторском творчестве). Нашей общей главной задачей было показать великую трагическую личность гражданина, патриота, посвятившего жизнь борьбе за независимость своей родины, но в итоге столкнувшегося с обманом, предательством, унижением, оскорблением — и на политическом уровне, и даже в собственном доме».

Дух «Северных Афин»

Сюжет оперы придуман и продуман от экспозиции до развязки, а потому действительно оригинален, самостоятелен и отражает полет собственной авторской фантазии, не отягощенной литературно-художественными источниками, а сориентированной на факты.

Ориентироваться есть на что. За последние десятка полтора лет появились разнообразные научно-популярные, документально-биографические, исторические публикации, издания, проливающие свет на удивительную личность и неоднозначную, противоречивую, трагическую судьбу кумира многочисленных мело-

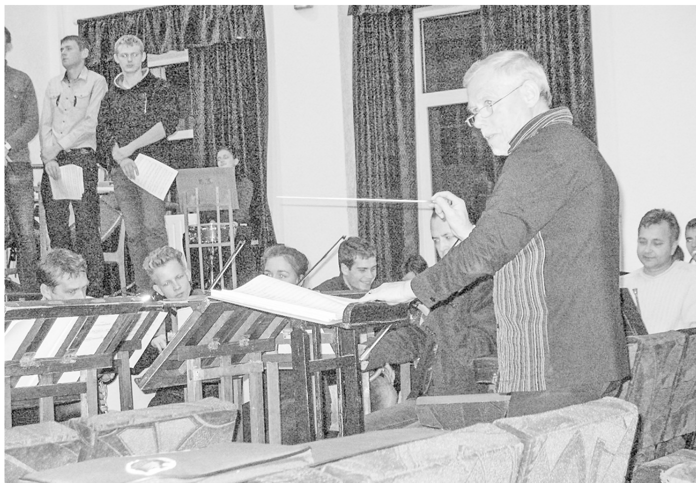
манов. «Міхал Клеафас Агінскі. 1765—1833. Продкі, жыццё ў Залессі, нашчадкі» художника, подвижника-краеведа, просветителя и педагога Сергея Веремейчика; вышедшие в издательстве «Четыре четверти» переводы книг праправнуков князя — «Время и музыка Михала Клеофаса Огинского» Анджея Залуского, «Ген Огинского» Иво Залуского; учебные пособия профессора музыкознания Ольги Дадиомовой; фундаментальный историко-теоретический труд музыколога Святлены Немогай «Жыццё і творчасць М. К. Агінскага ў каардынатах яго часу і культурнага асяроддзя»... Отсюда можно почерпнуть информацию, которую замалчивала официальная советская история. Например, о белорусских корнях родословной Михала Клеофаса, о его далеком предке — боярине по имени Дмитрий Иванович Глушонок, пять столетий назад получившем от великого князя Александра Ягеллончика право на имение Огинты, располагавшееся между Троками и Ковно (Тракай и Каунас на территории современной Литвы). О «литвинском» самосознании Огинского, что обрекало его на существование между двух огней, выражалось в своеобразии политического поведения, вынуждало вечно лавировать, наталкиваясь на непонимание, осуждение, коварство. Из различных источников можно узнать о его причастности к нашей истории, патриотических взглядах, устремлениях, даже некоторых чертах его характера и поступках, близких по сути белорусскому мировоззрению. А еще благодаря усилиям дипломатов и сотрудников Государственного музея театральной и музыкальной культуры Беларуси удалось приобрести весь залесский архив князя, хранящийся в Москве (богатейший и почти не изученный материал полностью скопирован с помощью современных технологий). Мы расширили свои познания в его музыкальном творчестве, начинаем приобщаться к литературному наследию, ждем публикации неизвестных писем, стихов и рисунков.

В насыщенной событиями биографии этого многогранного человека есть по-особому захватывающий воображение залесский период.

Залесье... Весной 1802 года Михал приехал сюда, в имение своего дяди Франтишка Ксаверия Огинского, как законный наследник. Дядюшка переселился в Молодечно, оставив новому владельцу Залесья запущенное хозяйство, нуждавшееся в восстановлении. Перепланировка усадьбы, возведение каменного дворца, упорядочивание прилегающих земель велись на основе личных творческих предложений князя, обустраивавшего здесь постоянную обитель европейского уровня для своей новой семьи. За последующие 20 лет Залесье, расположенное на полпути между Минском и Вильно, вблизи дорог из Петербурга в Варшаву, приобрело светскую славу и звучное имя: «Северные Афины». Здесь Огинский чувствовал себя свободным и особенно плодотворно занимался «музыкотворчеством»: играл на скрипке, сочинял пьесы для фортепиано, романсы. Ко множеству написанного в те годы относят и знаменитый Полонез ля минор, названный впоследствии «Прощание с родиной». (Название, как полагают исследователи, ему дали сосланные в Сибирь участники восстания 1863 года.)

Мне доводилось не раз бывать в Залесье, угадывать размытые черты то версальского, то английского стиля в очертаниях природно-архитектурного ландшафта, давно несущего на себе печальную печать забвения. Высматривать в одичавшей красоте, в следах былой роскоши «знаки присутствия» духа Огинского. А летней порою просто наслаждаться изумрудным раем — прелестной естественной неухоженностью этого сказочно живописного уголка неподалеку от лесистого берега Вилии. Любоваться парковым озером, где на зеленом островке поселилась неразлучная пара лебедей — Ля и Минор. Бродить под сенью крон, приближаясь к заброшенной беседке Амелии. Отыскивать среди травы едва протоптанные стежки, ведущие к двум мемориальным камням: их установил Огинский в память о своем гувернере, наставнике Жане Роле и в честь соратников-повстанцев, сражавшихся за освобождение родной земли от имперского ига.

Понимаю: пора бы освежить впечатления и посмотреть, как изменилась усадьба после недавней предъюбилейной реставрации. Ведь некоторое время



Маэстро Рыгор Сорока на репетиции.

назад, когда действовала возрожденная «домашняя» каплица и пустовавшая могучая, обновленная каменная водяная мельница ждала толкового предприимчивого хозяина, дворец был еще в строительных лесах...

А вот создатели оперы «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» побывали там нынче 5 июня (особый день: по соседству, в Молодечно, открывался XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии). В бывшем княжеском зале прозвучали три арии из нового произведения. Событие символичное и приятное, что тут говорить! Правда, делясь впечатлениями, композитор Олег Залётнев не скрывает, что его одухотворенное настроение было подпорчено: *«Мне хотелось почувствовать атмосферу эпохи, дух княжеского дома, увидеть в экспозиции более-менее адекватное воспроизведение подлинного предметного мира, который окружал Огинского. В этом смысле я был разочарован. Возможно, серьезная музеефикация произойдет со временем? Но когда я заметил в отделке интерьеров ламинат и стандартную керамическую плитку, то был просто шокирован. Чем же старинная усадьба привлечет интересующихся историей культуры и мыслящих людей, просвещенных туристов, какими глазами посмотрят на этот «новодел» соседи-литовцы, которые гордятся музеем Огинского в своем городе Ретавасе?»*

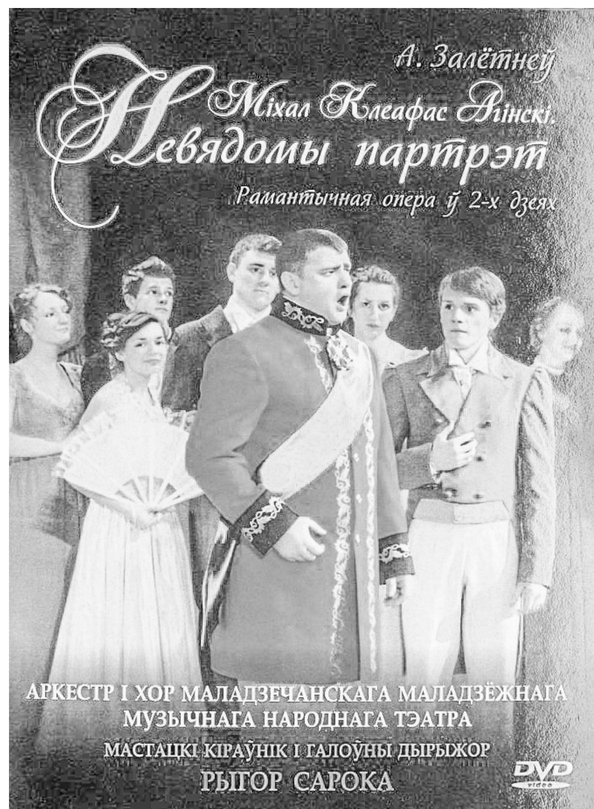
По собственному опыту знаю, что аутентичные живописные руины бывают зачастую красноречивее так называемого новодела, замаскированного под научную реконструкцию. Впрочем, даже опасаясь разочарований, я все-таки мечтаю навестить знакомые места. Как бы там ни было, всегда остается альтернатива — возможность совершить виртуальное путешествие в Залесье XIX века. Облик его запечатлен в графике (известный романтической рисунок проживавшего там Леонарда Ходьки, секретаря Огинского, датирован 1822 годом; есть изображение дворца, сделанное рукою Наполеона Орды, который был моложе князя на 43 года и рисовал Залесье, очевидно, спустя немало лет после кончины Михала Клеофаса; интересен также пейзаж усадьбы 1812 года, выполненный Альбрехтом Адамом). А дух неординарного тамошнего прошлого хранят описания очевидцев, мемуаристов, историков.

Когда-то, пытаясь по всевозможным источникам вообразить картину жизни в поместье при Огинском, я нашла ссылку на книгу графа Константина Тышкевича «Вилия и ее берега», изданную во второй половине позапрошлого столетия. Он, среди прочего, замечает: «Залесье сделалось местом проведения дискуссий, очагом распространения новых знаний. Все люди, имевшие вес в обществе, известные граждане Короны и Литвы, радевшие о благе своей страны, приезжали в Залесье, дабы обменяться мнениями, и собирались у князя, который был для них радушным хозяином иногда на целые недели... Князь равномерно распределял свое время на государственные дела, научные занятия и отдых, означавший для него музыку. Ее он очень любил. По утрам устраивались серьезные дискуссии с участием светил, гостивших в доме, улаживались дела, разбиралась корреспонденция и диктовались дневники. В час дня все собирались на завтрак,

по завершении которого у дома выстраивалось большое количество экипажей и просто оседланных лошадей, и вся компания, дамы и господа, отправлялись, кто в экипаже, кто в седле, в условное место, откуда начиналась прогулка. Это развлечение длилось около двух часов, затем, возвратившись во дворец, все, как правило, слушали музыку: квартет исполнял новые сочинения, которые постоянно доставлялась в Залесье из-за границы. Первую скрипку играл сам князь, он был настолько талантливым и умелым музыкантом, что всегда великолепно исполнял новое произведение прямо с листа, без предварительной подготовки... Партию виолончели исполнял старик Козловский...»

В период расцвета Залесье наполняла вдохновенная атмосфера интеллектуальных бесед, утонченных искусств и творчества. Здесь царили поэзия, сказка и праздник. Даже проходили шумные «Дожинки» (веселая опера по мотивам народного обряда была написана Осипом Козловским на либретто Юзефа Лубенского, племянника князя), не говоря уже о многолюдных торжествах в честь именинников и с размахом накрытых столах в оранжерее — для угощения крепостных селян. Однако время шло. Повзрослели дети. От семейной идиллии, сказок и праздников через 20 лет остался лишь фасад. Давно очевидный для всех «открытый брак» Михала Клеофаса с Марией потерпел фиаско. Сославшись на необходимость сменить климат ввиду обострившейся подагры, Огинский получает разрешение на выезд за пределы Российской империи, покидает Залесье и, совершив долгое путешествие во Флоренцию, остается там до конца своих дней.

Вполне понятно, почему именно этот период привлек внимание Рыгора Сороки, Олега Залётнева и Сергея Макарея. Их выбор достоин восхищения! Не менее восхищает и абсолютно творческий подход к материалу — такому роскошному, казалось бы, самодостаточному и благодатному для музыкально-сценического переосмысливания. К чести создателей новой оперы, они не пошли по банальному пути эдаких буквоедов-хроникеров, не пытались «пересказывать жизнь» от момента приезда Михала в унаследованное поместье до расставания с легендарными «Северными Афинами». Они всмотрелись в биографию героя и усложнили творческую задачу, отвергнув поверхностный «фронтальный» подход к теме, сосредоточившись именно на финальной кульминации двадцатилетнего пребывания Огинского в белорусской усадьбе. Таким образом, происходящее в опере начинается за два дня до того, как будет поставлена сокрушительная «точка невозврата».



Обложка диска с видеозаписью премьеры.

«Поддержав предложение маэстро и включившись в работу над оперой, мы начали внимательно изучать биографию Огинского, воспоминания о нем, творческое наследие, — рассказывает автор либретто Сергей Макарей. — *Мы*

и в Залесье съездили, когда там было еще далеко до завершения ремонтных работ, чтобы просто походить по местам, где Огинский долгое время жил и трудился, сочинял музыку, писал мемуары, принимал друзей и соратников. Перед нами открылась величественная фигура истинного патриота, дипломата, сенатора, творца, всю жизнь отдавшего ради свободы Отечества. Его трагическая судьба, семейная драма, невозможность под гнетом обстоятельств осуществить задуманное потрясли нас, и новые знания дали основание как можно полнее раскрыть неоднозначный образ Михала Клеофаса. Работая над либретто, я никогда не сидел в кабинете над чистым листом: писал урывками, часто по дороге из центра Минска до микрорайона Сокол, где живу. Что-то получалось молниеносно быстро, нужные стихотворные строки приходили сами собой. А в общем, по-разному складывалось. Много было потрачено времени на переосмысливание, додумывание, споры, сомнения. Считаю, что Олег Залётнев написал гениальную музыку. Соответствующую замыслу, с ощущением природы театра, законов драматургии, с чувством определенного стиля. Сегодня в опере не нужно формальное новаторство, нужны эмоции, красивые и острые, красивая музыка, на которую отзовется публика. А кого-то зацепит сама трагедия великого человека, на склоне своей жизни потерявшего всё: единомышленников-друзей, поддержку семьи, надежду на новую любовь. И Отечество... Слава богу, что в этом произведении совпали устремления и принципы нас троих! Особых добрых слов заслуживает самоотверженная работа Рыгора Сороки. Он буквально сражался за воплощение оперы. И несмотря на большие финансовые трудности, организационные проблемы, связанные с постановкой полноценного двухактного спектакля, маэстро «давёў справу да ладу», нашел заинтересованных людей, которые помогли осуществить проект».

И никаких цитат!

Итак, действие спектакля разворачивается в имении Залесье в 1822 году. Накануне отъезда за границу его хозяин собирает гостей, устраивает бал, возносит здравицу в честь Великого Княжества. Но вскоре становится участником и свидетелем событий, которые словно подгоняют князя, укрепляя в решении обречь себя на добровольную ссылку, навсегда покинуть уже не столь дорогие сердцу пенаты, опостылевший семейный дом и потерянный родной край.

Что же все-таки происходит?

Внести смятение и в без того напряженный мир Залесья суждено двум героям, прибывшим из Италии. Они торопливо пройдут перед зрителями, когда сцена еще будет закрыта впечатляющим суперзанавесом, на котором в гигантском увеличении воспроизведен известный рисунок Леонарда Ходьки. А в оркестре зазвучит своеобразный ностальгический мотив странствия и разлуки — напевная тема Интродукции. Ее просветленный, «шчымлівы» минор, исподволь насыщая интонационный язык оперы на всем ее протяжении, разовьется в заключительный монолог заглавного героя, наполненный тоской и скорбным отчаянием.

Ян Шиманский (в его партии, написанной для баса, выступил драматический баритон Михаил Кляпец) — художник, уроженец здешних мест, уехавший учиться за границу. В числе гостей он оказался благодаря знакомству с Марией Огинской (меццо-сопрано Евгения Бабич). Формальным поводом для этого был заказ написать парадный портрет ее мужа. (Известно, что и на самом деле изображение таковое отсутствовало в живописной коллекции княгини, украсившей интерьер жилой башни дворца портретами своих так называемых друзей — генералов, князей, графов, бывших ее любовниками.) Но Марии, как и ее гостю, не удается скрыть единственную причину этого визита: оба жаждут любовных утех.

Знаменитая итальянская дива — певица Катрина Бони приглашена Огинским. (Щедрая хлебосольная душа и большой эстет, он, по воспоминаниям совре-

менников, умел удивлять свое окружение изысканными сюрпризами.) Разгар бала, погруженного в искрящиеся мотивы мазурки, вальса, полонеза. Огинский (баритон Андрей Савченко) представляет обворожительную и талантливую гостью (сопрано Наталья Шибко), которой сам же аккомпанирует на фортепиано. «Калі вячэрняю парою...» — гости в восторге от романса, от певицы, явившейся, «бы анёл з нябёсаў». И то, как предупредителен и нежен князь с Катриной, как трепетно вальсирует, беседуя с ней, выдает его особое расположение: он очевидно лелеет надежду на новый роман, который скрасит несчастливую судьбу.

Однако племянник Михала Клеофаса Юзеф Лубенский (тенор Андрей Матюшонок), восхищаясь певицей, смущен. Он был не прочь пофлиртовать с нею, но вдруг осознает, что влюбился до самозабвения. Что бы это ни было — романтическое увлечение, роковая страсть, глубокое чувство, — он словно преображается («Каханне — бы аблокі у вадзе»). Ищет встречи с обожаемой приезжей красавицей, ждет ответа на свои чувства... Но в самых разных обстоятельствах, складывающихся на протяжении двух дней, он глух к чувствам Огинского. Пренебрегает дядюшкиными советами быть сдержанным и всегда терпеливым («цярпенне — знак шляхецкае пароды»). С издевкой рассуждает о дорогих для князя патриотических идеалах, глумится над памятью, которую пробуждает взгляд на бережно хранимый в доме сюртук повстанческих времен. Дерзко задевает гордость немолодого и родного человека пылкими заявлениями о решимости бороться за свою любовь.

А что насчет сеансов позирования? Приготовление к ним идет своим чередом. Прикосновения кисти живописца ждет на мольберте загрунтованный холст. По предложению художника Огинский должен будет сам выбрать костюм для парадного портрета. Может, он захочет предстать на полотне сподвижником повстанцев? Или в облике магната уже поверженного государства Литвы и Короны — Речи Посполитой? Или предпочтет мундир сенатора Российской империи? (Кстати, очевидцы, описывая один из интерьеров Залесья, отмечали, что на его стене размещался портрет Александра I, тогдашнего царя, а на столе был мраморный бюст генерала Костюшко.) Слуги тащат чемоданы с одеждой. Хор этих недовольных «маленьких людей», суетливо развешивающих костюмы князя, можно воспринимать как ироничный горький намек. Да-да, положение господина сенатора, по большому счету, ничуть не лучше участи его лакеев: он так же зависим от панской прихоти, вынужден подчиняться власти, выполнять приказы. Он принадлежит к высокому сословию, но так страдает от унижения! Его дипломатическая гибкость, умение терпеть и соглашаться, идя на компромисс ради наименьших потерь и в надежде на лучшее, привело лишь к разочарованиям и одиночеству...

Но до развязки еще далеко. Публика погружена в мир Залесья, становящийся все более конфликтным. Сопереживает князю, погруженному в себя, словно ведущему внутренний диалог с хором собственных размышлений, воспоминаний и рефлексий, с голосом совести: «Ці ёсць прытулак у цябе? Няма. Ці ёсць сябрына?» Зритель проникается пронзительной болью Огинского за судьбу земли его предков. Внимает искренности уязвленной души Михала, вынужденного сносить вульгарные выходки пьяной похотливой парочки, наблюдать, как Мария и Шиманский отупело терзают в парке все тот же старый сюртук. Сочувствует благородному герою, которого в сущности предала и залетная певчая пташка.

Ближе к финалу будет и удар грома, и толпа перепуганных крестьян, скучившихся у бездыханного тела Катрины. И пистолет, из которого готов в отчаянии выстрелить Огинский. В Лубенского? Или в себя? В неверную жену? Или в ее безвольного трусоватого любовника?.. А у порога усадьбы неожиданно появится новый гость. Это фельдъегерь (эпизодическая роль Романа Андрианова), который доставляет Огинскому высочайшее разрешение выехать за пределы империи. Слава Богу, все живы. Огинский, в мыслях уже давно эмигрант, немедля и навсегда покидает Залесье.

Есть ли у него родина, друзья, семейная пристань? Потеряно все. Он оказался никому не нужным со своей идеей о возрождении некогда процветавшего Великого Княжества: ни былым соратникам, присягнувшим на верность польской Короне, ни вероломному российскому самодержцу Александру I, который якобы пообещал Огинскому в ответ на преданную службу предоставить некую автономию аннексированным белорусско-литовским территориям. Брак с Марией стал невыносимым позором. Финальный монолог, в котором герой вопрошает: «Дзе ты, мая радзіма, з кім ты, мая Айчына?», звучит со сдержанным трагизмом, но не сумрачно. С отчаянием и тоской, но без надрыва и сентиментальности. Возможно, что, прощаясь с милым сердцу краем, он все-таки несет в себе какую-то внутреннюю позитивную силу, храня в душе идеальный образ родины и надежду на достойную участь своей страны в будущем. Надежду, которая, как принято считать, живет в человеке до конца...

В парадоксах сегодняшней художественной реальности опера существует как искусство высоких традиций, ярких сюжетов, потрясающих образов, сильных чувств. Это ее классический вариант, которому соответствует и новое достижение национального музыкально-театрального творчества — «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт». Чтобы выдержать хронометраж, оптимальный для современного восприятия, авторы сумели быть лаконичными, насколько это позволяют академические основы жанра: произведение достаточно компактно, длится чуть более полутора часов. Если приплюсовать антракт, все равно получится вдвое короче некоторых традиционных оперных спектаклей.

Забота о компактности формы позволила авторам избежать многословия, высказываться предельно четко, поддерживая драматургический конфликт. Внимание публики постоянно в тонусе, но при этом слуховые и визуальные впечатления не «грузят» зал. И даже тот, кто не в силах удержать слезу, скажет, наверное: «Печаль моя светла...» Благодаря сквозному развитию в опере возникает живое общение. И не только между персонажами. Это общение между ее миром — звучащим, образным, эмоционально подвижным, открытым для всех, — и отдельным, замкнутым психологическим миром каждого присутствующего в зале. Сколько у новой оперы простых достоинств, способствующих такому общению и обеспечивающих зрительский успех! Динамичное сочетание разноплановых сольных, ансамблевых, симфонических и хоровых эпизодов, дуэтов, сложных



Огинский —Андрей Савченко, Юзеф Лубенский — Андрей Матюшонок.

полифонических сцен, когда реплики речитатива естественно переходят в трио, квартет, рождают арию, монолог, дуэт. Мелодический язык, не режущий ухо диссонансами, авангардистскими ухищрениями. Инструментовка: по-театральному выразительная и не отягощенная нагромождением оркестровых эффектов. Ясный, доходчивый текст, как бы невзначай поражающий своей метафоричной емкостью, меткой афористичностью.

Зная творчество Олега Залётнева, легко понять, откуда у этого композитора глубокое знание природы театра, законов сцены. (К слову, в школьные годы он активно посещал театральную студию при Минском дворце пионеров, а ныне заведует кафедрой звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств.) Его профессиональный опыт много лет сопряжен с музыкально-театральными жанрами, а практика в сфере прикладной музыки — необъятна. Успешно работая в так называемом «третьем направлении», написал много разножанровой музыки для постановок на экспериментальной и академической сценах, в радиоэфире и на телевидении, для индивидуальных актерских проектов, театра кукол и кино. В качестве такого своеобразного соавтора режиссуры композитор приобщился к творчеству Янки Купалы, Федора Достоевского, Велимира Хлебникова, Владимира Короткевича, Алеся Адамовича, Владислава Голубка, Сартра, Киплинга, Оскара Уайльда. Его музыка вошла в спектакли по пьесам Артура Вольского, Алексея Дударева, Григория Марчука, Нины Матяш, дополнила образы множества народных и авторских сказок. Музыкальными средствами воплотил Олег Залётнев комедийный сюжет Лопе де Вега на Купаловской сцене, образы народных белорусских баллад — в балете Большого театра, канонические тексты христианских молитв — в мистерии «Благослови нас, Господи...», прозу Владимира Короткевича — в радиоинсценировках «Паром на бурнай рацэ» и «Каласы пад сярпом тваім».

Перечисленное — лишь малая часть творчества мастера, но думаю, и этого достаточно, чтобы представить уровень его литературной эрудиции, подразумевающей соответствующее качество музыкально-стилистических познаний.

Оперу «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» Олег Залётнев писал, напомню, как стилизацию музыки XIX века. Мудрым было решение не прятаться за популярность полонеза, рожденного в Залесье. И правда: зачем же цитировать эту беспроигрышную мелодию, срывать аплодисменты с чужой славы, обесценивая собственный труд? Мало того, стремясь воссоздать атмосферу прошлого, наполнявшую быт князя, автор оперы избежал даже завуалированных цитат, имитации каких-либо мотивов Огинского, интонационных намеков на его наследие. В опере — оригинальная авторская музыка, творение XXI столетия. Но как она близка звучащему образу того далекого времени! Бесхитростно-доверительная, романтически одухотворенная, и чувственная, и строгая. И такая по-белорусски «шчырая»...

«Достаточно сегодня диссонансов и в музыке, и в самой жизни, поэтому захотелось от них уберечь и нашу оперу, и слушателя, — рассуждает Олег Залётнев. — *Не стремился я и к эстетической вычурности. Ведь сам Огинский предпочитал в музыке простоту и прозрачность, не любил «мудрагелістасці». Для меня основным ориентиром был именно такой стиль, где все просто, понятно, мелодично».*

Продолжение следует...

Придумывая свою двухдневную историю из жизни Огинского, авторы опирались на известные факты. Но всегда ли достаточно таковых для того, чтобы, выстраивая логическую цепочку событий, наполнить их череду динамичными деталями, выразительными характерами, общением персонажей, пресловутой театральной «жизнью человеческого духа»? Разумеется, нет. Особенно если

пытаться едва ли не по часам реконструировать произошедшее за два конкретных дня почти 200 лет назад. Чтобы создать не какую-нибудь беллетризованную схему-хронику, а полноценную драматургию, убедительный образец традиционного, но живого, современного музыкального театра, приходилось заниматься чистым творчеством. Иными словами, весьма осторожно включать в либретто вымышленных персонажей и моделировать ситуации, возникновение которых можно предположить, зная реалии определенного времени, среды и следуя простой житейской логике. На мой взгляд, неизвестный ранее музыкально-сценический портрет Огинского в его залесском окружении получился более чем убедительным. В опере есть главное, о чем хотели поведать авторы, и сказанное ими способно затронуть лучшие чувства зрителя, дать пищу его воображению и разуму. Появился, как принято говорить, новый материал с необычным героем. Материал, привлекательный и увлекательный для певцов-актеров, хористов, оркестровых исполнителей, публики, — для всех, кто любит художественное творчество как встречу с прекрасным и ценит как повод размышлять и додумывать...

Где что-то новое — там и критики. Они уже выискивают «исторические погрешности» в портрете героя оперы. Стоит ли спешить? Вспоминается фраза, прозвучавшая когда-то в абсолютно ином контексте, но весьма подходящая для ответа оппонентам в нашем случае: «Историю пишут победители». Идущие первыми всегда рискуют и вряд ли могут целиком полагаться на что-то еще, кроме фортуны, Божьей помощи да собственных сил. Первопроходцы, создавшие новую национальную белорусскую оперу, преодолев сомнения и трудности, прошли свой трехлетний путь к достойному творческому результату. То, что было лишь замыслом, стало реальной премьерой, и уже ощутим успех. Они — победители. И «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» — это их, это ими написанная история.

А нужно ли вообще искать в операх некую документальную правду и точность? На то и дано людям творческое воображение, для того и пробуждается фантазия, для того и существует художественный вымысел, чтобы создавать и питать искусство! Поэтому в нем, искусстве (особенно в оперном жанре, полном своих условностей), так много «исторического мифотворчества», даже если темой становится канонизированная личность. Разве не глупо было бы упрекать Пушкина, чье творчество питало оперные сюжеты, за «Моцарта и Сальери» или «Бориса Годунова», в угоду эффектной философии мифа так «по-крупному» согрешившего против иных исторических свидетельств? Кому в голову придет идея выяснять истинную подоплеку поступка оперного Ивана Сусанина или подвергать ревизии «правдивость» происходящего в «Князе Игоре», разоблачать исторические нестыковки в «Трубадуре», равно как и в «Доне Карлосе», «Набукко», «Аиде», прочих операх Верди? Можно сколько угодно придираться и к шекспировским хроникам, и к содержанию белорусской советской классики, в свое время имевшей успех, — операм «Кастусь Каліноўскі» Дмитрия Лукаса, «Надежда Дурова» Анатолия Богатырева. Или доказывать, что «Чорная панна Нясвіжа» — это вульгарный домысел, потому что Барбара Радзивилл никогда не бывала в Несвиже... Сколько подобных примеров и в театре, и в музыке, в изобразительном искусстве, во всемирной литературе, в серьезном кино! Тем не менее образцы, несущие в себе черты былой реальности и отголосок мифа, живут и радуют публику, а наиболее ярких персонажей истории мы даже в документальных повествованиях по традиции называем легендарными. Теперь вот и портрет Огинского пополнил галерею оперных легенд.

Вспоминая о том, как продвигалась работа, маэстро Рыгор Сорока рассказывает:

«Ко времени новой премьеры на счету Молодечненского молодежного музыкального народного театра было уже четыре оперные постановки: «Иоланта», «Евгений Онегин» Чайковского, «Травиата» Верди, «Кармен» Бизе. Они с



Сцена из спектакля.

успехом прошли на сцене городского Дворца культуры. И вот появилась пятая — самая значимая, так как родилась эта опера именно здесь. Когда-то молодечненцы одними из первых поставили памятник Огинскому. Хотелось к нынешнему юбилею создать и музыкальный памятник этому выдающемуся человеку. Я всегда верил: придет время, и мы создадим оперу, посвященную нашему гениальному соотечественнику.

Я долгие годы присматривался, искал композитора, способного написать музыку, которая «контактировала» бы с творчеством Огинского, считавшегося мастером малых форм — романсов, полонезов, мазурок. И в своем выборе я не ошибся. Олег Залётнев создал прекрасную музыку, с которой очень гармонично сочетается стихотворное либретто, написанное Сергеем Макареем, и опера звучит, как песня. Могу с гордостью сказать, что в результате нелегкой трехлетней работы нам удалось создать настоящую белорусскую национальную оперу, которой может позавидовать академический театр.

Работая над постановкой, мы не приглашали артистов из столицы, всех солистов нашли в своем городе. В основном это молодежь 20—25 лет. Партию Михала Клеофаса исполнил преподаватель сольного пения, выпускник нашего колледжа, лауреат международных конкурсов Андрей Савченко. Ему, кстати, доводилось петь главные партии в оперных спектаклях на сценах Минска и Каунаса. Роль Марии, жены Огинского, воплотила обладательница меццо-сопрано Евгения Курбатова (Бабич) — «маладзечанка», поехавшая учиться в Москву, но свой город не забывшая. Педагог колледжа, лауреат международных конкурсов, сопрано Наталья Францкевич (Шибко) создала образ Катрины Бони. А в роли племянника Огинского выступил наш выпускник, студент Белорусской академии музыки, лауреат международных конкурсов, тенор Андрей Матюшонок. Первый исполнитель партии художника — воспитанник класса сольного пения Михаил Кляпец.

В спектакле участвует около сотни артистов, и на то, чтобы всех одеть подобающим образом, у нас не хватало средств, поэтому для массовки мы были вынуждены подбирать что-то более-менее подходящее по стилю из пошитого ранее для постановки «Евгения Онегина». Для основных персонажей были созданы оригинальные сценические костюмы.

На новую постановку мы получили грант Минского областного исполкома в размере 100 миллионов рублей, приняли также помощь от ряда организаций и предприятий, ставших нашими спонсорами. Надеюсь, что юбилей Огинского, отмечаемый на международном уровне, поспособствует широкому интересу к нашей опере и она со временем разойдется по миру, потому что во многих странах велик интерес к личности Огинского. Об этом свидетельствует и внимание, проявленное к премьере со стороны зарубежных дипломатов. Кстати, возник вполне реальный план — осуществить концертное исполнение оперы в Литве, Российской Федерации, Эстонии, в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. И, конечно, я надеюсь, что Молодечно войдет

в историю как город, где впервые появилась национальная опера про любимого народом героя».

Брест, Гродно, Залесье... Гастрольная география оперы продолжает расширяться. Происходят в ее творческой судьбе и другие приятные события. Год назад, благодаря финансовой поддержке, оказанной предприятием «БелГАЗавтосервис», в издательстве «Четыре четверти» вышла партитура оперы. Впечатляет культура полиграфии, художественного оформления фолианта. Да и появление такой нотной новинки — явление уникальное.

С незапамятных времен у всех белорусских советских композиторов была одна общая и хроническая проблема: отсутствие в республике нотного издательства. Для того чтобы увидел свет даже скромный по объему сборник пьес, приходилось обращаться в Москву, Ленинград или Киев и годами ждать своей очереди. К тому же сама процедура обращения была окутана тайной. Мало кому из авторов опер и балетов удавалось увидеть свое творение напечатанным. Если такое и случалось, то ноты существовали в виде клавира. А была ли когда-либо издана хоть одна партитура белорусской оперы? Судя по всему, и в этом деле «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» — первый и пока единственный прецедент.

Следом — еще одна важная новость: один из экземпляров этого замечательного издания оказался на дирижерском пульте Симфонического оркестра Белтелерадио. К осени планируется записать оперу в фонд радио. Предварительную работу с музыкантами ведет молодой дирижер Юрий Караваев. Сама запись будет осуществлена под руководством маэстро Андрея Галанова. Среди солистов — звезды нашего Национального академического Большого театра оперы и балета Илья Сильчуков и Наталья Акинина, которые выступят в партиях Михала Клеофаса и Марии. На основе записи Сергей Макарей планирует снять фильм — это будет совместный белорусско-литовский проект.

А в день рождения Огинского создатели его музыкального портрета хотели бы осуществить театрализованный концертный показ оперы в Большом зале Белорусской государственной филармонии.

* * *

Притягательность личности героя оперы «Міхал Клеафас Агінскі. Невядомы партрэт» — героя вполне современного, потому что современны чувства и страсти, не утрачены понятия о долге, чести, человеческом достоинстве, патриотизме, самоотверженности, о совести, верности, любви. Интригующее развитие и романтическая одухотворенность сюжета, в котором каждый зритель может найти прецедент для собственных переживаний и размышлений. Эстетическое обаяние музыки, легко «ложащейся на слух»... Все это позволяет надеяться, что новое произведение, ставшее событием не только в жизни Молодечно, со временем внесет глоток свежего воздуха и в творческую атмосферу крупнейшего академического театра страны, украсит галерею его знаковых постановок, определяющих неповторимый облик белорусского национального искусства.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ
Фото автора.



Искусство суждения

Поэтические измерения Владимира Шугли

Передо мной лежит книга стихов Владимира Шугли, поэта до недавнего времени мне неизвестного. Книга зацепила поэтическим и в то же время едва ли не научно выверенным названием: «Четвертое измерение» (Тюмень, 2013).

Совмещение разных измерений, скрытых и явных, иногда приводящее к изумительной гармонии, — это, собственно, сфера моей специализации, литературоведческой и культурфилософской.

Открываю наугад.

Гуляют фальшь и злато по планете
И кривдой наполняют божий свет...
Крупицы истин, словно в мае ветер,
Несут поэты через тыщи лет.

Вроде бы ничего нового; более того — традиционно и консервативно (и в поэтическом, и в мировоззренческом смыслах).

Именно поэтому мне захотелось прочитать книгу до конца. Здоровый консерватизм в наши дни — это верный знак «здорового духа».

А теперь хочется поделиться впечатлением от прочитанного.

Итак — Владимир Шугля.

Появление этого имени сегодня, когда самоуверенно «гуляют фальшь и злато по планете», не случайно. Я вообще придерживаюсь отчасти радикального мнения, что в литературе, и в поэзии в том числе, нет ничего случайного. Сплошные закономерности, если угодно.

На первый взгляд, это противоречит завету великолепного мастера Бориса Пастернака: «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд». И все же настаиваю: стихи слагаются — случайно, это верно; однако содержание их случайным быть не может. И сама поэзия как феномен культуры вовсе не случайна.

Я убежден: понять поэта, обнаружить его культурную родословную — значит, пробиться через завалы случайностей, осознать некую закономерность.

Стихи Владимира Шугли заставляют задуматься о любопытных культурных коллизиях, становящихся *измерениями*.

Прежде всего, в глаза бросается некий культурный, опять же, по природе своей парадокс. Владимир Федорович Шугля — видный общественный деятель, Почетный консул Республики Беларусь в Тюменской области, член Общественной палаты России, бизнесмен. Впечатляющая и неординарная биография. Казалось бы, менее всего человек такого склада может оказаться чутким и легкоранимым поэтом, членом творческих общественных организаций, Союза писателей Беларуси и Союза писателей России. Практическая сторона жизни, так сказать, «проза жизни» требует сосредоточенности и деловитости, хватка общественного деятеля плохо вяжется с поэтической созерцательностью, склонностью культивировать мироощущения в противовес конкретным делам.

Но жизнь порой путает все умозрительные расклады. И невозможное становится возможным. Оказывается, вполне реально существовать в разных духовных регистрах, носить и взращивать в себе два разных «строя души».

В качестве «доказательства» хочется привести, например, такие вдохновенные, совершенно лирические строки:

Зацепилось сердце за звезду на небе —
Ждет восток, покрытый бирюзою.
Словно парус, серебрится лунный гребень.
Звездный свет средь туч блеснет слезою...

Согласимся, это мало напоминает спич консула или дотошные выкладки бизнесмена, это словеса *иной природы*.

Уже в приведенном отрывке можно обнаружить универсальные для Шугли смысловые мотивы (собственно, те же измерения). Поэт очень часто смотрит вверх, вглядываясь в небо. «Неба восторги», «вновь детством небесным весна разлилась без предела», «на небе мрачно. В тучах утро», «где-то в тучах — свет зарницы», «рассветная зорька», «Млечный Путь», «уходящими звездами здесь начертано имя твое»...

Цитировать можно долго, но это ни к чему, потому что *почти в каждом* стихотворении так или иначе просматривается небо.

Очень много неба, очень много света, пусть часто и тревожного. Даже в оформлении обложки книги использовано *обрамленное* небо, символизирующее желание укротить бесконечность. Можно сказать, поэт заворожен небом. Сквозь призму неба смотрит поэт на дела земные (где лидеры и корифеи — консулы с бизнесменами). (Характерно в этой связи название одного из поэтических сборников Владимира Шугли: «Через прицел души». *Небо* и *душа* легко меняются местами...)

А это и есть главный закон поэзии. В этом суть поэтической одаренности.

В конце концов, легко, ненатужно рождаются поэтические формулы-девизы наподобие следующего: «Ты на покой не променяй к ветрам и высям тягу».

И совершенно естественно воспринимается лаконичное кредо в стилистике латыни: «Я держусь за небо только».

Иначе говоря, небом единым жив поэт (в котором бизнесмен живет явно не небом единым). «Нет для души покоя — ее земное мучит...»

Вот этот *небесный вектор*, иначе сказать, приоритет духовного над невыносимо земным хочется назвать *главным измерением* поэзии Владимира Шугли. Это традиционно — но необходимо, ибо без этого нет поэзии.

Магистральное измерение легко совмещается с другим, также классическим: «Боль о боль — высекаю стихи». (Между прочим, мастерски сказано.) В стихах должно быть содержание, они должны быть окрыленными смыслами. Можно самозабвенно служить чистой красоте, и в этом случае любая боль — лишь досадная помеха; а можно высекать стихи, которые рождаются в результате преодоления боли-страдания. Красота, рожденная болью, — это именно здоровая, если угодно, излечивающая красота.

Любопытно: Владимир Федорович является лауреатом премии, носящей имя замечательного русского поэта Игоря Григорьева, знаковый поэтический сборник которого называется до боли бесхитростно: «Боль».

Здесь протягивается ниточка к следующему измерению. Было бы принижающим поэта преувеличением сказать, что Владимир Шугля поэтически *зело искусен* (хотя не наивен, это точно); и он скорее интуитивно, нежели сознательно, ориентировался на некие поэтические образцы, каноны — на то, что принято называть *призвание поэзии*. Его здоровое, как мне представляется, отношение к жизни реализовалось в традициях, выкованных золотым веком русской поэзии, когда слово было неотделимо от боли, которая и высекала смыслы («крупицы

истин»). Вот эта великая триада *слово — чувство — смысл* (проекция величественного библейского *красота — добро — истина*) априори стала поэтическим кредо поэта Шугли, человека разносторонне и незаурядно одаренного.

Меня удивило, насколько глубоко прочувствовал Шугля эту коллизию («Философские стихи»):

Какая разница в стихах,
Что в памяти... на донце...
И тех, что строчкой в серых днях
Рифмуют свет... без солнца!

Он не скрывает своих мыслей («мысли — пчелы, мысли — птицы»), своих раздумий (не потому ли его любимым знаком препинания является *многоточие?*), своего отношения к делам сугубо земным; он делает их материалом поэзии.

Я — *русь-ский*, я вольною Русью рожден (...)
Я к дому шагаю отцовской тропой,
Из детства тропинкою звонкой и узкой,
И светлые звезды парят надо мной, и небо, как пропасть...
Я — дома... Я — *русь-ский.*

Целый пласт его поэзии можно по традиции отнести к гражданской лирике, где доминирует тема родины («Мне Русь — как божия судьба», «Опять, как будто на войне», «В росинках утра чистых, светлых» и др.). При этом Владимир Шугля, россиянин, русский человек с белорусскими корнями, отчетливо ощущает вот это свое двуединство. Сегодня это очень актуально, сегодня это уже больше, нежели ощущение: это гражданская позиция.

Логическим завершением темы становится такой вот поэтический посыл («Раскидистых дубов густые кроны»):

О, Беларусь моя... Моя мессия!
Звучит в душе небесная струна...
Во мне ты вместе навсегда с Россией...
Отчизна...
Русь...
Единая...
Одна...

Легко увидеть, что все измерения в поэзии Шугли неразрывно связаны, они существуют только в синтезе.

Мне представляется, что *народность*, во имя которой схлестнулось столько литературных копий, в предложенном контексте следует трактовать не только как конкретное идейное отношение (Беларусь и Россия навсегда должны быть вместе), но и как первородную убежденность поэта в том, что подобное отношение (назовем его мировоззренческая маркировка) обладает стихийным поэтическим потенциалом.

Иначе говоря, быть консулом (или общественным деятелем) не означает не быть поэтом; зависимость здесь более глубокая и гибкая: каждый поэт в какой-то степени является консулом.

Сказанное выше представляет собой, строго говоря, непростую культурфилософскую проблему. Речь о том, что человек, взявшийся за перо *по зову сердца*, ощутил как императив, как некую непреложную данность непосредственную *связь поэтического отношения с непоэтическим*. И дело здесь не в образовании или уровне мастерства; здесь дело в законе: поэтически одаренный человек всеми фибрами своего существа ощущает связь между поэзией и жизнью, между жизнью и жизнью духа.



Вот почему феномен Владимира Шугли интересен еще и как знак если не *народного*, то достаточно *массового движения в защиту поэзии*. Сегодня многие бизнесмены и разного рода деятели пишут стихи, хотя уровня Шугли из них достигают единицы. Именно такие, как Владимир Шугля, считаю я, выполняют важную культурную функцию: они отчетливо демонстрируют *тягу к поэзии*, ту самую «тягу к высям», идущую из глубины сознания.

Сегодня, как ни парадоксально, поэзию может погубить то, к чему она всегда так стремилась: культ элитарности, избранности, закрытости. Культурный снобизм как реакция на засилье масскульта — это, конечно, вариант. Однако отрыв от жизни даже в формате изысканного снобизма — это гибельный вариант.

Такие, как Шугля (кстати, совместно со снобами), подготавливают грядущие прорывы и взлеты поэзии. Вот почему культурная легитимность поэзии Шугли не вызывает сомнения.

И я вовсе не приписываю ему маргинальный статус, нечто вроде: консул среди поэтов и поэт среди консулов. Отнюдь. Думаю, для поэта Шугли найдется место среди поэтов. Я полагаю, что у него есть много самоценных поэтических находок (см. примеры, рассеянные по статье: это лишь немногие из достойных строк и выражений, отобранных мною).

Кроме того, Владимир Шугля сам по себе человек интересный, мыслящий, что предполагает право на собственный поэтический голос. Вот одно из скрытых поэтических измерений, уловить которое по силам только философски чуткому сознанию. «Я странник душою...» (начальная строка стихотворения, давшая название целому разделу рассматриваемой нами книги) — это еще одна ипостась поэтического кредо «Я держусь за небо только». Держаться за небо можно только странствуя: это «крупица истины», состоящая из диалектически сплетенных нюансов. «Люблю я ровный шум мотора», «Мне каждый день как день последний», «Ты на покой не променяй к ветрам и высям тягу», «У зрелости итог такой», «На моем пути часовня» — эти и многие другие стихи именно об этом.

Опять штормит... И слава Богу...
Мой ветер — ветер перемен —
Зовет меня с собой в дорогу,
Как в день последний —
В новый день.

Расхожее выражение «движение — это жизнь» словно взято из стихов Владимира Шугли; точнее, эта сентенция растворена в них. Он неутомимо, чтобы не сказать навязчиво, противопоставляет *движение — покою*. Движение, конечно, следует понимать в широком смысле: как устремление, путь — как измерение, по принятой нами терминологии.

Очнись, душа! С судьбой, тебе подвластной,
Вставай скорей на вещий путь зерна —
Верни любовь... Все в мире не напрасно,
Коль ты ежеминутно, ежечасно
Творишь ее... Тебя ж — творит она...

Путь зерна — это смысл движения, которое обретает значение вселенского *круговорота*. Покой в данном контексте — форма непродуктивной суеты.

А цель движения-жизни — любовь, то самое «иное, четвертое измеренье» («Любовь есть в вечность двери»).

Так и хочется сказать: а это уже в лучших традициях персидской философской лирики. Лично мне такое измерение кажется подлинно поэтическим.

Наконец, еще одно важное измерение (не последнее, конечно): «Детство. Юность. Отчий дом...» (первая строка стихотворения). Это измерение-лейтмотив всей лирики поэта, поэтому его невозможно локализовать (да в этом и нет необходимости). Он никогда не забывает точки отсчета в своем движении — именно потому, что знает, куда идет.

Земным не время измереньям,
Иду на свет, иду вперед...
Небесным синим продолженьем
В душе Вселенная живет.

Пожелаем же поэту счастливого и бесконечного земного Пути, который, согласно его убеждениям, не на земле начался — и закончиться должен не на земле и который, несомненно, связан с Небом и Любовью.

Ибо Небо — всему человеческому начало.

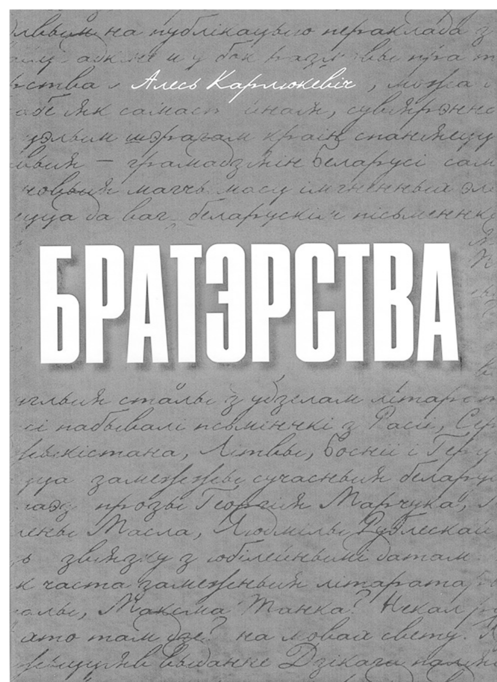
Анатолий АНДРЕЕВ



С точки зрения рецензента

Дом, который построил автор

Загадки здесь нет: этот дом — книга. Она населена друзьями, знакомыми, коллегами автора, и с каждым из них на наших глазах заново происходит знакомство — для нас, читателей. В книге они говорят по-белорусски, а в жизни — на самых разных языках: на русском, азербайджанском, грузинском, казахском, китайском, литовском, польском, таджикском, туркменском... Говорят о разном, от Библии до кибернетики, но прежде всего о том, как живут их народы, как развивается художественная литература и вообще культура, что наполняет или, если хотите, спасает их жизнь. Книга эта — «Братэрства», автор ее Алесь Карлюкевич. Много известных деятелей культуры и искусства рассказывают о своих странах, проблемах, надеждах, и в каждом откровенном разговоре присутствует тема художественной литературы нашей Родины, Беларуси.



Конечно, рассуждая о современной белорусской литературе, невозможно не вспомнить ее роль и популярность в советские годы. Многим народам СССР были хорошо знакомы имена Купалы, Коласа, Танка, Брыля, Быкова — и не только. Но поколения меняются быстро. И многие молодые люди читают уже другие книги, а молодые писатели ориентируются на новые имена. Однако классика продолжает играть свою высокую роль, и задача пропагандировать лучшие произведения национального достояния представляется актуальной, — об этом и размышляет в предисловии автор книги.

Есть особый повод для широкого разговора о национальной литературе: в 2017 году будем отмечать большой юбилей белорусского книгопечатания. 1517-й год — его начало, связанное с именем Франциска Скорины, год выхода в свет книги «Псалтирь» — первой книги великого первопечатника. Несомненно, 500-летие книгопечатания будет широко отмечаться общественностью, тем более что в последние десятилетия скориноведение приобрело новый импульс и авторитет. И задача не только в том, чтобы сказать новое слово о великом просветителе, но и как можно шире рассказать о нем миру. Собственно, процесс этот идет

давно. К примеру, текст Франциска Скорины: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни...» переведен на многие языки: на русский, английский, польский, болгарский, сербский, китайский, вьетнамский и т. д. Примечательно, что переводы на родные языки осуществили известные национальные литераторы: на китайский — Гао Ман, на вьетнамский — Тхуи Таанг, на туркменский Агагельды Аланазаров, на аварский Тубхат Зургалава, на даргинский Аминат Алимханова... всех не перечислить. Заметим, однако, что на сербский язык перевод осуществил наш земляк, доктор филологических наук Иван Чарота.

Создание книги одного стихотворения Франциска Скорины на языках мира продолжается...

Мы часто говорим о культурных связях Беларуси и России. Здесь — конкретные личности, связывающие наши страны. Один из них — известный московский писатель, белорус по рождению, Валерий Казаков. Известно, интервью — жанр не простой. Журналисты и вообще все, кто когда-либо участвовал в диалоге, знают, как важно задать вопрос, который потребует от собеседника и откровенности, и интеллекта. И разговор с Казаковым автор книги предваряет очень важной мыслью: «У злобы нет границ, но лишь тогда, если у человека нет корней, нет совести, нет настоящей человеческой основы». «Тень Гоблина» называется один из последних романов Валерия Казакова. Гоблин — известный литературно-кинематографический персонаж, породивший публицистическое понятие «эпоха гоблинизации». Так что же это за явление, каким содержанием наполнена названная «эпоха»?

— Это довольно сложная деградация человека, его души. Гоблин — символ разврата, образ существа в человеческом облике, которому все позволено в этом мире. «Гоблинизация» в каком-то смысле созвучна глобализации, которую нам давно навязывают именно «гоблины».

Таково мнение писателя.

Ну а далее идет речь о европейской толерантности, которая позволила сжечь в огне двух мировых войн десятки миллионов людей.

Адекватна сегодняшнему самосознанию мысль о том, что люди не воюют по своей воле, что к взаимной вражде и ненависти их побуждают стоящие у власти, но нельзя забывать и о личной ответственности. Есть у Валерия Казакова и надежда. «Через год-другой утихнет обида, а еще через год другом станет вчерашний враг...» И это единственное в обстоятельном разговоре, с чем рядовому читателю хочется спорить: семьдесят лет минуло после войны, но до сих пор мир разыскивает преступников. Есть преступления, которым прощения нет.

После всяческих переворотов, войн, революций общество вынуждено заново устраивать свою жизнь, поначалу ему не до искусства и литературы, речь идет просто о выживании. Однако проходит время, и эстетические потребности возвращаются.

Немало страниц книги «Братэрства» отдано беседе с чеченским прозаиком, главным редактором журнала «Вайнах» Мусой Ахмадовым. Принципиальный разговор шел о состоянии национальной чеченской культуры и литературы на фоне событий политического и экономического характера.

А вот и тема, знакомая для Беларуси, спор, который не завершится никогда:

— Многие у нас пишут по-русски. Правда, я их произведения не относил бы к национальной литературе. Литература — это искусство языка, искусство слова. Но авторов, которые работали бы на родном языке, среди молодежи мало. Чеченский язык в этом плане теряет свои позиции.

Во времена СССР Союз писателей Чечено-Ингушетии насчитывал около тридцати человек. Нынче — около ста. Существенно понизилась планка требований при приеме в Союз. Написал заявление, и если у тебя есть книга, считай, ты уже принят. А книгу сегодня издать нетрудно...

Разговор коснулся и детской литературы. Нынче много говорится о кон-

це эпохи печатного слова, о победе Интернета над книгой. Ответ скептикам именно в быстроразвивающейся детской литературе Чечни. И расширение пространства детского чтения — один из путей спасения печатного слова.

Продолжила разговор известная поэтесса Лула Куни. Она главный редактор журнала «Нана» и много делает для пропаганды белорусской литературы на Кавказе, а также сама переводит белорусских поэтов на чеченский язык.

Когда-то белорусская литература была близка и популярна у чеченских читателей, но сегодня многие имена, чьи произведения могли бы считаться квинтэссенцией национальной ментальности, стали для молодых чеченских читателей просто именами...

Может быть, причина в разности религиозных убеждений, которые исповедуют наши народы? «Не такие уж они разные... — ответила на этот вопрос Лула Куни. — Мы — в массе своей — люди Писания, и этические максимы у нас — идентичные».

Говоря о национальной литературе, нельзя было не коснуться и депортации народа в годы сталинизма и участия чеченцев в Великой Отечественной войне. Сегодня вся республика знает имя Магомета Узуева, которому в 1996 году посмертно присвоено звание Героя России. Чеченский литератор Халид Ашаев составил список — 275 имен и фамилий — участников защиты Брестской крепости. Позднее, опираясь на архивные данные, Халид Ашаев назвал доказанное и подтвержденное количество чеченских и ингушских участников Великой Отечественной войны — 27 000 человек. Следующие исследователи подняли эту цифру до 40 000.

Неблизкий свет Баку, нелегкий груз — книги, тем не менее в 2009 году на международной книжной выставке оказались кроме стран ближнего зарубежья делегации Словакии, Пакистана, Ирана, Польши, США. Дело не только в том, что выставка — возможность показать свои достижения, узнать уровень книгоиздательства других стран, но и возможность профессионалам пообщаться друг с другом, узнать, как прожили непростое время и что намерены делать дальше.

«Мы хорошо знакомы с белорусами, с вашим опытом, уровнем ваших предприятий, — делился своими размышлениями директор Издательского дома «Letterpress» Джабир Асадов. — И многому научились именно у вас. За это белорусским полиграфистам и издателям большое спасибо».

Примечательно, что кроме книгоиздателей на выставке присутствовали библиотекари разных стран. И еще отметим, что по завершении выставки книги со стендов зарубежные экспоненты передали Национальной библиотеке Азербайджанской республики.

Имя известного поэта Чингиза Али аглу вспоминали на выставке не раз. Его стихи переводили на белорусский язык такие наши поэты, как Микола Метлицкий, Татьяна Сивец, Виктор Гордей, Наум Гальперович, Рагнед Малаховский...

Размышляя о феномене поэта, азербайджанский литературовед Ровшан Кафаров сказал: «Чингиз аглу — поэт, наделенный необыкновенно чутким душевным аппаратом, который улавливает откуда-то снаружи самые незначительные интонации, звуки и краски... Вряд ли ошибусь, если скажу, что с художниками и музыкантами его роднит не просто общая привязанность к музам, но именно характер творчества». А. Карлюкевич добавил: «Это ощущение не теряется во мне, когда я читаю стихи Чингиза в переводах на белорусский язык».

С азербайджанской писательницей Севиндж Нукурузы у автора книги состоялся обстоятельный разговор о детской литературе. Алесь Карлюкевич и сам пишет для детей, отсюда и многие вопросы к коллеге по жанру. Один из важных вопросов: каких героев не хватает детям? Или: требует ли работа в детской литературе особенного знания детской психологии да и педагогических навыков?

Мнение Севиндж Нукурузы: «Психология детей отличается от психологии взрослых. Дети искренне верят в добро и справедливость мира, в его

нерушимость и открытость. И детям всегда не хватает настоящих героев — веселых, умных, инициативных. Известны мудрые слова Корнея Чуковского о том, что дети от двух до пяти лет верят, что жизнь создана только для радости, для бескрайнего счастья, и эта вера — одно из важнейших условий их нормального психологического роста. Каждый детский писатель должен дарить ребенку эту радость».

О значении и назначении детской литературы интересно сказала болгарская писательница Мая Длгчава. На ее взгляд, «и сказки, и религии приходят тогда, когда люди чувствуют потребность именно в них. И живут столько, сколько требуется. Выполняют свою миссию и уступают место другим.... Приходят через сто-двести лет новые герои с новыми именами. Но в сущности — это те же персонажи. Люди рассказывают себе и детям одну и ту же сказку — вечную сказку про Добро и Зло. Главное, чтобы дети по-прежнему верили в чудеса, — это и есть главная миссия сказочника».

Пожалуй, не все слышали о клубе детских писателей, который организовал и собрал белорусский писатель Алесь Бадак. Не только поэты и прозаики среди организаторов клуба, но и библиотекари разных регионов Беларуси. Входят в клуб и литераторы других стран: Литвы, Болгарии, Швеции, Удмуртии, Татарстана...

Грузинский писатель, поэт, переводчик, доктор филологических наук Рауль Чичалава давно живет в Украине и является Полномочным и Чрезвычайным Послом Украины в Латвийской республике. Он автор книги «Трехцветное солнце» на трех языках — латышском, грузинском, украинском — о творчестве Яниса Райниса и поэтессы Аспазии. Он — кавалер латвийского Ордена Трех Звезд. Из белорусов такой награды удостоены поэт Сергей Панизник, народный писатель Беларуси Василь Быков, народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин. А еще в 2008 году Рауль Чичалава отмечен призом Цицерона как лучший посол, аккредитованный в Латвии.

С Беларусью его соединяет знание поэзии Богдановича, Купалы, Коласа, творчества Мележа, Макаёнка, Быкова и многих иных.

«Какую книгу, на Ваш взгляд, нужно прочитать каждому?» — задал ему неожиданный вопрос Алесь Карлюкевич.

Ответ был краткий: «Библию».

Ни с какой другой страной, кроме, конечно, России, не были так прочно связаны судьбы белорусов, как с Казахстаном. И связь эта была подчас радостная, а подчас горькая. Этому в книге «Братэрства» посвящено немало страниц. В 80-х годах XIX века трехлетнюю ссылку отбывал в Акмолинской области Петр Румянцев, член «Черного передела», а позднее участник Минской организации РСДРП, в доме которого и состоялся 1-й съезд партии. Но это было только начало. В 1930—1950 годы Казахстан стал просто излюбленным местом исполнения наказаний белорусских литераторов. Андрей Мрый, автор сатирического романа «Записки Самсона Самасуя», отбывал свой срок в Караганде; член СП СССР, доктор филологических наук Степан Лиходиевский — в Сарыагачском районе Чимкентской области; там же — поэт Клим Гриневич. В Казахстан были сосланы критик и литературовед Рыгор Березкин, Семен Хурсик, Петр Битель... И конечно, этот печальный список можно продолжить.

Во время Великой Отечественной войны в Казахстане нашли приют многие деятели искусства Беларуси. В Казахстане бывал Якуб Колас, в эвакуации здесь находился Янка Мавр, здесь же последний приют нашел Змитрок Бядуля. Сюда были эвакуированы коллективы Белорусского театра оперы и балета, Витебского областного драматического театра им. Я. Коласа, многие белорусские кинематографисты.

Вместе с тем, во время Великой Отечественной войны в Беларуси не просто находились, но воевали с оккупантами казахские писатели.

Характерный пример — жизнь и судьба Адия Шарыпова — казахского писателя и белорусского партиза-

на. «История одного кожушка», — так называется его повесть, которую он написал по воспоминаниям и впечатлениям военного времени.

«Калі прыйдзецца, брат, наведаць гэты рай, // Вер, што ўсё бачыш ты не ў сне, але наяве: // Цудоўны парк Бэйхай і возера Бэйхай, // Што, як нефрыт, гарыць у залатой аправе». Это строки из цикла стихотворений Максима Танка, который он написал, посетив Китай в далеком 1957 году. В этих стихах поэт рассказывал о многом: о богатой истории страны, о социальных переменах, о роли художника в обществе и его отношениях с простыми людьми.

«Мы с Гэ Баоцюанем перевели их на китайский язык и издали сборник стихотворений, — пишет переводчик Гао Ман. — Я написал послесловие. Это было еще до развала Советского Союза».

В 1980-е годы китайские читатели получили немало произведений белорусской литературы. «Журавлиный крик», «Альпийская баллада», «Пойти и не вернуться» Василя Быкова... Но особенно много переводился Иван Шамякин. Многие его романы получили в Китае и высокие тиражи, и хорошее освещение в прессе.

Заметим, что переводились на китайский язык также Иван Мележ, Петрусь Бровка, Аркадь Кулешов, Янка Мавр...

Мы, в Беларуси, часто говорим о неразвитости или забвении такого важного и необходимого литературного жанра, как критика. Существует эта проблема и у наших соседей, например, в Болгарии. Известный болгарский литературовед Панка Анчев при обсуждении проблемы критики заявил категорично: «Ее у нас просто нет. И это одна из самых больших проблем не только литературы, но и общества. Критика — самосознание общества, выявление его эстетических вкусов. Но поскольку сегодняшнее общество бездуховное и коммерциализированное, оно не заморачивается по поводу отсутствия критики. Постмодернизм сильно ударил по критике, превратив все в рекламу и журналистику»... И автор книги приводит фразу Лонгфелло: «Критики — сторожевые великой армии литературы, поставленные во всех уголках газет и обзоров, и они вступают в схватку с каждым новым писателем»...

Говоря о польских страницах книги «Братэрства», нельзя обойти стороной особенное издание: «Адам Мицкевич в старых почтовых карточках конца XIX — начала XX века». Книга создана в издательстве «Технология» в серии «В поисках утраченного». Собрано около 400 открыток из коллекции Владимира Лиходедова, автор текста — доктор филологических наук, профессор Адам Мальдис.

Серия эта хорошо знакома в Беларуси. Уже увидели свет книги с открытками Лиходедова «В поисках утраченного» и «Звезды Отечества». Еще одна филокартная книга вышла в «Издательском доме «Звязда» — «Путешествие во времени».

Подбор, размещение, структуризация говорят о знании Владимиром Лиходедовым сложного земного пути знаменитого польского поэта.

В Беларуси многие знают имя Яна Чиквина, и уж тем более знают в Польше. Он — доктор гуманитарных наук, доцент кафедры филологии Варшавского университета, автор многих поэтических книг, руководитель литературного объединения «Белавежа». И в целом — легенда белорусской литературы в Польше.

С ним у автора книги обстоятельный разговор о состоянии белорусской и польской литератур, о взгляде на творческий процесс, на сегодняшнюю роль литературы в обществе да и на сопутствующие темы национальной и общечеловеческой культуры.

Ян Чиквин по профессии русист и белорусист, он постоянно читает лекции студентам по истории русской литературы XIX века, написал и издал на польском языке монографию о поэзии Афанасия Фета, столько же внимания уделяет творчеству Федора Тютчева. В конце 90-х годов Ян Чиквин основал журнал «Термопилы», на страницах

которого много места отводится литературе белорусской «материковой».

Есть в разговоре несколько фраз, которые хочется привести в этой статье: «Счастливые люди творчеством не занимаются». И эту спорную для кого-то мысль Чиквин подтверждает творчеством Достоевского, который придумал сюжет «Преступления и наказания», лежа на нарах в Омском остроге. «Человек давно не является «венцом» природы и тем более — центром видимого или невидимого Космоса. Возрожденческая концепция гуманизма, особенно западноевропейского, сильно постарела и требует значительных корректив». Или — нынче писатель «уволен с должности апостола истины, его слово приватизировалось, девальвировалось, и само произведение рассматривается как товар».

И все же: «...сколько раз только в двух последних столетиях объявляли о смерти искусства, литературы, поэзии. А они все живут, обновляются...» Так категорично, но с надеждой формулирует свои мысли и наблюдения Ян Чиквин.

«Ответственность перед вечностью». Событие, опубликованное под таким названием, произошло довольно давно — осенью 2008 года. Тем не менее актуальности своей нисколько не потеряло. Речь идет о 3-м форуме научной и творческой интеллигенции стран СНГ, состоявшемся в Таджикистане, в Душанбе, участие в котором принимала и представительная белорусская делегация: драматург Алексей Дударев, живописец и график Владимир Савич, директор Купаловского театра актер Николай Кириченко, композитор Александр Рощупкин и др.

Однако прежде всего надо сказать о таджикско-белорусских литературных связях. А начало им положило знакомство выдающегося таджикского поэта Лахуци с Янкой Купалой в 1933 году. Лахуци написал тогда стихотворение «Октябрь и поэт», посвятив его народному песняру Беларуси. В феврале 1936 года он участвовал в работе 3-го Пленума правления Союза советских писателей в Минске. Перед началом Пленума стало известно, что Лахуци, Наири Зарьян, Самед Вургун награждены орденами Ленина. Вот что по этому поводу писали белорусские писатели: «...Гэта высокая ўзнагарода ёсць разам з тым доказ найвялікшай мудрасці нашай партыі і генія працоўнага чалавецтва таварыша Сталіна.

Будзем яшчэ лепей працаваць, тварыць на радасць, на шчасце і росквіт нашай сацыялістычнай радзімы, на радасць нашага правадыра таварыша Сталіна...»

Среди участников форума оказались и знакомые лица: Швыдкой, Капица, Засурский, Садовничий, Полад Бюль-Бюль оглы... И многие другие.

Форум стал определенной вехой в повышении чувства ответственности ученых и деятелей культуры перед сегодняшним и будущим. Состоялся он в резиденции Президента Таджикистана Эмомали Рахмонова.

Выступая перед участниками, Рахмонов предложил создать фонд национальных языков. Инициатив было немало, а общим было желание и стремление к единению, к взаимному уважению культур и литератур на постсоветском пространстве. Обсуждали, конечно, и общие болевые точки. «Бракоразводный» процесс при развале Советского Союза оказался настолько некрасивым, — сказал Муммин Каноат, — что складывается впечатление, будто народы СССР убегали один от другого на другие планеты». Писатель и издатель Ато Хамдам говорил о тех проблемах, которые должна решать интеллигенция на просторах СНГ, ибо «варимся в своем котле, не читаем и не имеем возможности познакомиться с произведениями других стран. Забыли, что фундаментом успехов в экономике, политике, в других областях человеческой деятельности является книга. Думая о своих проблемах, не видим, какого масштаба трагедия разрастается из-за разобщенности народов, не можем осознать, на какой почве возникают конфликты, равные событиям в Абхазии или даже в Чечне...» Вот такую страстную и деловую речь произнес таджикский писатель.

Была, конечно, и поездка на знаменитую Нурекскую ГЭС — теперь уже

символ минувших плотных экономических и политических связей.

Взволнованными словами заканчивает Алесь Карлюкевич воспоминания о поездке в Таджикистан: «...я просто в восхищении от вас, дорогие мои таджикские друзья, люди, способные и в плену гор хранить теплоту, душевность и сердечность. Спасибо вам!» И в конце статьи приводит стихотворение Лахуци, посвященное Янке Купале в переводе Миколы Хведоровича. Вот две строки этого стихотворения:

З песняй аб волі магутнай, глыбокай
У край свой прыйшоў ты, Янка Купала...

Так сложилось, что автор этой книги несколько лет провел в Туркменистане, работая в солдатской многотиражке «За Родину». Попал он в столицу Туркмении в 1985 году после окончания отделения журналистики Львовского высшего военно-политического училища.

Работы молодому журналисту хватало. Редактор, ответственный секретарь и корреспондент-организатор — вот и весь коллектив. А выпуск — три раза в неделю по две полосы форматом А3. Газета дивизионная, а в дивизии более 10 000 солдат и офицеров...

Тем не менее скоро Алесь Карлюкевич стал обрастать друзьями. Научный сотрудник Исторического музея ТССР Герой Советского Союза Богданов познакомил с писателем Михаилом Калинковичем, а спустя некоторое время уже Калинкович познакомил его с Керимом Курбаннепесовым. Однако произошло неожиданное: то ли молодость Карлюкевича насторожила поэта, то ли военная форма, но отразилось в его лице некое недоверие к новому знакомцу. Почувствовал это и Карлюкевич и решил интерес свой к личности народного поэта оставить втуне, ни по каким вопросам не обращаться, к продолжению знакомства не стремиться... В общем, обиделся.

Однако несколько месяцев спустя случай опять свел их. «Что не заходите? — спросил, улыбаясь, Курбаннепесов. — Я ждал». Вот теперь можно и встретиться, тем более что интерес к личности и творчеству поэта росли... Пройдет время и Керим-ага подарит Карлюкевичу «Избранное», вышедшее в Москве в издательстве «Художественная литература».

Есть в наследии Курбаннепесова книга «Ради доброты» и в предисловии к ней — особая история. Речь о том, как стихотворение поэта спасло жизнь человека, женщины из Беларуси, в минуту отчаяния решившей было покончить с собой. Но попала на глаза чудесная книжечка, и душа женщины откликнулась на зов доброты.

Скажите, вы, наверно, замечали
Средь уличной текучей тесноты
Отмеченные глубиной печали
Людские лица скорбной красоты!

(Перевод Ю. Рябинина)

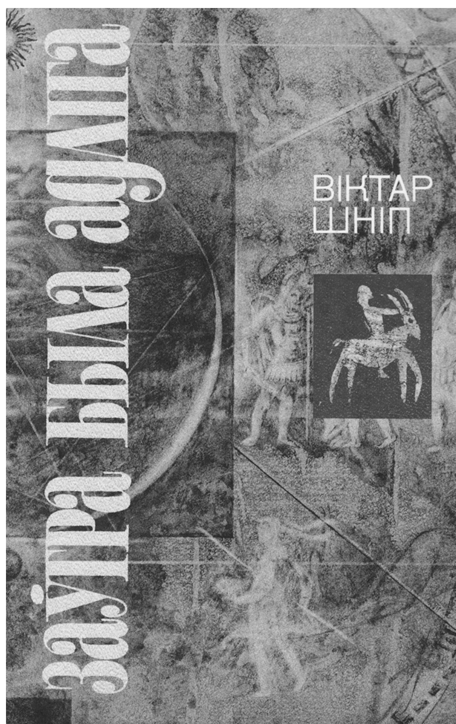
Курбаннепесов знал имена и творчество многих белорусских поэтов. Расспрашивал, что означает слово «Жалейка» и почему Купала так назвал свою книгу. Интересовался, какие еще музыкальные инструменты есть у белорусов. «Мне бы тогда сегодняшнее мое знание, полученное в разговорах с Владимиром Громом или Михаилом Дриневским, нашими звездами отечественной народной музыки, народных песен! — восклицает автор. — Мне бы тогда знакомство с отцом и сыном Жуковскими из Марьиной Горки, признанными мастерами народных инструментов!..»

Книга «Братэрства» позволит читателям познакомиться со многими проблемами и особенностями культурной национальной жизни разных стран. Мы представили лишь незначительную их часть.

Олег ЖДАН

С точки зрения рецензента

Виктор Шнип: амаркорд



«Что еще за амаркорд?» — спросят некоторые читатели. Что и не удивительно. Это слово не так и часто употребляется, поэтому далеко не все знают его значение. Что же, поясню. Амаркорд в переводе на русский язык означает «я вспоминаю». К воспоминаниям же, как литературному жанру, — это общеизвестно — относятся дневниковые записи, мемуары, развернутые автобиографии. Дневниковый, а если смотреть шире, и мемуарный жанр имеет большое распространение и в белорусской литературе. Начиная от записей Федора Евлашевского и Афанасия Филипповича и заканчивая многими современными писателями. Особенно успешно в последнее время в этом направлении работает Виктор Шнип. Еще одно подтверждение этому — новая книга «Заўтра была адліга», выпущенная издательством «Мастацкая літаратура».

Амаркорд В. Шнипа — конечно также воспоминания, однако, как не трудно убедиться, воспоминания особого толка — ибо здесь преобладают дневниковые записи, притом охватывающие небольшой промежуток времени. Это январь — декабрь 2013 года и январь — сентябрь 2014-го. Но, за редким исключением, это не развернутый рассказ о том, что происходило в конкретный день и чем он примечателен, а только само сообщение о том, что было и как было. Писатель часто не утруждает себя подробностями. Да они и не нужны, ибо все построено как бы на всплеске эмоций, когда душа рассказчика жаждет исповеди, наполнена желанием поделиться с другими тем, что взволновало, или тем, что как будто бы ничем и не примечательно, но, если присмотреться внимательнее, то понимаешь, что из таких вот обыденных эпизодов и состоит сама жизнь.

Вместе с тем, книга не случайно имеет подзаглавие «Дзённікавы раман паэта». Безусловно, если говорить о романе в традиционном понимании этого эпического жанра, то натяжка сразу бросается в глаза. Но не будем забывать, что это роман поэта. Следовательно, жанровые рамки размываются. На первый план выходит внутреннее состояние самого рассказчика в определенный период, когда нечто вызвало в его душе импульс, способствующий

появлению определенных ассоциаций. В душе же В. Шнипа всегда неспокойно. Потому что нет в ней равнодушия ко всему, что происходит вокруг, и к тому, что произошло ранее.

Это особенно наблюдается тогда, когда автор книги вспоминает своих ушедших в вечность родителей. А он их вспоминает постоянно. И признание: «Бацькі жывуць ува мне...» — настолько искреннее, правдивое, что его невольно соотносишь с тем, что в свое время пережил и сам. А пережил некогда то, что В. Шнип высказал такой записью в своем дневнике: «Бацькі памерлі, а страх, што яны восьвось памруць, і сёння жыве ўва мне...» Как и это: «Яшчэ ўсё палохаюся тэлефанаванняў, бо здаецца, што мне скажуць: «Гэта звоняць з Ракава. З бальніцы. Ваш бацька памёр. Заўтра прыязджайце і забірайце...» Мінула ўжо тры тыдні, як я пачуў гэтыя словы». Три недели прошло до 14 января 2013 года. А на сегодняшний день и того больше. А это чувство так и не оставило...

Таков он, «Дзённікавы раман паэта». С грустью, с печалью. С тревогой за близких людей, которых уже нет на земле, но которым жить до той поры, пока у тебя самого будет биться сердце. Поэтому в записях так много места отведено тому, что неделями, месяцами не дает успокоения. Отсюда и грустные интонации в отдельных рассуждениях, и некоторые повторы. Но они и неизбежны, например, при очередном посещении родной деревни, без близких людей, по сути, осиротевшей.

В который уже раз оживает былое. Оно соотносится с теми или иными случаями из жизни матери, отца. Даже вещи, оставшиеся после них, не говоря о предметах крестьянского быта, становятся частью этой памяти — грустной, в чем-то даже болезненной. Есть и другие поводы для грусти. Такова жизнь. Однако грусть у В. Шнипа особенная. Осмелюсь сказать, что она — пусть это сравнение не покажется кому-либо притянутым за уши — жизнеутверждающая. В пользу этого говорит и такая запись: «Мой сум светлы, як першыя веснія кветкі каля бацькоўскіх магіл...» Ведь, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Как любит говорить В. Шнип: «Усё будзе добра». Да это он и утверждает всем содержанием своего «Дзённікавага рамана паэта».

Но какой роман, если это даже и роман поэта, без жизненных наблюдений иного плана, таких, которые вызывают улыбку? А их в дневнике немало. Хотя бы такая запісь: «Ранкам па рэдакцыйных справах тэлефаную ў Быхаўскі райвыканкам: «Добры дзень!» — «Здароў», — чую ў адказ. «Добры дзень!» — паўтараю. «Здароў!» — бурчыць мужык. «Гэта Быхаў?» — пытаюся. «Я не бухаў!» — чуецца крык. Я кладу слухаўку, разумеючы, што патрапіў не туды, куды хацеў».

А эта запись уже связана с литературной жизнью. Или окололитературной: «Ён не пазнае мяне ці проста не хоча вітацца. Вось и сёння ён прайшоў міма з раззяўленым ротам, сярод якога ў верхняй сківіцы чарнее адзіны зуб. Магчыма, гэта той зуб, які мой знаёмы займеў трыццаць гадоў таму на мяне і ўсіх, каго ён ведаў, ходзячы на літаб’яднанні...»

На рассуждения настраивает и такая запись, в которой — думайгадай, что на первом плане: улыбка или печаль: «Еду аўтобусам з працы. Стаю. Непадалёку сядзіць п’яны, пачарнелы ад штодзённай спёкі мужык гадоў сарака з пакрыўленым носам і падбітым вокам. Паблізу яго стаіць маладая прывабная жанчына ў кароткай спаднічцы. П’яны глядзіць на красуню так, нібыта ён малады Ален Дэлон, а я на іх, як на карціну «Няроўны шлюб»...»

В настоящем романе («дзённікавы раман паэта» — не исключение) не обойтись и без обобщений философского плана. В. Шнип предложил несколько записей, свидетельствующих о том, что и здесь он чувствует себя уверенно. Вот только один пример: «Калі адзін чалавек цябе хваліць, то гэта толькі адзін чалавек, а не мільён. І калі цябе адзін крытыкуе, то гэта адзін чалавек, а не мільён. І калі цябе журы, у якім 10 чалавек, прызнае найлепшым, то гэта толькі думка дзесяці чалавек, а не 10 мільёнаў. І калі цябе 10 чалавек журы пракінулі, то гэта толькі дзесяць чалавек, а не 10 мільёнаў. І таму няма

чаго радавацца, што цябе хваляць, і таму няма чаго перажываць, калі цябе і пакрытыкавалі...»

В. Шнип может быть и афористически точен: «Кнігі, як і дрэвы, паміраюць стоячы...», «Ганарар вялікі, як фіга...», «Захад чырвоны, быццам царкоўнае віно...», «Колькі ні фатаграфуйся каля помніка Янку Купалу, Купалам не станеш...», «Усе думкі вядуць у Крым...» ...

Особняком в книге стоит новелла «Закаханы ў Снягурку». Самим автором жанр этого произведения, правда, не обозначен, но оно как раз попадает под определение именно этого жанра. В основу сюжета положена ситуация, взятая из жизни двенадцатилетнего мальчишки, которым, конечно же, был сам автор во времена своего, теперь уже далекого детства: «Сёння мне за пяцьдзесят, і я цяпер іду заснежаным гарадскім паркам і, углядаючыся ў сустрэчных дзяўчат, спадзяюся пабачыць сярод іх тую Снягурку, у якую быў закаханы».

Любовь же эта, как и обычно, возникла с первого взгляда. Точнее, с первой встречи. Правда, встреча была необычная: по телевизору «паказвалі казку пра Снягурку». В нее-то и влюбился мальчишка: «Снягурка была вельмі-вельмі прыгожая. Такіх прыгожых дзяўчат не толькі ў маім класе, але і ўва ўсёй школе я не бачыў. І калі скончыўся фільм, у якім Снягурка, скокнуўшы праз вогнішча, расстала, бо была створаная са снегу, я адразу ж вырашыў бегчы ў бліжэйшы лес і прапанаваць Снягурцы сваё сяброўства. Узімку яна ж павінна зноў быць жывой? Павінна!»

В новелле немало наивности, но это такой случай, когда именно наивность, непосредственность и придает всему повествованию ту теплоту, которая волной умиления касается и твоей души. Одновременно сожалеешь, что сегодняшние дети вовсе не такие, какими были их ровесники лет сорок назад. Конечно, хорошо, что они так рано взрослеют. Да и познания у них совсем не такие, как у детей, скажем, 60—70-х годов прошлого столетия. Кстати, в начале произведения и ближе к его завершению В. Шнип обращает внимание на это: «Гэта было ў мінулым стагоддзі». Но у любой медали, как известно, две стороны. Так вот обратная сторона ее такая, что созерцание ее вызывает мало радости. Слишком уж рациональные нынешние мальчики и девочки. Куда им влюбляться в какую-то Снегурочку, если в вопросах любви, благодаря телевидению и интернету, они такие продвинутые.

Тем паче приятно читать новеллу В. Шнипа. Деревенскому мальчишке очень захотелось встретиться со своей «возлюбленной». Однако с пустыми руками на «свидание» не пойдешь. Как он уже знал, в таких случаях дарят цветы. Но где их найдешь зимой: «крамы, дзе прадаюцца кветкі, у нашай вёсцы не было». Правда, можно взять с собой вазон с цветами — благо их в доме немало, а в одном кактус даже успел расцвести. Однако не станешь признаваться маме, что занес его Снегурочке.

Выход все же был найден: «Апрануўшы мамін кажух и абуўшыся ў бацькавы валёнкі, я вырашыў прыдумаць Снягурцы верш і падараваць ёй на памяць, няхай ведае, што з ёй хоча сябраваць не просты вясковы хлапчук, а паэт». Но из этой затеи ничего не получилось. Как ни звал он Снегурочку, она так и не появилась. Тогда, «адламаўшы ад бярозы галінку, напісаў ёю на снезе свае чатыры радкі» и попросил Снегурочку, что если она согласна с ним дружить, чтобы под этим стихотворением оставила свой ответ.

С нетерпением ожидал следующего дня, чтобы опять пойти в лес. Но придя на знакомую полянку, был разочарован. Не было на снегу ни стихотворения, ни ответа. Пришлось опять оставлять на снегу свое послание. Так «амаль цэлы месяц хадзіў у лес і на снезе пісаў Снягурцы свае вершы, якія то на другі дзень былі на снезе, то за ноч знікалі». Парнишка никак не мог догадаться, что иногда «ўначы ішоў снег, была завіруха, і ад гэтага не заставалася маіх твораў».

Я не случайно уделил так много внимания новелле «Закаханы ў Снягурку», ибо благодаря ей видно, что В. Шнип — интересный прозаик.

Правда, те, кто хорошо знаком с его творчеством, могут возразить: да он же давно выступает в жанре прозы. Что правда, то правда, но хотелось бы, чтобы этим он занялся всерьез. Не сомневаюсь в том, что у него появятся не менее интересные произведения. И не только такие, которые сюжетно связаны с воспоминаниями, не только нон-фикш — невыдуманные истории, на что обращено внимание в аннотации к книге, а с развернутыми сюжетами, с характерами персонажей, показанными в развитии. Тогда родится оригинальный прозаик В. Шнип как дополнение к оригинальному, самобытному поэту В. Шнипу.

Как поэт в этой книге он представлен разделом «Сарцавіна», являющимся, по сути, книгой в книге. Это также амаркорд. Во многом он близок к тому, о чем идет разговор в дневниковых записях. Да и под стихотворениями стоят даты написания, а в отдельных случаях «рождение» их по времени совпадает с той или иной пометкой в дневнике. Но стихи нисколько не повторяют мысли, высказаные в той или иной записи, а как бы дополняют их. Мотивы те же: боль о смерти родителей, раздумья о жизни сегодняшней деревни, различные мысли, сомнения — все то, чем и должен жить настоящий поэт, который при всем прочем является еще и гражданином своей страны.

Очень импонирует стихотворение, завершающее раздел «Сарцавіна»:

Кожны верш, нібы спроба стварэння свету,
У якім ты, як Бог, адзінокі паэт.
І цябе зразумець можна толькі паэту,
Што стварае, як ты, з чорных літар сусвет,
У якім ёсць любоў, ёсць надзея і вера,
Як у душах людскіх ёсць ад Бога святло.
Не будзіце ў паэце ні плаксу, ні звера,
Каб пасля не казаць: «А што ж гэта было?!»
Хай самотны паэт сам жыве, як жадае,
У яго ёсць агонь, у яго ёсць віно,
І ля сэрца ў яго спіць змяя маладая,
Што паэту другім стала сэрцам даўно.
І таму кожны верш як стварэнне сусвету,
У якім ты, як пыл, адзінокі паэт.
І цябе зразумець можна толькі паэту,
Што памрэ, як і ты, не стварыўшы сусвет...

Несомненно, по-настоящему поэта может понять только поэт. Однако здесь нельзя обойтись без маленького уточнения. Именно на такое восприятие способен не только поэт по призванию, но и поэт в душе — по своему мировосприятию, отношению к действительности. А такими поэтами, не сомневаюсь, станут и те, кто прочитает книгу «Заўтра была адліга». Ибо при всех прочих замечательных качествах у нее есть еще одно, немаловажное: В. Шнип, о чем бы он ни писал, неизменно остается поэтом, а следуя его примеру, и сам смотришь на окружающий мир восторженно. Как и глядят на него поэты.

Евгений РУДОВИЧ



ПОПОВА Елена Георгиевна. Родилась в г. Лягтца (Польша). Училась на факультете журналистики БГУ, окончила Литературный институт им. М. Горького. Драматург, прозаик. Автор множества пьес, поставленных театрами разных стран. Произведения переведены на английский, немецкий, японский, польский, белорусский языки, включены во многие зарубежные антологии. Победитель Первого Европейского конкурса пьес. Включена в энциклопедию «2000 выдающихся европейцев XXI столетия». Живет в Минске.

ЗУЁНОК Василь (Василий Васильевич). Родился в 1935 г. в д. Мачулищи Крупского района Минской области. Окончил Борисовское педагогическое училище, Белорусский государственный университет. Автор множества сборников поэзии, книг для детей, литературно-критических статей. Лауреат Премии Ленинского комсомола, Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы, Почетный член Национальной академии наук Беларуси. Живет в Минске.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет в Минске.

МАТЮШКО Юрий Всеволодович. Родился в 1944 г. в г. Барановичи Брестской области. Окончил Витебский медицинский институт. Поэт. Автор нескольких сборников поэзии. Живет в г. Барановичи.

ГАЛАЙДИН Евгений Филиппович. Родился в 1923 г. в д. Макеевичи Климовичского района Могилевской области. После окончания 10 классов был призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Печатался в периодических изданиях, автор книги «Сбит над Тильзитом». Живет в Гомеле.

ДЖО АЛЕКС (Сломчински Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ Шарль Мари Рене. Родился в 1818 г. в округе Сен-Поль (Франция). Учился в Бретани. Французский поэт, глава Парнасской школы. Автор сборников поэзии «Античные стихотворения», «Варварские стихотворения», «Трагические стихотворения», а также сборника переводов античных авторов «Последние стихотворения». Член Французской академии. Умер в 1894 г. в муниципалитете Лувесьен (Франция).